

я и критическая переписка арабского философа Маликульмульк с водяными, воздушными и подземными духами. Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке <http://krylovi.ru/> приятного чтения!

Почта духов, или Учёная, нравственная и критическая переписка арабского философа Маликульмульк с водяными, воздушными и подземными духами. Иван Андреевич Крылов

Извещение об издании «Почты духов»

В книжных лавках близ Кузнецкого моста у книгопродавца Зандмарка и на Покровке у книгопродавца Миллера принимается подписка на выходящее вновь с генваря месяца сего 1789 года ежемесячное издание под заглавием: «Почта духов, или ученая, нравственная и критическая переписка арабского философа Маликульмульк с водяными, воздушными и подземными духами». Издатель оного в объявлении своем уведомляет, что он служит секретарем у сего недавно приехавшего сюда арабского волшебника, имеющего великое отвращение к бешеным домам и расположившегося несколько времени прожить здесь инкогнито, почему и намерен выдавать переписку сего знатного в своем роде господина, и уверяет, что издание сие будет любопытно для тех, кои не путешествовали под водой, под землей и по воздуху; что сочинители сих писем все духи очень знающие и что сам Маликульмульк человек пресамолюбивый, который всегда говорит хорошо только о себе, отзываясь иногда об них не худо и рассказывает, будто многие из них очень добрые духи; но только иные не любят крючкотворцев, ростовщиков и лицемеров, а иные не жалуют щегольства, волокитства и мотовства, и от того-де они никак не могут ужиться в нынешнем просвещенном свете видимыми, а ходят в нем невидимыми и бывают иногда так дерзки, что посещают иногда в самые критические часы комнаты щеголих, присутствуют в кабинетах вельмож, снимают очень безбожно маски с лицемерных и выкрадывают иногда очень нахально и против всех прав общежития из записных книжек любовные письма, тайные записки, стихи и пр., и пр., чем-де многие делают беспокойства в любовных интригах и плутовствах, а потому нет почти ни одной новоприезжей на тот свет тени, которая бы ни подавала на них челобитную Плутону или бы через него не пересылала их к Нептуну, не могущим однако ж со всей своей властью унять сих шалунов. Итак, г. Маликульмульк бранит только сей их проступок; однако ж признается, что он сам сим похищением и входам без доклада обязан многими весьма любопытными письмами, которые от них получает и делает благосклонность прочитывать без остатка. Вот что объявляет секретарь ученого, премудрого и богатого Маликульмульк и прибавляет к тому, что как он не имеет достаточного числа денег для напечатания сих писем (ибо-де место секретаря у ученого человека очень неприбыльно), то просит почтенную публику, чтобы желающие читать и получать ежемесячно издаваемое им собрание сих писем благоволили в вышеобъявленных местах подписываться, заплатя наперед деньги за каждый экземпляр на целый год на александринской бумаге по 9, на любской по 8, на простой по 7 рублей с пересылкой.

Известие о сем издании[2]

Повторять здесь известие, выданное о сем издании, было бы излишним, если бы не удостоверял самый опыт, что подобные листки большею частию бывают утрачиваемы, почему за небесполезное почтено в начале самого издания поместить оное, дабы каждый из читателей мог видеть предмет издаваемой переписки славного в своем роде волшебника, с некоторою притом, по случившимся обстоятельствам, против выданного известия нужною для сведения переменею.

Секретарь недавно приехавшего сюда арабского волшебника Маликульмульк, имеющего великое отвращение к бешеным домам и расположившегося несколько времени прожить здесь инкогнито, сим объявляет, что он по намерению и обещанию своему начал выдавать переписку сего знатного в своем роде господина с водяными, воздушными и подземными духами. Издание сие будет очень любопытно для тех, кои не путешествовали под водою, под землею и по воздуху. Он уверяет, что сочинители сих писем – все духи очень знающие и что сам Маликульмульк – человек пресамолюбивый, который всегда говорит хорошо только о себе, отзываясь иногда об них не худо и рассказывает, будто многие из них очень добрые духи; но только иные не любят крючкотворцев, ростовщиков и лицемеров; а иные не жалуют щегольства, волокитства и мотовства, и оттого-де они никак не могут ужиться в нынешнем просвещенном свете видимыми: почему ходят в нем невидимками и бывают иногда так дерзки, что посещают в самые критические часы комнаты щеголих, присутствуют в кабинетах вельмож, снимают очень безбожно маски с лицемеров и выкрадывают иногда очень нахально и против всех прав общежития из записных книжек любовные письма, тайные записки, стихи и проч., – чем-де многие делают беспокойства в любовных интригах и плутовствах, а потому нет почти ни одной

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами новоприезжей на тот свет тени, которая бы не подавала на них челобитной Плутону или бы через него не пересылала их к Нептуну, не могущим однако ж со всею своею властью унять сих шалунов. Итак, г. Маликульмульк бранит только сей их поступок, однако ж признается, что он сим похищениям и входам без доклада обязан многими весьма любопытными письмами, которые от них получает и делает благосклонность прочитывать без остатку.

Вот что объявляет секретарь ученого, премудрого и богатого Маликульмулька и прибавляет к тому, что как он не имеет достаточного числа денег для напечатания сих писем (ибо-де место секретаря у ученого человека очень бесприбыльно), то просит почтенную публику, чтобы желающие читать и получать ежемесячно издаваемое им собрание сих писем благоволили подписываться в Санктпетербурге в Луговой Миллионной под № 77, в книжной лавке книгопродавца Миллера, заплатя наперед деньги за каждый экземпляр годовичного издания на александрийской бумаге по 7 руб., на любской по 6 руб., а на простой комментарной по 5 руб. В Москве в его же Миллеровой лавке, состоящей на Покровке, в 5 части, во 2 квартале, в доме г. бригадира князя Голицына, а в других городах у губернских г. почтмейстеров, с пересылкою как в Москву, так и во все другие города против вышеозначенного двумя рублями дороже, т. е. на александрийской бумаге по 9, на любской по 8, на простой по 7 руб. Ежели же кому будет угодно отозваться прямо чрез Санктпетербургский почтамт к самим издателям, со вложением денег и с означением своих имен, откуда и будет им доставляемо. Имена подписавшихся будут припечатываемы при каждой части, которые состоять будут из четырех месяцев. Подписка же на сие издание продолжится во весь год.

Сверх того, тот же секретарь ученого Маликульмулька говорит: слух-де носится, что некоторые из издателей собирают по подпискам деньги и прячутся с ними, не издавая обещанных книг, или когда и выдают, то в течение издания прерывают оные, а тем не выполняют своих обещаний, нимало не страшась справедливого порицания публики, хотя, впрочем, и не слышно, чтоб имели они сильное покровительство волшебников, а потому-де он, издатель сих листов, как своим секретарским именем, так тем, что служит у знатного волшебника, а паче тем, что по обещанию своему не выдал первого сего месяца к первому числу генваря и очень может быть подозрителен, то во оправдание себя уверяет, что он, в противность секретарей всего света, не на корыстолюбии основал свое предприятие, но к удовольствию, а, если можно, и к пользе своих соотечественников. Неисполнение же обещания случилось по непривычному еще его искусству в гадательной науке, отчего не мог он предузнать последовавших обстоятельств, намерению его воспрепятствовавших, но впредь обещается в исходе каждого месяца во все течение года выдавать издания сего по одной книжке, переплетенной в бумажку.

Вступление

Стужа, дождь и ветер, соединясь, самый лучший день изо всей осени делали самым несносным для пешеходцев и скучным для разъезжающих в великолепных экипажах. Грязь покрывала все мостовые; но грязь, которая своим цветом не так, как парижская догадливым французам, не приносила новой дани нам от Европы, а делала только муку щеголям, у которых, как будто в насмешку парижским и лондонским модам, ветер вырывал из рук парасоли, портил прическу голов и давал волю дождю мочить их кафтаны и модные пуговицы. Все торопились добраться до домов, и многие бранили себя, что, понадеясь на календарь, вышли в хороших нарядах.

В такое-то прекрасное время возвращался я от его превосходительства господина Пустолоба, к которому осьмой месяц хожу по одному моему делу и который мне во сто пятнадцатый раз очень учтиво сказал, чтоб я пожаловал к нему завтра. Лестное приказание из уст вельможи, если оно говорится не во сто пятнадцатый раз! Что до меня, то я, возвращаясь от него, бранил сквозь зубы его, все дела на свете, самого себя и проклятое завтра, для которого всякий день я должен был переходить пешком добрую италийскую милю.

Ненастье умножалось, я был беден, а потому имел мало знакомых и перепутий; но, к счастью, увидел старый развалившийся деревянный дом, в котором (почитая его пустым) не думал никого беспокоить своим посещением; и подлинно, это были пустые хоромы, где я нашел убежище от дождя; но не нашел его от беспокойных моих мыслей.

«Как! – говорил я сам в себе, – есть такие люди, которые имеют богатый доход, великолепный дом, роскошный стол за то только, что всякий день несколько моих

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами братьям беднякам учтиво говорят: придите завтра, думая им этим делать великое одолжение. О! что до меня, то я клянусь, что в последнее имел честь быть в прихожей его превосходительства. Пусть легковверные просители изо всех улиц сходятся или съезжаются на дрожках, в каретах, пешком и на костылях слушать его учтивые пожалуйте завтра, а я скорее соглашусь умереть с голоду в своем шалаше, нежели замерзнуть в его прихожей. Лучше иметь дело с чертями или с колдунами, нежели с бестолковыми...»

«Конечно, – сказал мне некто, – если ты обещаешься мне усердно служить, то увидишь, что колдуны и черти не столь вероломны, как о них думают, и что, по крайней мере, ни от которого из них ты не услышишь по одному делу сто пятнадцать раз завтра».

я оборотился назад, чтоб увидеть, от кого был сей голос; но в какой пришел ужас, увидя старика с седою бородою, большого роста, и некотором роде шапки конической фигуры, и платье, усеянном звездами, в поясе, на котором изображены были двенадцать знаков Зодиака. В руках он имел трость, которая была очень хорошо свита, по подобию наших модных соломенных тросточек, из трех ветвей: из черной, красной и зеленой; на шее, как щеголеватая красавица, имел он повешенной несколько заржавелый железный медалион на цепочке того же металла, который, однако ж, ценил он дороже всех европейских медалионов вместе. По всему этому наряду нетрудно было мне догадаться, что это волшебник; а испугаться еще легче, для того, что я с природы труслив и с младенчества боюсь чертей, колдунов, пьяных подьячих, злых вельмож и проч., и проч., и проч.

«Милостивый государь! – сказал я ему, весь в страхе, – я вас благодарю за предложение, но...»

«Я вижу, – перервал он, – что я тебе кажусь несколько непригож и что ты меня боишься».

«Признаюсь, сударь, – отвечал я ему, – что я, в первый раз видя ваш мундир, не могу удержаться от страха; конечно, вы иностранный, а может быть, и житель того света».

«Я Маликульмульк, – отвечал он, – и ремеслом волшебник; имя мое известно во всех трех частях света: в воздухе, в воде и в земле; у меня в них есть довольно пространные владения, и если ты примешь на себя название моего секретаря, то я отвезу тебя в свой увеселительный дом, находящийся в Харибде, и оттуда пройдем мы богатую подземную галерею в великолепные мои палаты, стоящие под горою Этною».

«Государь мой! – отвечал я, – это не лучший способ склонять в свою службу людей с тем, чтоб их изжарить или утопить; правда, у нас иногда секретарей морят с голоду, но, по крайней мере, принимают их всегда с хорошими обещаниями...»

«Не опасайся, мой друг, – отвечал Маликульмульк, – ты увидишь, что в моих домах так же весело и спокойно, как в самых богатых ваших чертогах, и ничуть не жарко, так что один из ваших философов, тому уже несколько веков назад, вступил в мою службу управителем дома под Этною. Я думаю, вы все того мнения, что он сгорел; а вместо того ему там так показалось прохладно, что он выбросил назад оттуда свои туфли и ныне живет у меня очень спокойно; смотрит за моим домом и за библиотекою, которую я уже девять тысяч лет собираю. Он делает критические замечания на всех древних и новых философов, на все секты и на все науки, которые, может быть, скоро выдут в свет. Итак, ты видишь, что если бы было ему жарко, то бы он, конечно, не принял за такую беспокойную работу, от которой можно вспотеть и в самой Гренландии. Я тебе обещаю не меньше выгодное содержание и дам тебе свободу жить, где ты ни пожелаешь».

С сим уговором согласился я вступить в службу почтенного Маликульмулька и, не хотя переменять жилища, выбрал к тому сей город.

«Если бы, – сказал я ему, – был у вас также и здесь какой-нибудь увеселительный дом, то бы я с охотою согласился в нем вам служить. Пожалуйте, господин Маликульмульк, – продолжал я, – купите себе здесь какой-нибудь дом, только, прошу вас, на истинные, а не на волшебные деньги, для того что здесь профессоры этой науки очень не любят и часто секут розгами или сажают в бешеный дом, да и мне, новому вашему секретарю, от того не безопасно, ибо здесь живут люди, а не

я и критическая переписка арабского философа Маликульмульк с водяными, воздушными и подземными духами волшебники, и им очень не мудрено сделать ошибку и высечь одного вместо другого».

«Не опасайся, – сказал мне волшебник, – мы будем веселиться и не будем подвержены никакой опасности; я имею здесь несколько увеселительных домов в самом городе, и тот, в котором мы теперь, из самых лучших».

«Как! – вскричал и с удивлением, – вы шутите: я не знаю, как дли вас, а дли меня дом с провалившеюся кровлею, с провалившимися печами, с худыми полами и с выпитыми окнами в ненастное время ничуть не кажется увеселительным; этот дом годен только на дрова, в нем не согласится жить и сторож академической библиотеки».

«Ты иногo будешь мнения о моем богатстве, – сказал Маликульмульк, – когда увидишь сей дом хорошими глазами».

Тогда он полою своей епанчи потер мои глаза. В какое ж после сего пришел я удивление, увидя себя в великолепнейших чертогах! Золото и серебро блистали повсюду; картины, резьба, зеркала придавали великолепный вид сим комнатам, которые за минуту пред тем казались мне пустыми сараями; словом, пышность сего дома могла поравняться с пышностию первейших дворцов в Европе.

«Вот что я тебе дарю», – сказал мне милостивый Маликульмульк.

я благодарил его так, как мог, и обещал исполнять ненарушимо его повеления.

«Позволь, мой благодетель! – вскричал я, – чтоб в сию же минуту позвал я к себе обедать некоторых из богатых и гордых моих знакомцев, которые ставили великим одолжением, когда удостоивали меня своею беседою, скучною для меня так же, как для них скучны философические книги или, лучше сказать, как для сонного судьи приказ».

«я тебе никогда не советую этого делать, – отвечал волшебник, – для них комнаты сии ничуть не переметили своего вида и покажутся такими же, какими они доселе тебе казались; с помощью только моей епанчи, над которою и трудился три тысячи лет, могли бы они видеть их такими, каковы они есть, но я не хочу всему городу насильно протирать глаза: оставь, друг мой, думать людей, что ты беден, и наслаждайся своим богатством».

«Ах! я вижу, что оно мечтательное», – вскричал я с неудовольствием.

«Нет, – отвечал он, – все, что ты видишь, очень истинно; перипатетизмодин может заставить почитать несчастьем самое блаженство. Почему ты предпочитаешь те комнаты, которые искусством людей сделаны в несколько лет, тем, которые я делаю в одну минуту? Если я властью моею могу этот дом привести в прежний свой вид, то время не может ли разрушить также очарование самых лучших художников и превратить обработанные ими вещи в первобытное состояние, которое будет небольшая кучка земли? Правда, люди все будут думать, что ты не богат, но с первейшими богачами не то ли же случается? Они и сами иногo почитают себя бедными, а философы почитают их нищими, и эти люди умнее тех, которые им приписывают название богачей; все богатство Креза не могло уверить Солона, что Крез был богат; а Солонa бы и ныне не посадили в бешеный дом, хотя бы, может быть, и заставили его быть помолчаливее. Итак, ты видишь, что истинное состояние человека не потому называется богатым или бедным, как другие о нем думают, но по тому, как он сам почитает».

«Так поэтому, – отвечал я, – должен я питаться пустою мыслию, что я богат, между тем как, может быть, стою здесь по колени в грязи, в пустых покоях и мерзну от стужи и от ветров».

«Чувствуешь ли ты это?» – спросил он меня.

«Нет», – отвечал я.

«Так поэтому, – продолжал он, – ты глупо сделаешь, когда это будешь воображать, а как ты боишься бедности, то вот тебе деньги», – сказал он, выдвигая большой из стола ящик с самыми полновесными червонцами».

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами
«О теперь-то я богат», – говорил я с восхищением, принимая деньги.

«Да знаешь ли, что они такое? – говорил он: – это изрезанные кружками бумажные обои».

«Господни волшебник! – сказал я с сердцем, – не эту ли негодную монетою даешь ты своим секретарям жалованье? Я сойду с ума прежде, нежели соглашусь принять твои бумажные вырезки за наличное золото».

«Не опасайся, – отвечал он, – я с тобою только пошутил: я ненавижу обманов и не буду тебе платить обоями, вместо денег; в этом доме тебе в них и нужды не будет, старайся только реже из него выходить, ибо, как скоро ты выдешь на улицу, то очарование в глазах твоих исчезнет».

После сего нам собрали на стол; мы очень хорошо обедали, и я, по привычке спать после обеда, лег на самую мягкую постель, какую бы и самая богатая духовная особа не погнушалась, а Маликульмульк пошел в свой пребогатый кабинет, который за час казался мне разломанным курятником.

Прежде, нежели заснул, делал я тысячу разных рассуждений, остаться ли мне в новом моем звании, которого еще не знал должности, и быть ли довольну мнимым своим богатством? «Что, – думал я сам в себе, – если я ел только черствые корки гнилого хлеба, тогда, когда казалось мне, что утолял свой голод вкуснейшими пищаами, и почитал Маликульмулькова повара искуснее всякого француза? И что, если в самую сию минуту лежу я на голых и на мокрых досках, между тем как воображаю, что лежу на мягких пуховиках, которые бы могли сделать честь кровати и богатейших восточных государей? Не смешно ли будет, когда за это буду я отправлять тяжелую секретарскую должность? Но надобно и в том признаться, что я совершенно доволен. Пусть люди будут меня почитать бедным, что мне до того за нужда! Довольно, если я для себя кажусь богатым. Правда, всякий станет такому мнению смеяться: но смешно ли ни было, когда бы меня посадили в великолепную тюрьму и называли бы меня свободным, но не позволяли бы мне выходить из комнаты ни на три шага, а, между тем, весь бы свет думал, что я счастливейший смертный, – был ли бы я иного в подлинну счастлив? Нет, конечно; поэтому и ныне я не буду беден оттого, когда меня почитать таким будут». Итак, я решился остаться в сем доме; а, сверх того, название секретаря льстило меня новыми доходами, ибо я слышал, что оно очень прибыльно и что все секретари истинно богаты, не выключая из того числа и секретарей академий.

Итак, выпавшись спокойно, не так, как секретарь, который еще исполняет сие звание и от времени до времени боится, чтоб не быть ему повешену, но так, как секретарь, который, наслаждаясь уже выгодами ононого, вышел в отставку, пользуется плодами плутовства, не страшится более виселицы и спит спокойно, не вспоминая о своих челобитчиках. Выспавшись, говорю я, таким образом, встал я с моей пышной постели (а, может быть, и с голых досок), вошел в кабинет Маликульмулька исполнять его повеления, и он мне в коротких словах объявил мою должность.

«Я, – говорил он, – своими знаниями приобрел нескольких друзей, которые живут в разных частях света, близ моих владений, а как поместья мои отсюда очень не близки, то я утешаюсь тем, что, не видя их, получаю от них письма и сам отвечаю им на оные; но как мне уж тринадцать тысяч лет, и, следственно, в таких пожилых годах иногда склонен я к лени, то ты должен будешь писать то, что я тебе буду сказывать, и читать мне их письма. Я позволяю тебе списывать и для себя то, которые более тебе понравятся; прочее ж время все в твоём распоряжении».

«Почтенный Маликульмульк! – говорил я ему, – когда вы позволяете мне списывать ваши письма, то позвольте их также издавать в свет и тем уверить моих соотчичей, что я имел честь быть вашим секретарем, которые без сего доказательства почтут сию историю сказкою, как обыкновенно привыкли называть невероятные дела; а, может быть, меня посадят в дом сумасшедших». Сверх того, говорил я ему, что, служа у него в секретарском чине, я ничем иным не буду пользоваться, кроме своего жалованья, для того, что у него ни подрядов, ни откупов, ни поставок никаких нет, и мне будет стыдно сказать, что я, быв секретарем у такого знатного человека, ничем не поживился, между тем как некоторые секретари самых последних мест, с помощью хорошей экономии, получая по 450 рублей в год жалованья, проживают ежегодно по 12 000 рублей и строят себе очень порядочные каменные дома. Господин ворожея говорил мне, что он здесь расположен жить инкогнито, однако ж я ему доказал, что лучше быть славным, нежели неведомым, – и говорил

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами; ему, что сам Цицерон радовался, когда некто из стихотворцев зачал описывать его дела; что Сенека говорил, что он не для чего другого учился философии, как только для того, чтоб люди это знали, и что сам господин Эмпедокл, управитель его увеселительного дома, изволил соскокнуть к нему для того, чтобы быть славным.

Маликульмульк смеялся сим мнениям и, наконец, для меня склонился, чтоб его и приятелей его письма издаваемы в свет. Я было намерен был попросить у него на то и денег, но опасался, чтоб он мне не дал изрезанных обоев вместо червонцев; а я столько люблю всех своих земляков, особливо же типографщиков, что никогда не намерен обмануть их столь бесстыдным образом. Итак, решился лучше деньги на расход типографий для издания сих писем занять от читателей, нежели выпустить такие деньги, за которые бы я, как не имеющий никакого законного права, ни власти выдавать фальшивых денег и, как секретарь Маликульмульков, должен был отвечать, между тем как он спокойно бы по воздуху, по воде или по земле уехал в свои владения.

Часть первая

Письмо I

От гнома Зора к волшебнику Маликульмульку

О перемене, происшедшей в аде

Вот первое письмо, любезный в премудрый Маликульмульк, которое я к тебе пишу после нашей разлуки. Я было хотел тебя поздравить с новым годом, но не знаю, которому ты веришь календарю: Юлианскому ли, или древнему Римскому; а, может быть, ты и того мнения, что год со всякого нового дня начинается. Я бы желал уверить тебя о моем к тебе дружестве, но мы с тобою столько знакомы, что можем оставить для других такие учтивости, которыми ныне почти все письма наполняются; итак, лучше скажу тебе новость, и какая ужасная перемена делается в аде!

Вчерась минул срок полугодовому отсутствию Прозерпину. Плутон с нетерпеливостью ожидал ее возвращения; вдруг предстала перед него одна тень, одетая в скороходское платье, и докладывала, что Прозерпина прибыть изволила. Минуту спустя богиня сама входит в нынешнем французском платье, в шляпке с перьями и в прекрасных башмачках, которых тоненькие каблучки придавали ей вершка три росту. Бедный Плутон оледенел, увидя ее в сем наряде; мы сами несколько оторопели; некоторые из нас говорили очень тихо: «Конечно, она сошла с ума», а другие кричали во все горло: «Богиня еще прекраснее!» Но все с нетерпеливостью ожидали, чем все это кончится.

«Здравствуй, мой ангел! – сказала, подошед к своему мужу, Прозерпина, и присела перед ним два раза. Признайся, – продолжала она, – что я не без пользы возвратилась к тебе с того света! каково тебе кажется это платье, эта чёска, эта шляпка, эти высокенькие башмачки? Знаешь ли, что все это последней моды и взято из французских лавок?»

«Друг мой! – говорил, почти всхлипывая, бедный Плутон, – что тебе сделалось?.. здорова ли ты?.. Ах! я ведь говорил, что частая перемена воздуха может повредить мозговую перепонку. Любезная Прозерпина! опомнись, что ты! Ах, зачем ты ездила на тот проклятый свет! Я предчувствовал...»

«Как зачем? – перехватила речь его Прозерпина, – знаешь ли ты, что я там в нынешнюю поездку выучилась петь и танцевать: посмотри, как чисто делаю я аглинские па в контрдансе».

В минуту подхватила она близ ее стоящего Сократа и принудила его пропрыгать с собою аглинские прогулки.. Диоген хохотал во все горло и говорил, что это прекрасная пара, а Плутон бесился и не знал, что делать; он шепнул тихонько Цицерону, не может ли он уговорить жену его отстать от таких дурачеств. Цицерон подошел к ней со всею важностию, достойною римского оратора и сенатора.

«А! здравствуй, дедушка, – сказала она ему, – послушай, мне есть до тебя маленькая просьба, и мне ужась хочется, чтоб ты ее исполнил: напиши, пожалуй, похвальную речь французским торговкам; ты не согласишься, как я и они будем тебя благодарить, твои филиппические речи стоили тебе головы, а за эту речь, о которой красоте я уверена, подарю я тебя последней моды фракком и аглинским гарнитуром пряжек. Признайся, что это очень щедрая плата».

я и критическая переписка арабского философа Маликульмульк с водяными, воздушными и подземными духами
«Богиня! – сказал Цицерон, – могу ли я верить своим глазам, чтоб ты, будучи бессмертна, пленилась дурачествами существ, которые едва живыми назваться могут?»

«О! ты скучишь своими нравоучениями, жизнь моя, – отвечала Прозерпина, – оставь их. Знаешь ли, что ты был бы нестерпим в нынешнем свете, и разве одними твоими острыми словами мог бы сыскать благосклонность у женщин, которые ныне решат судьбу ученых людей».

«Богиня, – говорил Цицерон, – сия вредная язва не заразила ли и мое любезное отечество? Ах! я бы лучше желал еще шесть раз быть из него изгнан и двадцать раз быть удушен, по приказанию новых Антониев, нежели видеть такую странную перемену».

«Ты не поверишь, – отвечала Прозерпина, – в каком совершенстве ныне Италия! Правда, ты не найдешь там ни одного Катона, ни Юлия, ни Брута, ни древнего Тарквиния; но, если б ты знал, как там хорошо сочиняют оперы буффо, то бы ты сделался театральным буффоном. – Жизнь моя! – продолжала она, оборотясь к Плутону, который смотрел на нее, вытараща глаза, – сделай милость, заведи здесь оперный театр; я на себя беру выписать актеров, музыкантов и хороших капельмейстеров».

«Богиня! – вскричал с сердцем Плутон, – ты, наконец, досаждаешь мне своими вздорными предложениями и сама не знаешь, что хочешь делать».

«Выбрить тебе бороду, радость моя, – отвечала с нежностью Прозерпина, – и нарядить тебя во французский кафтан. Ах! ты не поверишь, как прекрасны нынешние мужчины с выбритыми бородами; я видела своими глазами целые города, наполненные Нарциссами и Адонисами; и уверена, что ты с выбритою бородою так же прекрасен будешь, как Ганимед; прибавь же к тому французский кафтан, тупейалакроше, модные пряжки и щегольскую французскую шпагу. О! мужчины так стали хитры, что умели сделать прелестными в глазах женщин и шпаги свои. Ты не увидишь более тех старинных саблищ, которые весом тянули столько же, сколько те, которые их носили, но увидишь маленькие прекрасные шпажки, которые, ничуть не ужасая, делают только украшение и включены в число галантерейных вещей. Да, в число галантерейных вещей! Лучшие шпаги и лучшие тросточки продаются в аглинских магазинах».

Представь, мудрый Маликульмульк, каково было для нас видеть такое сумасбродство! Радамант, Эак и Минос жались как можно более, желая сохранить судейскую важность и чтоб не треснуть от смеха; сам Плутон половину плакал и половину смеялся; однако ж ничем не мог уговорить Прозерпины, чтоб скинула она свое фуру, а особливо, чтоб испортила прическу своей головы. «Как! – говорила она, – я буду ходить с растрепанными волосами в такое время, когда последняя театральная девка имеет у себя французского парикмахера! Нет, если ты хочешь, чтоб я осталась здесь, то неотменно выпиши мне парикмахера, портного и купца с галантерейными вещами, а без того я в сию же минуту еду в Париж».

Плутон морщился, сердился, смеялся, но, наконец, должен был согласиться на ее требование.

Кого же бы ты думал, выбрала доставить таких надобных людей?.. Меня, ученый Маликульмульк! Поздравь меня с должностию модного поверенного Прозерпины. Я скоро еду набирать лучших искусников. Весь ад теперь в смятении от этой перемены, и я скоро, может быть, уведомяю тебя, чем это кончится.

Письмо II

От сальфа Дальновидца к волшебнику Маликульмульку

О краткости жизни человеческой, о ненасытном их желании, о их блаженстве и о бесконечной вечности

Два дни тому назад, мудрый и ученый Маликульмульк, как поутру очень рано пролетал я чрез Париж, где, рано взлетев на самый верх одной колокольни, сел я там на несколько времени для отдохновения, ибо я тогда чрезвычайно устал, облетев, менее нежели в двенадцать часов, около пятисот миль, и притом еще должен был столько же пролететь до того места, куда предпринял я свое путешествие. Сидя на верху сей колокольни, обозревал я обширное пространство всего города, и тогда пришла мне в голову та же мысль, которая заставила некогда

и критическая переписка арабского философа Маликульмульк с водяными, воздушными и подземными духами. Ксеркс проливает слезы. «Когда я помышляю, – говорил сей монарх, осматривая свои войска, – сколь кратка жизнь человеческая, тогда прихожу и крайнее смущение от соблезнования и не могу от слез воздержаться, что из сих многих миллионов людей, стоящих теперь пред моими глазами, чрез сто лет ни одного в живых не останется». – «Ежели бы все люди, – говорил я сам в себе, – обитающие в сем городе, помышляли о своей плачевной участи и о конце своей жизни, которого вскоре ожидать они должны, то, без всякого сомнения, скоро вышли бы они из своего заблуждения и оставили бы все суетные свои попечения, которыми непрестанно себя занимают. К чему служат все труды, приемлемые сими несчастными? Вместо того, чтоб наслаждаться немногими минутами их жизни, над коими они суть совершенные властители, они изнуряют себя великими трудами, потеют и мучатся для приобретения благополучия в такое время, которого никогда они не увидят и кое совсем не для них предоставлено. Они тогда престают существовать на сем свете, когда думают начинать только наслаждаться исполнением своих предприятий».

Алчные и корыстолюбивые купцы, которые день и ночь обременяют себя труднейшими заботами о своей торговле и которые здоровьем своим и покоем жертвуют ненасытному желанию собрать богатое имение, умрут прежде, нежели удовольствуют свое желание, а чрез то более будут чувствовать скорбь и сокрушение, что всю жизнь свою бесполезно трудились; если же и случатся между ими таковые, которые прежде своей смерти удовлетворяют свою алчность, то и для тех то время, в которое будут они наслаждаться сими сокровищами, приобретенными с толикими трудами и беспокойством, покажется столь коротко, что ни к чему более не послужит, как к приумножению их мучений, возбуждая в них большее сожаление о лишении богатого своего имущества, коим столь маловременно они наслаждались.

Человек, который видит себя лежащего на одре смертном, тем более несчастлив, что с изнурением своего здоровья приобрел богатство и что не во всю жизнь свою находился в бедности; ибо, оставляя сей свет, чем менее в нем теряет, тем меньше о нем сокрушается. Лудовик XIV, умирая, лишался с жизнью государства. Герцог теряет менее, нежели государь; купец бедный теряет меньше, нежели богатый. Бедность есть такая вещь, которая всего способнее может произвести философов. Человек, обладающий богатым имением, редко захочет преподавать другим нравственные наставления. Сенека, быть может, один, а Эниктетов найдется две тысячи.

Ежели бы люди, мудрый и ученый Маликульмульк, устремляли некоторое внимание на бедность и на низкость своего состояния, то постарались бы отвратить полезнейшими своими размышлениями те бедствия, которым подвергла их судьбина. Вместо того, что поступками своими унижают они свое состояние, которое учинилось уже совсем

презренным, подражали бы они столько, сколько было бы им возможно, мудрым сифам, кои единственно стараются только о том, чтоб исполнять и любить добродетель, и ожидают без страха и суетного желания того, что небо для них определило. Слабые человеки, будучи весьма отдалены от того, чтоб во всем поступать с благоразумием, все равно трудятся о учинении себя несчастнейшими. Кажется, что они со утешением умножают свои бедствия, кои по собственному их злоупотреблению присоединены к человеческой природе и коих горесть единые токмо философы услаждать умеют. Без сомнения, ты, мудрый Маликульмульк, много раз рассматривал те несчастья, которым подвержен весь род человеческий, но не знаю, приметил ли ты когда, что все люди, в каком бы состоянии ни были (выключая из того числа немногих только любомудров), суть равно несчастны в глазах истинного философа. Начнем сие исследование с государя.

Таковой государь, который, будучи окружен блистательным двором своим, единственно предается без всякой умеренности различным забавам, оставляя своим министрам все попечение о своем государстве, может ли быть счастлив? Равным образом и тот, который, для удовольствования непомерного своего честолюбия, разоряет свое государство и приводит к крайнюю погибель своих подданных, не может назваться благополучным. Таковые государи, предающиеся страстям своим, сами чувствуют, сколько поступки их противны истинной чести, целомудрию и человеколюбию; ибо такова есть участь всех людей, поработанных своим порокам: чтобы они ни делали, однако ж не могут толико быть ослеплены, чтоб иногда тлеющая искра их совести не представляла им от времени до времени страшной истины. Некто из ученых мужей справедливо сказал, что «совесть может быть закрыта завесою, потому что она не бог, но что она никак не может совсем истребиться, потому что происходит от самого бога». Преступник, сколько бы ни

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами старался и сколько бы ни прибежал ко всем способам, могущим совершенно успокоить его смущение, однако ж никогда до того не достигнет, ибо внутренние угрызения совести, подобно тем хищным птицам, которые по баснословию терзали грудь Промефееву, непрестанно сыскивают свою пищу, и сердце, терзаемое ими, во всякое время претерпевает несноснейшие мучения. Великие и малые люди равно бывают подвержены внутреннему угрызению своей совести, коль скоро сделаются преступниками.

В каком бы состоянии человек ни был и какое бы лицо ни представлял, но ничто не может его избавить от терзания возмущенной его совести: «Повсюду, где нет истинной добродетели, порок обитает, а с ним купно и внутренние угрызения, всегда за ним последующие». Тщетно порочный государь мыслит, под защитоу своего самодержавства, успокоить страх свой, который посреди величества его, славы и беспечности повсюду за ним следует и непрестанно его мучит и терзает до самого того времени, когда лишится он жизни, а вместе с оною и пышных своих забав, смешанных со многими скорбями и мучениями. Мудрый философ может ли почесть благополучною столь беспокойную и бедственную участь?

От государя обратимся к придворному. Какое его состояние? Он есть невольник, носящий на себе золотые оковы! Под пышною наружностью суетного величия он сокрывает тягостные попечения и несноснейшие скорби. Сколько таких придворных, которые в жизни своей не проводят почти ни одного дня, не будучи терзаемы честолюбием, желанием приумножить свое могущество и страхом лишиться милости своего государя? Можно ли таковую жизнь почесть счастливою, в которой надлежит быть непрестанно в мучительном беспокойстве и в недоверчивости ко всем тем, с коими имеешь обхождение, льстить своим неприятелям, не иметь ни одного истинного друга и во всем поступать по своенравию и по прихотям другого человека? Наконец, после столь мучительной и беспокойной жизни постигает смерть, которая стремительно разрушает все принятые меры, делает бесполезными все усильнейшие старания и оставляет единое токмо прискорбие, что в толиком злоупотреблении препровождаемы были краткие дни его жизни, которую прожил он, будучи всегда невольником, когда мог бы наслаждаться спокойною свободою. Нужно ли было родиться на свет, единственно для того, чтоб играть столь мучительную роль в своей жизни, которая кончится столь скоропостижно?

Здесьние духовные особы не могут почесться ни благополучнее, ниже спокойнее светских! Они приносят к подножию жертвенника терзающее их честолюбие. Они непрестанно помышляют о приумножении своего богатства. Скупость есть порок, свойственный большей части французских духовных. Надменный прелат всегда бывает смутен, печален и задумчив, но что б такое могло возмущать его блаженство? Он хочет быть архиепископом! Когда поступает он в сие достоинство, то и тогда кажется столько же печален, ибо желает кардинальства; потом получает кардинальскую шапку, но беспокоества его не уменьшаются, потому что думает быть папою. Наконец, не избавившись от сердечного сокрушения, он умирает с сожалением, что не мог удовлетворить всех своих желаний. Сто тысяч ливров годового дохода и пышные титулы преимущества и высокоочия не могли учинить его благополучным, и со всем его богатством он был беднее крестьянина, живущего при умеренности спокойным и довольным в своей хижине.

Деревенский священник ропщет непрестанно на свою судьбину и жалуется, что ему жить нечем. Чрез несколько времени получает он богатый приход, оставляет деревню и переселяется в город. Ужели он сим удовольствован? Нет! он хочет быть настоятелем; потом получает и сие достоинство, однако ж желание его еще не удовлетвовано, ибо чем более он возвышается и чем больше доход его возрастает, тем больше алчность его приемлет новые силы. Ежели бы он, подобно тому кардиналу, достиг до ближайшей степени к папскому достоинству, то и тогда не был бы доволен; если бы поступил он и еще далее, хотя бы сделали его папою, то и в то время доходы его казались бы ему умеренными.

Вот сколь велико человеческое ослепление, мудрый и ученый Маликульмульк! Они бросаются непрестанно от одного состояния к другому и во всех сих различных переменах не менее суть несчастны. Поелику ищут они своего удовольствия в вещах суетных, скоропреходящих и неосновательных, а потому вместо истинного блаженства ничего другого не находят, кроме непостоянства, скуки, зависти, преступления и внутреннего угрызения, которое повсюду за ними последует.

Истинное и ни с чем несравненное блаженство состоит в любви к добродетели и в собственном спокойствии своего духа. Кто твердо уверен в сей истине, для

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами, соблюдения которой со всем поступает по мудрым и нужным правилам, тот совершенно благополучен и провождает жизнь без смущения и беспокойства; не страшится смерти и ее не желает; но ожидает спокойно всего того, что небо ему предопределило с его жизнью, ведая, что когда она кончится на здешнем свете, тогда наступит другая, чистейшая и светлейшая, и что сия будущая, совершенно блаженная жизнь будет наградою за мудрое поведение на сем свете.

Люди должны бы были непрестанно помышлять о двух вещах: во-первых, о краткости здешней жизни, а, во-вторых, о бесконечном продолжении будущей. Тогда не предались бы они безумным помышлениям, причиняющим им несносные мучения, тогда сказали бы они сами себе: «Как! для приобретения вечного блаженства предоставлено нам трудиться несколько только минут, а мы расточаем сии счастливые минуты в суетных желаниях и в предприятиях, которые тогда же исчезают, когда исполняются! Будем лучше помышлять о доставлении себе вечного жилища и не будем напрасно терять сих минут, от употребления коих зависит наше бесконечное блаженство».

Письмо III

От гнома Буристана к волшебнику Маликульмульку
О болезни адских судей и о переменах Плутонова двора
Пожалей о мне, любезный Маликульмульк, пожалей о своем бедном Буристане, узнай его несчастье; несчастье, которое едва ли с кем-нибудь из моей братьи когда случалось. Но почто удручать тебя моими пустыми жалобами? Они могут в мыслях легковверного увеличить мою беду; но в мыслях премудрого человека останутся одним пустым звоном. Итак, приступлю к делу и буду требовать твоей помощи; ибо не утешение, но помощь нужна несчастным.

Наш общий знакомец Зор писал к тебе о сумасшествии Прозерпины, но он еще не о всем тебя уведомил. Богиня вскоре после того вздумала переменить вид своего двора. Между тем как Зор полетел в свет набирать разных модных искусников, она новопривышему в ад французскому портному велела на скорую руку обмундировать семь греческих мудрецов и славнейших в древности женщин, как-то Семирамиду, Клеопатру, Лукрецию и прочих. Она еще более хотела: она неотменно желала, чтоб они завели между собою любовные интриги, и чтоб, не выключая и важного Солона, все сделались волокитами. Тысячу раз она смеялась над стыдливою Лукрециею над Виргиниею, что они дичились в новых нарядах и не давали рук своим обожателям; она отдала их под смотрение доброй Клеопатре, которая обещала сделать из них таких придворных вертопрашек, которым бы и лучшие европейские дворы завидовали.

Школа началась балом, богиня сама открыла его с Плутоном, и потом Лукреция с Сократом танцевали менует: говорят, будто он уже за нею и машет. Радамант, Минос и Эак, которые также приглашены были на сей праздник, потеряли всю свою важность, коль скоро увидели тут Александра Великого, Цесаря, Помпея, Брута, Катона и Фемистокла с римскими весталками, прыгающих галопада, который искусные музыканты играли аллегро престо. Бедные наши судьи, забыв придворную благопристойность, надрывались от смеха, и как им никогда не случалось так долго смеяться, то этот смех превеликою кончился бедою: Минос получил колику, толстый Радамант получил одышку, а у бедного Эака лопнул пузырь, и они, кое-как дошедши до своих постелей, сказались больными. И таким образом заседание адских судей перервалось, и некому было отправлять суд над ежечасно прибывающими сюда тенями.

На другой день послали Иппократа их освидетельствовать, который донес, что у двух из них лопнули мозговые перепонки, а у третьего разорвалась в ушах барабанная кожица; следственно, двое сошли с ума, а третий оглох и не может выслушивать оправданий. Плутон взбесился, услышав сию ведомость, и чрезвычайно бранил свою жену, обвиняя ее в сем несчастий. Прозерпина извинялась, как могла, и старалась доказывать, что сии судьи, несмотря на их повреждение, были еще годны для исправления своих должностей и что она, путешествуя по свету, никогда не видывала, чтобы отставляли судей, у которых повреждены мозговые перепонки, или у которых лопнули в ушах тамбурные кожицы, но упрямый Плутон, не слушая сих оправданий, решил посадить на место старых новых судей. В сем намерении призвал он меня и велел мне как можно скорее лететь в свет и сыскать трех честных и беспристрастных судей, у которых бы мозг был в хорошем положении и которые бы притом не были глухи. Представь, любезный Маликульмульк, как я остолбенел, услыша такое препоручение! «Ваше адское величество, – сказал я Плутону, – дарования мои так слабы, а должность, налагаемая вами на меня, так трудна, что я не надеюсь отыскать вами желаемых редкостей; итак, осмеливаюсь

и критическая переписка арабского философа Маликульмульк с водяными, воздушными и подземными духами просить у вас увольнения от толь тяжкого труда и поручения оногo такому духу, который более меня имеет дарований». – Но я только терял слова, и старик мой был неумолим; он доказывал, что ему неотменно нужно, чтобы продолжалось заседание, и для того надобны три честные человека, искусные в законах и без всякого корыстолюбия.

Вот какая поручена мне должность, любезный Маликульмульк, не несчастливый ли я бес? Где сыщу я три такие чуда? Я б лучше согласился быть Танталом или Иксионом, нежели искать такие редкости; однако ж с богами шутить дурно: надобно повиноваться, и я намерился чрез три часа отправиться на землю; а между тем хотел посоветоваться с некоторыми тенями, которые у нас славны мудростию; но заприметь, любезный Маликульмульк, как пример начальников развращает подчиненных! Я уже не нашел здесь ни одной тени, которая бы не старалась подражать Прозерпине и не занималась бы модами и чёскою. Я подошел к Гераклиду, думая, что сей печальный философ может мне подать наставление, но и тот у нас не без дела. Прозерпина по частому его плаканью заключила, что он может быть очень хорошим трагическим актером, и потому я нашел его занятого учением какой-то плаксивой роли из новых трагедий. «Ах! – подумал я сам в себе, – сколько на земле в нынешние веки умирает таких людей, которым нужен бы был один слабый пример их владетеля, чтобы сделаться Цицеронами, Катонами и Демосфенами, и которые вместо того проводили всю жизнь свою в вымышлении новых нарядов и над чёскою своих волос!» Я перебирал в уме многих древних государей и видел, что Виргилии, Горации, Бароны, Расины, Боалы и Молиеры бывали по большей части только тогда, когда жили Титы и Лудовики XIV, или когда они не боялись рассердить тем, что они умны, того, кто может у них отнять умы вместе с головами. Наконец, рассуждения мои кончились тем, что мне надобно было отправиться в свет, не получа ни от кого никакого совета, о чем я очень печалился, как вдруг увидел пред собою Диогена и Демокрита, которые хохотали во все горло.

«Скоро ли ты отправляешься, – спросил меня Демокрит, – искать нам честных судей?»

«Ах! – отвечал я, – в сей же час, но не знаю, каким образом окончится моя поездка, только думаю, что мне вечно в ад не возвращаться».

«Не отчаивайся, – сказал Диоген: – ты очень уже худо думаешь о свете; я, напротив того, от всех новопривывающих сюда судей слышу, что там ныне в судах все честные люди и что несколько уже тому назад веков, как бездельники и крючкотворцы выгнаны из приказов. Я советовал бы тебе лететь на север, там, может быть, найдешь ты надобное тебе число таких судей...»

«Я верю, – сказал Демокрит, – что ныне правосудие не с молотка продается», – и захохотал во все горло.

«Ах! – отвечал я печально, – и я верю тебе, Диоген, но скажи мне, отчего это, что с того света большая часть судей приходит к нам в богатых кафтанах; а тени челобитчиков являются сюда нагие; а часто и те самые из них, которые выиграли свой иск, приходят в одних рубашках!»

«Любезный друг, – отвечал Диоген, – ты уже знаешь от Прозерпины, что значит слово мода; итак, может быть, ныне на земле такая мода, чтоб челобитчики ходили полунагие, а судьи в богатых платьях: вить надобно же чем-нибудь различать состояния...»

«Так, так, – перехватил Демокрит, – видно, что это самая полезная мода, для того, что она уже давно в употреблении».

«Оставьте ваши шутки, – сказал я им, – и скажите мне лучше, каким образом могу я отыскать такие редкости; вы были на земле и можете меня просветить в сем случае».

«С охотою, – сказал Диоген, – во-первых, старайся сыскать такие приказные места, которые слынут нажиточными, и в них ищи судей, которые бы были бедны и имели бы богатых челобитчиков: это первый знак, что судья некорыстолюбив. Потом, как скоро ты увидишь, что его подьячие не пьяны, то это значит, что он умеет ими управлять. И, наконец, ежели ты увидишь, что у него случится дело знатного богача с невинным бедняком и простолюдином, а если богач проиграет свое дело, то

я и критическая переписка арабского философа Маликульмульк с водяными, воздушными и подземными духами даю тебе совет, не мешкая ни минуты, звать его сюда».

Демокрит ни в одном слове не спорил с словами Диогена, но только говорил, что это найти очень трудно, однако ж желал мне всякого счастья и, смеясь дурачествам Прозерпинги и чудному предприятию Плутона, удалился от меня с Диогеном к Прозерпинину уборному столику.

Вот, любезный Маликульмульк, мои обстоятельства. Признайся, не в жалком ли я положении: право, я боюсь, чтоб не расстаться навсегда с адом; итак, прошу твоего совета и, надеясь на твой разум, ожидаю от тебя сей помощи.

Письмо IV

От сильфа Дальновида к волшебнику Маликульмульку
О свойствах мизантропов и какую бы пользу могли они принести человеку
Когда я размышляю, мудрый и ученый Маликульмульк, о поведении большей части людей нынешнего света, то признаюсь, что не только извиняю, но даже хвалю поступки и образ мыслей тех людей, которым дают название мизантропов [3]. Все то, чем их упрекают, есть некоторым образом хвала их добродетели. Какой смертный, следующий путем истины, не возмущается тех гнусных страстей и пороков, коими свет сей преисполнен? Возможно ли, чтобы сие не учинило его суровым, унылым и задумчивым? Напрасно думают, будто люди всегда и во всякое время были одинаковы, я утверждаю, что слабые смертные никогда не были столь глупы, безумны, порочны и столь достойны сожаления, как ныне. Весьма нужно, чтобы в каждом государстве поболее было сих мизантропов, дабы люди могли пользоваться наставлениями, упреками и колкими насмешками сих угрюмых философов.

Так, мудрый и ученый Маликульмульк, я весьма в том уверен, что ничто не может быть столь полезно для благосостояния общества, как великое число сих мизантропов; я почитаю их за наставников и учителей рода человеческого. Одна половина света, занимаясь бездельками, повержена ныне в совершенное ребячество, а другая одержима бешенством! Итак, должно поступать с людьми или как с младенцами, или как с бешеными. Обыкновенные философы, мудрецы и ученые не могут более быть их путеводителями; все их премудрые поучения не сделают никакого впечатления над развращенными их умами, надлежит употребить на сие гораздо строжайших наставников – одним словом, таких, каковы мизантропы.

Возмогут ли все наставления Сенеки и Эпиктета произвести какое действие над глупую голову петиметра? Сделают ли они его разумнейшим? Заставят ли быть полезным обществу, и не принимать более на себя тех смешных телодвижений и ужимок? чрез кои уподобляется он обезьяне? Без сомнения, все речи сих великих философов останутся безуспешны. Тщетно будут они прославлять пред ним добродетель и описывать всю гнусность пороков: он, насмехаясь как им самим, так и их словам, вместо ответа сделает, может быть, несколько странных прыжков или пропоет какую песенку из новой оперы. Но мизантроп, привыкший не обвиняясь говорить истину, есть человек, могущий заставить сего шалуна войти в самого себя. «Поступки твои, – окажет он ему, – забавляют меня несколько минут, но, наконец, становятся несносны. Признаюсь, что ты очень забавен, и я не могу смотреть на тебя без смеха, однако ж напоследок ты чрезмерно наскучишь. Хочешь ли, – скажет он ему, продолжая свою речь, – чтоб я говорил с тобою чистосердечно? Мне весьма удивительно, что по сих пор ты и тебе подобные не предложили еще правительству, дабы учреждено было особое собрание, где вознаграждались бы все модные ваши дурачества. Я уверен, что тогда был бы ты из числа первейших, могущих льститься восчувствовать на себе опыт сего столь благоустроенного заведения; потому наиболее, что нет никого даже и из твоих сотоварищей, кто бы мог с таким искусством, как ты, делать страннейшие телодвижения, шаркать ногами, кривлять рот, обращать по-модному глаза, болтать то, чего сам не понимаешь, смеяться без намерения, печалиться без причины и лгать с таким уверительным видом и смелостию, как другой говорит правду».

Сии язвительные шутки, мудрый и ученый Маликульмульк, произнесенные с насмешливым видом такого человека, каков мизантроп, делают больше впечатления и более поражают сердца, нежели наилучшие философические речи. Все сочинители нравоучений и все проповедники не возмogli еще отвлечь ни одного петиметра от его глупостей; напротив того Мизантроп Молиеров более сделал добра Франции, нежели проповеди Бурдаловы и прочих ему подобных проповедников. Итак, когда простой список произвел столь много пользы, то что должно ожидать от подлинника?

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами. Врожденное людям самолюбие управляет с самого почти младенчества всеми их действиями. Нельзя сыскать лучшего средства к исправлению их погрешностей, как изобрази гнусность тех пороков, коим они поработены, обращать их в насмешку и чрез то уязвлять сродное каждому человеку тщеславие. Никто не может исполнить сие с лучшим успехом, как мизантроп; следовательно, нет человека, который столько бы полезен был обществу, как он.

Когда я взираю на сих людей, кои, не беспокоясь нимало о том, что будут об них говорить, не опасаясь злобы и ненависти своих сограждан, с презрением и смело осуждают все то, что видят в них худого, – тогда кажется мне, будто вижу врачей, окруженных множеством больных, кои, видя, что не хотят они пользоваться обыкновенными способами, принуждены бывают для спасения их жизни давать им против воли лекарства, хотя поистине не весьма вкусные, но способные восстановить их здоровье.

Пусть осуждают, сколько хотят, грубость и странные, по мнению некоторых людей, поступки мизантропов, я буду всегда утверждать, что почти невозможно быть совершенно честным человеком, не быв несколько им подобным. Неужели должен я почитать за добродетель подлое ласкательство придворного, готового всегда улаживать не только слабости своего государя, но даже и тех людей, от кого он надеется получить какое благодеяние? Достоин ли моей похвалы тот французский аббат, который, желая снискать благосклонность своего епископа, превозносит до небес его глупости, который хвалит в нем добродетели, коих он никогда не имел, и который расточительность его называет нелюбостыжанием, невежество – простосердечием, а злость и суеверие – священной ревностью? Нет, премудрый Маликульмульк, я чувствую, что неприличность сих гнусных нравов возмущает мою душу, и потому стократно более предпочитаю сим подлым льстецам мизантропа, человека угрюмого, нетерпеливого и бешеного, буде хотят, чтоб я его так назвал, но коего сердце наполнено притом справедливостию, чистосердечием, добродетелию и который неспособен ни лгать, ни притворяться.

Если бы при дворах государей находилось некоторое число мизантропов, то какое счастье последовало бы тогда для всего парода! Каждый государь, внимая гласу их, познавал бы тотчас истину. Один мизантроп истребил бы в минуту все те злодеяния, кои пятьдесят льстецов в продолжение целого месяца причинили. Министры, судьи, вельможи, одним словом, все те, коим вверено благосостояние народное, трепетали бы при едином названии мизантропа. «Надлежит исполнять, – сказали бы они, – со всевозможною ревностию возложенные на нас должности. Ничто не может остановить сего ужасного предвозвестника истины. Скоро глас его раздастся повсюду и, достигнув престола, известит государя о всех тайных наших делах. Если не ужасаемся мы оскорблять истину и добродетель, то да страшимся, но крайней мере, необузданного языка мизантропова, и когда пристрастия и пороки усыпили уже нашу совесть, то надлежит, по крайней мере, стараться, чтоб не подозревал он ни в чем нашей честности».

Мизантроп не только может споспешествовать пользе народной, но и благосостоянию самого государя: он научал бы своим примером как придворных, так и подданных, что усердие и ревностные услуги должны быть оказываемы единственно государю, а не его вельможам. Я помню, что читал я некогда прекрасное описание о мизантропе, находившемся в службе Лудовика XIII. Сей человек, имея при дворе немалый чин, не оказывал никогда ни малейшего почтения кардиналу Ришелье. «Я его не боюсь и не почитаю», – сказал он некогда, разговаривая о сем министре. «Я служу королю; ревность и усердие мое оказываю только одному ему; а в прочем мало беспокоюсь, любит ли меня кто или ненавидит». Сии слова привели в великое удивление кардинала: он велел сказать сему мизантропу, что если он один только раз скажет ему: «Господин кардинал, я ваш покорнейший слуга и прошу вашего покровительства», то постарается он снискать ему счастье и навсегда останется его другом. На сие предложение мизантроп ответствовал, что он служит королю, а не господину кардиналу, и что не имеет нужды ни в чьем покровительстве, кроме своего государя. Что ж касается до дружбы сего министра, то он столько ее не уважает, что если б король приказал ему убить господина кардинала, то не преминул бы он в четверть часа исполнить сие повеление. Один только мизантроп может иметь столь бескорыстные и столь преданные к своему государю чувствования. Я повторяю еще, мудрый и ученый Маликульмульк, чтоб быть совершенно честным человеком, надлежит быть несколько подобным мизантропу.

Наконец чрез название мизантропа не разумею я здесь того бешеного и несноснейшего врага самому себе и всему роду человеческому, который ненавидит

и критическая переписка арабского философа Маликульмульк с водяными, воздушными и подземными духами людей за то, что они люди. Я желаю, чтоб тот суровый и задумчивый мудрец, о коем я говорю, ненавидел только пороки, сожалел о порочных и чтоб, упрекая людей, зараженных оными,ставлял главнейшим своим предметом их исправление. Между мизантропом, коего писал Молиер, и тем бешеным афинянином, о котором Плутарх нас уведомляет, находится величайшее различие. Весьма несвойственно приписали Тимону название мизантропа, надлежало бы лучше назвать его лютым зверем или разъяренным медведем. Должно ли почитать человеком того, который был свирепее льва и кровожаднее тигра? Сей изверг человечества, о котором я говорю, жил один в загородном своем доме близ города Афин, где не имел ни с кем больше знакомства, кроме одного только Алцибиада. Когда вопрошали его, почему, ненавидя вообще всех людей, предпочел он сего молодого грека прочим людям, то отвечал он на сие следующее: «Я люблю и имею знакомство с Алцибиадом для того, что предвижу заранее те бедствия, которые причинит он некогда всей республике. Не думайте, чтобы дружба меня с ним соединяло: нет! меня прельщает только тот огонь, которым от него вся Греция воспыхает».

Ненависть Тимонова к своим соотчикам простиралась до такой крайности, что всякое зло, им причиненное, приводило его в восхищение. Рассказывают, что в саду загородного его дома было несколько деревьев, на которых отчаянные люди оканчивали обыкновенно дни свои удавкою. Он, имея намерение вырубить сии деревья, дабы на том месте построить некоторое здание, пошел прежде в Афины, где созвал весь народ на большую площадь. Греки, пораженные необычным сим созывом, бежали туда толпами; однако ж весьма худо награждены были за свое любопытство. Тимон уведомил их, что он заблагорассудил через несколько дней срубить деревья, находящиеся у него в саду и для того заблаговременно дает знать, буде кто имеет желание удавиться, то чтоб не теряли времени. После сей прекрасной и трогательной речи распустил он своих слушателей. По моему мнению, весьма бы хорошо сделали, если б сего красноречивого оратора убили они в ту ж минуту камнями.

Сих извергов человечества надлежит истреблять со всевозможною поспешностию, опасаясь, дабы яд пагубных их предрассудков не повредил людям, наклонных и без того более ко злу, нежели к добродетели. Каких следствий долженствовала ожидать Греция от учрежденной там цинической секты? Итак, когда нашлись столь глупые и столь безумные люди, кои при глазах целого народа не стыдились отправлять бесчиннейшие деяния, то легко может также случиться, что соберется когда-нибудь скопище подобных Тимону бешеных людей, кои, объявляя себя явно смертельными врагами человеческого рода, увещевать будут всякого с ними встречающегося, дабы он без дальнего размышления как возможно скорее удавился.

Я думаю, ты согласишься со мною, мудрый и ученый Маликульмульк, что афиняне весьма бы благоразумно поступили, если бы они наказали смертью Тимонова за дерзновенную его речь. Кажется мне, что довольно уже я изъяснял, какое великое различие находится между сим беснующимся и мизантропом: один ненавидел людей, а другой ненавидел только их пороки. Наконец, остается нам желать, премудрый Маликульмульк, чтоб небо ниспослало людям друга, такого мудрого мизантропа, который, уличая их в погрешностях, побуждал бы чрез то к исправлению оных.

Письмо V

От Астарота к волшебнику Маликульмульку

О участи бедного стихотворца

Отсутствие мое из ада, мудрый я ученый Маликульмульк, есть главнейшая причина моего молчания. Я принужден был более двух месяцев пробыть в Париже. Тебе известно, что со времен великого Агриппы, открывшего людям тайну вызывать нас против воли на тот свет, нередко мы принуждены бываем, оставляя мрачное наше жилище, исполнять их повеления.

Некоторый стихотворец, коего обстоятельства были в великой расстройке, принужденным себя нашел страшнейшими заклинаниями призывать нас к себе на помощь. Веелзевул, услыша томный голос сего питомца муз, приказал мне осведомиться немедленно, чего он желает. Исполняя сие повеление, предстал я пред него в виде таможенного сборщика.

«Что тебе надобно? – сказал я ему, – я тот бес, коего ты призывал; говори, желания твои будут исполнены».

«Я вижу, – отвечал стихотворец, запинаясь от робости, – что ты наивеличайший плут и обманщик из всего бесовского вашего рода, ибо наряд твой

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами показывает мне, что ты и в аде отправляешь такую должность, которая на здешнем свете ничего доброго не предвещает. Итак, возвратись опять в прежнее свое жилище: я не столь глуп, чтоб положился на обещание беса, отправляющего столь скардную должность».

«Ты несправедливо рассуждаешь, – отвечал я стихотворцу, – о моих качествах; знай, что в аде все дела делаются не так, как на вашем свете: у нас наичестнейшие бесы, коих верность нимало неподозрительна, употребляются обыкновенно для сбора доходов; и когда ученый человек, а особливо стихотворец, потребует нашей помощи, то всегда посылается к нему бес откупщик или таможенный сборщик, ибо нам известно, что голод и жажда суть главнейшие нужды, в коих должно им помогать».

«Когда так, – сказал стихотворец, – то сделай милость, употреби как можно скорее известные тебе средства для утоления моего голода. Целые два дни наблюдаю я поневоле наистрожайший пост; если б ты не подоспел ко мне на помощь, то принужден бы я был продать на рынке последнее мое имущество, т. е. чернильницу, и, думаю, что в тогдашнем моем положении охотно бы уступил ее за двухкопеечный калач».

«Ты будешь удовольствован, – отвечал я голодному питомцу муз. В самое то время увидел он в своей комнате стол со множеством кушанья. – Ешь, – сказал я ему, – а после поговорим о твоих делах».

Он с великою охотою повиновался моему приказанию и кушал с такой умеренностию, что я опасался, дабы не лопнул у него желудок.

Когда перестал он есть, потому что более уже в него не шло, то спросил я его, чего еще он от меня желает?

«Я желал бы, – отвечал он, – чтоб снабдил ты меня знатною суммою денег, дабы не имел я более нужды беспокоить тебя моими просьбами, и чтоб в последующее время не умереть с голоду».

«Сие нетрудно сделать», – сказал я ему, отдавая большой кошелек с полновесными червонцами.

«Не привидение ли это? – вскричал он с восхищением. – В самом ли деле существует сие золото, которое я вижу; не сонное ли мечтание льстит мне благополучием, которое вскоре, может быть, исчезнет?»

«Не опасайся, – отвечал я, – все то, что ты видишь, сеть истина, и нет тут ни малейшего обмана».

«Но скажи мне, что это за бумаги, которые в комнате твоей повсюду разбросаны?»

«Это, – отвечал стихотворец, – оды, сонеты, мадригалы и баллады, которые сочинил я в похвалу многих знатных особ».

«Так неужели, – сказали, – с помощью красноречия и толиких лжей не умел ты сыскать себе пропитания? По-видимому, все те, коих осыпал ты похвалами, не весьма были тароваты».

«Я подносил свои сочинения, – отвечал стихотворец, – тем, коих щедрость и великодушие как в городе, так и при дворе до небес превозносили; однако ж получаемые мною награждения не соответствовали гремевшей о них славе. Один только недавно разбогатевший господин, которого отец был конюхом, подарил мне шесть луидоров за то, что вывел я его родословную от великого Могола. По несчастью, проговорился я о сем подарке некоторому моему приятелю, такому ж нищенствующему стихотворцу, как и я был до сего времени, который столь неотступно ко мне приставал, что я принужден был дать ему займы два луидора. Получа оные, выкупил он тотчас свою трагедию, бывшую в закладе у служителя некоторого комедианта, отдал ее на театр, надеясь, что принесет она ему очень много барыша; но при первом представлении ее освистали. После чего приятель мой чрез несколько дней умер с печали, а мои деньги также за ним во гроб последовали».

«Для чего же, – спросил я у стихотворца, – будучи так несчастлив в ученых своих делах, не принялся ты за другой какой промысел? Мне кажется, что состояние

я и критическая переписка арабского философа Маликульмульк с водяными, воздушными и подземными духами сытого извозчика гораздо предпочтительнее состоянию голодного стихотворца. Прилепляясь к музам, чаще делают себе вред, нежели пользу».

«Возможно ли, – отвечал мне ученик Аполлонов, – чтоб человек, привыкший взирать на себя, как на некоторый род божества, мог упражняться в постыдном каком промысле? Тщеславие и пристрастие к стихотворству управляли всеми моими деяниями. Сии слабости свойственны не только мне, но и всей моей собратий; нет ни одного из нас, который бы не поставлял себя выше всего на свете. Когда сравниваем мы Гомера с Ахиллесом или Августа с Вергилием, то делаем сие нарочно для того, чтоб усугубить собственную нашу славу. Если б найден был такой способ, чтоб человек мог пробыть без пищи, то я уверен, что большая часть писателей предпочли бы свои дарования престолом величайших государей. Скалигер говорил, что он охотнее бы согласился быть Горацием, нежели Неаполитанским и Сицилийским королем. Однако ж, думаю, если б случилось ему быть в такой крайности, в какой находился я, до твоего ко мне прибытия, то переменял бы, конечно, свои мысли».

«Утешься, – сказал я стихотворцу, – впредь не будешь ты иметь ни в чем недостатка».

Сказав сии слова, хотел было я от него удалиться, но он усиленно меня просил, дабы позволил я ему представить к себе некоторого его приятеля, желающего вступить в приказную службу. Я не премину уведомить тебя после, мудрый и ученый Маликульмульк, о разговоре, который был у нас с сим человеком.

Письмо VI

От гнома Зора к волшебнику Маликульмульку
О вступлении его в свет и в большой город – замечания о жителях оного – виденное в трактире – слышанные разговоры: от племянника одного знатного человека, о силе его дядюшки в судебных производствах; от несчастного игрока, обыгрываемого на верную, и ветродума, о свойствах щеголихи его тетушки
Вчерашнего дня, любезный Маликульмульк, вылетел я из своего жилища на свет для набрания надобных людей и для закупки уборов, о которых, при самом моем отправлении из ада, препоручено мне было. Имея множество денег, при которых, как сказывают, нет ничего в свете невозможного, ты подумаешь, что я в одну минуту мог исполнить желание Прозерпины, но как ты удивишься, когда узнаешь, что ничего нет труднее таких препоручений.

Вылетев на поверхность земли, устремился я прямо к средоточию роскоши, то есть к большому великолепному и многолюдному городу Европы. Жители оного могут, по справедливости, почитаться ныне поравнявшимися с самими теми, которые в сей части света издавна почитаются образцами новых изобретений, и кои стараются весьма искусно выводить истинную добродетель. Их-то философии обязан ныне свет, многими так называемымися людьми без предрассуждения, которые за кусок золота в состоянии продать своих друзей, родню или и все свое отечество, для того только, чтоб посредством оного показаться в хороших нарядах в великолепных колесницах. По таковым подлинникам можно судить и о сколках, не уступающих образцам своим в свойственной им доброте, и наверное угадать, что я, сыскав столь честные селения, не почел за нужное лететь далее, а избрал сей город лавкою своих покупок.

Чтоб знать вкус в нарядах, надобно непременно хорошее знакомство, а чтоб иметь оное, нужны деньги, почитающиеся всеобщим, ключом, которым ныне заводятся большие часы света. Следуя сему правилу, я принял вид молодого и пригожего человека, потому что цветущая молодость, приятности и красота в нынешнее время также в весьма немалом уважении и при некоторых случаях, как сказывают, производят великие чудеса, а при столь выгодной наружности не позабыл я представить себя в богатом кафтане, в котором, может быть, почли бы меня за какого-нибудь ученого, если б не был он весь в золоте. Не успел я показаться в сем виде в одном из тех трактиров, в которых приезжие находят себе пристанище, как множество молодых людей кричали мне свои приветствия, и каждый из них предлагал мне тысячу услуг. Петиметр обещавал меня познакомить с своим портным и парикмахером, пьяница хотел вести в такой трактир, в котором продаются лучшие вина, а картежник шептал мне на ухо, чтобы итти с ним обыгрывать его знакомого на верную, но я пронизанием своим узнал, что он такими услугами разорил уже не одну дюжину безумцев.

Все вообще спрашивали меня, кто я таков? откуда приехал? и какая моя

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами надобность? – «Милостивый государь! – сказал мне один из них, находившийся с растрепанными волосами, который был уже вполпьяна и допивал шестую порцию пуншу, – не тяжба ли какая причиной вашего сюда приезда? Если так, то я охотно предлагаю вам свои услуги: дядя мой знатный человек, и он за удовольствие себе почтет склонить судей на вашу сторону, были б только худы обстоятельства вашего дела! Вам стоит токмо уступить дядюшке половину иска, и я вас уверяю, что спорная земля ваша. Вы можете узнать от других, что в 15 лет по вступлении его в свою должность он тысячу дел поворотил на такую сторону, на какую ему захотелось; впрочем, если вам нужда, то я уверяю вас своим и дядюшкиным честным словом, что он, за весьма сходную цену, согласится уморить в тюрьме ваших соперников». Я благодарил сего доброго человека и признавался ему, что мне нет нужды в его услугах; это его несколько рассердило, и он в молчании принялся допивать шестую свою порцию пуншу.

Я не успел еще отблагодарить сего услужливого человека, как вошел в комнату, с опухлыми глазами, с расстегнутым камзолом и с обкусанными губами молодой человек и спросил чашку шоколаду; я бы почел его за какого-нибудь питомца муз, если бы поданная ему в долг чашка шоколаду не опровергла сего мнения, ибо мне известно от теней, переселяющихся в ад, что в свете все ученые весьма малую имеют доверенность. Я сел подле его в намерении свести с ним знакомство, и, подлинно, мы недолго были с ним в молчании; он первый начал разговор следующим образом: «По моему мнению, государь мой, нет никакой науки труднее той, которая учит, как жить в свете! Чорт меня возьми! – вскричал он, – если не сущее дурачество делают те, которые предписывают тому правила».

«Это правда, государь мой! – отвечал я, – ибо правила могут быть непременно в одной только математике, но в повсечасно переменяющихся случаях их соблюсти неудобно, и правила, касательно до общежития, так же способно предписать, как удобно шить кафтаны по одной мерке на весь город; однако ж, со всем тем, должно в жизни предполагать главнейшие начала, которым следуя, можно приноравливать оные к случающимся обстоятельствам. Например, если кто положит себе правилом быть тем довольну, что имеет, и сносит великодушно случающиеся несчастья, почитая их неизбежными в сей жизни, тот...»

«Эх, государь мой! – перехватил он речь мою, – это то же, как бы кто сказал, что немудрено познать систему света, нужно только выучить математику и физику! Слово выучить математику произносится очень легко, но в нем замыкается тысяча препятствий, и его не так-то удобно можно исполнить. Многие философы говорили, что надобно быть всем довольну, признавая, что в сем общем положении много заключается, но на самом деле не легко оное исполнить, я сам по себе это знаю; взяв от отца 1000 рублей на год, я приезжаю сюда в намерении не желать ничего более и, подлинно, я думаю так несколько месяцев, но, наконец, нахожу знакомцев, которые твердят мне беспрестанно, что я беден, что граф Беспутов имеет в десять раз лучшее содержание, нежели я, и все это заслужил только тем, что родился от знатного отца; что молодой Бесчетнов имеет лучших лошадей в городе и прекрасную любовницу, а сделал важного для отечества только то, что посредством своих денег надел на себя военный мундир, довольно порядочной степени, и умножил тем число титулярных служивых. После сего говорят мне, чтоб состояние свое поправил картами, и доказывают ясно, что ничего нет легче, как выиграть 10 000 рублей в один вечер. Я этому верю, беру карты, меня вводят в один дом, где указывают мне собрание сих счастливых, из которых большая половина сидели в отчаянии, без кафтанов и без камзолов; это меня несколько устало, но приятели мои принимаются за убедительные свои доказательства и говорят, что когда двое играют, то неотменно должно, чтоб один из них проиграл, а другой выиграл. Сии самые полунагие служат доказательством, что есть счастливы, которые у них все выиграло, после чего я сажусь и проигрываю свой годовой доход, потом на 3000 даю векселей. Теперь скажите, могу ли я быть довольным моими обстоятельствами? Однако ж, сударь, – продолжал он, – если вам угодно, и когда есть у вас деньги, то вы можете сделать и свое, и мое счастье: пойдемте только в тот дом, где пополам, конечно, мы отыграем у сих счастливых, чего они меня лишили, а, может быть, что и во сто раз более у них у самих выиграем».

Он бы еще далее продолжал свою речь, если бы не вошел тогда один его знакомец, который нечто шепнул ему на ухо, и мой несчастливый картежник бросился стремглав из комнаты, сказав нам, что он идет вновь спорить со счастьем. Лишь только он вышел, то его друг, который на несколько времени оставался с нами, зачал говорить с другими своими знакомцами, и я слышал, как они сговаривались обыграть того молодого человека, за которым тот же час вышли. Вот, ученый Маликульмульк,

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами малая картина людей. Ныне весь свет играет в карты, и всегда двое продают третьего. Я писал о сем к Диогену и заключил, что можно судить по картам и о политике, но он отвечал мне, что в его время не играли в карты и не знали политики, и потому просит от меня другого сравнения; но оставим это и возвратимся к моей повести. Лишь только вышла толпа соединенных сих картежников, то вошел в комнату пребогато одетый человек. «Вот, – думал я сам в себе, – тот, кого мне надобно, от него неотменно получу я сведение о модах». Ветродум, так он назывался, зачинал говорить о тысячи разных предметах и ни об одном не оканчивал; он садился для того, чтобы сделать из себя хорошую фигуру, и с намерением пил, чтобы иметь случай делать приятные ужимки. Между сотнею сделанных им мне вопросов был для меня самый нужный: «зачем я приехал в город?» На что я отвечал ему, сколько мог учтиво, сказав, что я богатый дворянин и приехал в сей город затем, чтоб по просьбе моих родственников вывезть им модных уборов и...

«О! что до этого принадлежит, – вскричал он, – то вы ничего лучше не сделаете, как если адресуетесь ко мне. Я вас, в два часа, коротко познакомя с моей тетушкой, которая уже тридцать лет учится науке нравиться и почитается здесь во всем городе первою щеголихою. Вы, кроме ее, не получите ни от кого подробнее наставления о нарядах. Да, это женщина такая, которая делает честь своему полу и живет прямо щегольски: днем спит, ночное время проводит в забавах; туалет ее занимает 4 часа; обеденный и вечерний стол 5; 9 часов она провождает во сне, а прочее время употребляет для своих веселостей; словом, это беспримерная женщина, и мы завтра у нее обедаем».

После сего он, схватив мою руку, потряс оную и скрылся от меня, как молния, сказав, чтоб я на другой день дожидался его в том же месте. Итак, любезный Маликульмульк, я остаюсь в нетерпеливости сделать сие знакомство, и в первом письме подробнее уведомя тебя о сей беспримерной женщине и о сем молодом ветренике, которые, может быть, будут служить образцами для всего ада.

Я повстречал своего брата Буристонна, он очень невесело ходит и не надеется, чтоб мог скоро исполнить приказания Плутонны так, как и я Прозерпинины.

Письмо VII

От сальфа Дальновидна к волшебнику Маликульмульку

О разговоре молодой золотошвейки с торговкою модных уборов, уловляющею ее невинность представлениями наружного блеска распутных девушек, живущих расточениями молодых людей

Пробывши несколько дней в сем городе, мудрый и ученый Маликульмульк, и летая некогда над садом, усмотрел я в одной темной аллее женщину, показавшуюся мне старше шестидесяти лет, которая говорила с великою горячностью с одною молодою девушкою, имеющею не более шестнадцати или семнадцати лет, слушавшею ее, краснея и с потупленными глазами; любопытствуя услышать, что разговаривают сии две женщины, я, подлетев, сел подле их, и разговор их показался мне очень чудным.

Старуха была из числа тех торговок, продающих модные женские уборы, кои получают более прибытка от переноса любовных писем, от склонения молодых девушек к любви и от назначения любовникам свиданий, нежели от продажи кружев, чепчиков и модных шляпок, а молодая девушка, разговаривающая с нею, была золотошвейка. Она имела вид тихой, скромной и постоянной, однако ж была одета богаче, нежели как бы было пристойно ее состоянию.

«Послушай, Лизынька, – говорила ей старуха, – ты не должна надеяться, чтоб господин Расточителей не престанно осыпал тебя своими подарками. Вот уже он подарил тебе два платья, три куса полотна и восемь импералов на твои забавы; ты все это через меня получила, но целый уже почти месяц ты мне обещаешь приехать со мною к нему и по сию пору не исполняешь своего слова. Не стыдно ли тебе обманывать такого честного господина, который дарит тебя столь щедро и ищет только случая сделать тебя счастливою? Ты сама, душенька, теряешь свое счастье, и ежели еще поступать будешь таким образом, то после сама расквесишься, но тогда уже будет поздно. Г. Расточителей говорил уже мне о Маше, ему скучно твое упорство, и ежели он однажды увидит эту девку, то она, конечно, заступит то место, которое для тебя готовилось; тогда прощай платье, уборы и все забавы, ты ничего уже иметь не будешь, а попрежнему будешь провождать всю жизнь свою от утра до вечера в платье золотом и будешь видеть Машу, которая ничем тебя не

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами лучше, одетую в богатое платье и едущую по всем позорищам, так, как знатную барыню! Так, душенька, она будет, как знатная барыня. Да знаешь ли ты, что г. Расточителей намерен для тебя нанять великолепный дом, дать тебе богатый экипаж и определить доход на всю твою жизнь. Это между нами сказано: я почитаю тебя девицею скромною и не опасуюсь, чтобы ты ему о том пересказала: я чрез то лишилась бы совсем его доверенности и, желая тебе услужить, потеряла бы в нем хорошего покровителя. Ты меня знаешь, я не захочу тебя обманывать. Поверь, друг мой, что все это я делаю единственно из дружбы к тебе; мне очень досадно, что ты лишаешь себя такого благополучия. Посмотри на всех оперных девок: они великолепием своим кажутся графинями, но что были бы они без любовников? Им не на что бы было купить и башмаков! Подумай о своем счастье, ты находишь такого честного и щедрого человека, который из золотошвейки хочет сделать тебя подобною знатным господам, а ты не склоняешься на его предложение: ты в этом случае очень неразумна: не стыдно ли тебе? Я, право, думала найти в тебе больше разума и рассудка!»

«Ах, боже мой, госпожа Плутана! – ответствовала молодая девица: – я очень бы желала быть другом господину Расточителю, да он требует от меня того, на что мне очень трудно согласиться и что меня чрезвычайно оскорбит может. Ежели то правда, как ты мне сказываешь, что он столько меня любит, то для чего же все то, о чем ты мне упоминала, не хочет он сделать, не требуя от меня ничего, единственно только для того, чтоб меня тем больше одолжить? Ежели бы я чувствовала к господину Расточителю столь великую любовь, какую чувствует он, по уверению твоему, ко мне, то я не требовала бы от него ничего такого, что бы ему не нравилось, и не стала бы просить его о таком снисхождении, которое бы его огорчило и повредило его честь. На что он хочет, чтоб я к нему приехала? Не видит ли он меня всегда на гулянье, в церкви, на улице и в окошке? Я, для угождения ему, когда он стоит в своем окне, всегда стараюсь из нашего окна ему показываться, и мне кажется, что он имел довольно уже времени на меня насмотреться».

«Ты рассуждаешь, – сказала старуха, – так, как трехлетний младенец. Неужли ты думаешь, что г. Расточителей может быть доволен одним только на тебя смотрением? Ежели бы ему нужно было только это, то нашел бы он множество статуй гораздо тебя прекраснее, на которые смотря мог бы довольствоваться свое зрение, ничего не тратя. Нет, душенька! Для него нужна красота одушевленная; ты показываешь в себе совершенную невинность, однако жил самом деле ты не так проста, какую себя показать хочешь; в твои лета можно уже знать, что мужчины любят женщин не с тем, чтоб только на них смотреть. Неужли ты боишься два часа пробыть наедине с г. Расточителем? О! Поверь мне, я тебе в том порукою, что такие свидания не так опасны, как ты думаешь, и точно тебя уверяю, что ежели ты два раза таким образом будешь иметь с ним свидание, то в третий раз для самой тебя столько же казаться будет приятно, сколько и для него. Спроси у Наташи, которая очень часто видалась с г. Ветрогоном, хорошим приятелем г. Расточителя, – имеет ли она причину жаловаться на первое уединенное свидание, которое она с ним имела».

«От этого-то самого, – ответствовала девушка, – что рассказывала мне Наташа, я и боюсь быть наедине с г. Расточителем. Я никак не могла бы снести, ежели бы он стал со мною так же поступать, как приятель его поступал с Наташею... Подумай, госпожа Плутана, хотя я и бедная золотошвейка, однако ж столько же уважаю мою честию, как и знатная госпожа. Слава богу, донныне я ни в чем упрекать себя не могу и могу побожиться без угрызения совести о моей невинности».

«Я очень в этом уверена, – говорила старуха, усмехнувшись, – и ежели бы ты не была такова, то бы я за тебя не отвечала г. Расточителю; но неужли ты хочешь навсегда таковою остаться? Скажи мне, душенька, что лучше, быть честною и целомудренною, но худо одетою, бедною и от всех презренною девушкою, или без целомудрия быть богатою, одеваться в блистательные наряды, жить в великолепном доме и ездить в богатом экипаже, я об этом спрашиваю собственного твоего мнения? Посмотри на старую свою мастерицу, у которой ты учишься шить золотом: она поныне сохраняет свое целомудрие, но почти умирает с голоду; завидуешь ли ты ее жизни? Взгляни, напротив того, на Любострасту, которая никогда не думала о своем целомудрии: какой имеет она богатый доход! Не захотела ли бы и ты жить так роскошно, как она? Ты слишком уже уважаешь своим целомудрием. Ах, друг мой! поверь мне, что большая часть девушек очень мало о нем думают, в твои лета оно было бы для них столько же тягостно, как сохранение тайны для болтливой старухи. Ежели бы я сама была на твоём месте, то право бы не раздумала продать честь свою за такую дорогую цену. Упорство твое кажется мне очень смешным. Каждый день

и критическая переписка арабского философа Маликульмульк с водяными, воздушными и подземными духами девок по двадцати, а иногда и больше, сами просят меня, чтоб я нашла для них такого честного человека, который бы захотел взять их к себе и доставил бы им порядочную жизнь в свете. Мы ныне живем, благодаря просвещению, в таком веке, в котором оставили уже все глупые нежности и предрассудки. Те, которые злословят девок, живущих на содержании, и говорят об них худо, делают то единственно из зависти и из ревности; они сами очень охотно хотели бы быть на месте тех, которых осуждают. Поверь, радость моя, что было очень много девушек, гораздо лучшего перед тобою состояния, которым я доставила выгодные места; а ты не больше, как бедная золотошвейка, но так много уважаешь свою честию и упорствуешь последовать примеру других. Ты хочешь в себе показать более целомудрия, нежели графиня Ветрана, княжна Щепетихина и прочие. Ты с ума сходишь, душенька, в тебе нет ни малого рассудка. Мне надобно над тобою сжалиться и постараться привести тебя на истинный путь. Обещайся мне, что ты удержишь свое слово и сего же дня вечером поедешь со мною ужинать к г. Расточителю. Я тебе буду вместо матери, почитаю тебя истинным своим другом, который хочет сделать тебя благополучною. Ежели ты будешь во всем следовать моим советам, то я постараюсь, чтоб через два месяца было у тебя до тридцати великолепных платьев, дюжин по шести всякого белья, самого лучшего и тонкого, и несколько бриллиантов. Уверь только меня, что ты не будешь впредь так глупа и станешь во всем меня слушаться».

«Ах, госпожа Плутана, – ответствовала молодая девушка покрасневшись, – я сама вижу, что ты ни говоришь, для меня очень полезно; признаться, я чрезвычайно люблю наряды и для того желала бы пользоваться любовию г. Расточителя, но я все боюсь той страшной минуты, когда буду с ним наедине. Желала бы я, ежели бы то было можно, чтоб ты не отходила от меня ни на минуту».

«О! ежели только этого тебе хочется, – сказала старуха, – то я не отрицаю тебя удовольствовать. Г. Расточитель имеет ко мне совершенную доверенность, и мое присутствие нимало его не потревожит». – «Однако ж я прошу тебя, – говорила девица, – что ежели...» – «О! будь уверена, – перервала речь ее старуха, – что я тебе отвечаю за твою безопасность и надеюсь, что ты со временем за все то сама будешь меня благодарить, когда, следуя моим советам, увидишь себя живущую в роскоши и веселостях».

После сих слов старуха вышла из сада, и девушка за нею последовала в великом смущении; они обе сели в наемную карету и поехали в улицу... А я, мудрый и ученый Маликульмульк, опять поднялся на воздух, проклиная эту проклятую старуху, адскую фурию и сообщницу злых духов, которая старалась хитрыми своими словами склонить к потере добродетели бедную и целомудренную девку. Я желал от всего моего сердца, чтоб эта старая хрычовка, рано или поздно, получила достойное наказание за свои злодеяния и чтоб ее хорошенько выстегали прутьями и засадили бы на всю ее жизнь в смиренный дом.

Письмо VIII

От сильфа Световида к волшебнику Маликульмульку
О свойствах, отличающих человека от прочих творений; суждения о науках дворянина, живущего в деревне, в городе, служащего в военной службе и поверженного в роскошь и негу богача
Когда воображаю я, мудрый и ученый Маликульмульк, что человек ничем другим не отличается столько от прочих творений, как великостию своей души, приобретаемыми познаниями и употреблением в пользу тех дарований, коими небо его одарило; тогда, обратя взор мой на жилище смертных, с сожалением вижу, что поверхность обитаемого ими земного шара удручается множеством таких людей, коих бытие как для них самих, так и для общества совершенно бесполезно, и кои не только не вменяют в бесчестие слыть тунеядцами, но по странному некоему предубеждению почитают праздность, презрение наук и невежество наилучшими доказательствами превосходства человеческого.

Деревенский дворянин, который провождает всю свою жизнь, гоняясь целую неделю по полям с собаками, а по воскресным дням напиваясь пьян с приходским своим священником, почел бы обесчещенным благородство древней своей фамилии, если бы занялся когда чтением какой нравоучительной книги, ибо с великим трудом едва научился он разбирать и календарные знаки. Науки почитает он совсем несвойственным упражнением для людей благородных; главнейшее же их преимущество составляет в том, чтоб повторять часто с надменностию сии слова: мои деревни, мои крестьяне, мои собаки и прочее сему подобное. Он думает, что исполняет тогда

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами совершенно долг дворянина, когда, целый день гоняясь за зайцами, возвращается к вечеру домой и рассказывает с восторгом о тех неисповедимых чудесах, которые наделяли в тот день любимые его собаки: словом, ежедневное его упражнение состоит в том, что он пьет, ест, спит и ездит с собаками.

Дворянин, живущий в городе и следующий по стопам нынешних модных вертопрахов, не лучше рассуждает о науках: хотя и не презирает он их совершенно, однако ж почитает за вздорные и совсем за бесполезные познания. «Неужели, – говорит он, – должен я ломать голову, занимаясь сими глупостями, которые не принесут мне никакой прибыли? К чему полезна философия? Ни к чему более, как только что упражняющихся в оной глупцов претворяет в совершенных дураков. Разбогател ли хотя один ученый от своей учености? Наслаждается ли он лучшим здоровьем, нежели прочие? – Совсем нет! Ученые и философы таскаются иногда по миру; они подвержены многим болезням, по причине чрезмерного их прилежания; зарывшись в книги, провождают они целые дни безвыходно в своих кабинетах, и, наконец, после тяжелых трудов, живучи во всю свою жизнь в бедности, умирают таковыми же. Куда какое завидное состояние. Поистине, надобно сойтись с ума, чтоб им последовать. Пусть господа ученые насыщают желудки свои зелеными лаврами и утоляют жажду струями Иппокрены; что до меня касается, я не привык к их ученой пище. Стол, уставленный множеством блюд с хорошим кушаньем, и несколько бутылок бургонского вина несравненно для меня приятнее. Встав из-за стола, спешу я, как наискорее заняться другими веселостями: лечу на бал, иногда еду в театр, после в маскарад; и во всех сих местах пою; танцую, резвлюсь, кричу и всеми силами стараюсь, чтобы, ни о чем не помышляя, упражняться единственно в забавах».

Вот, премудрый Маликульмульк, каким образом рассуждают о науках большая часть дворян. Сколь достойны они сожаления! Если б сии ослепленные глупым предрассуждением тунеядцы могли когда почувствовать сие сладчайшее удовольствие, сие тайное восхищение, которое люди, упражняющиеся в науках, ощущают, то перестали бы взирать на них, как на несчастных, лишенных в жизни сей всякого утешения. Науки суть светила, просвещающие души: человек, объятый мраком невежества, во сто раз слепее того, который лишен зрения от самого своего рождения. Гомер хотя и не имел глаз, однако ж все видел: завеса, скрывающая от него вселенную, была пред ним открыта, и разум его проникнул даже во внутренность самого ада.

Если дворяне, праздно живущие в деревнях и следующие модам нынешнего света, будучи предубеждены в пользу своего невежества, мыслят столь низко и столь несвойственно с званием своим о науках, то и служащие в военной службе иногда подвержены бывают равному заблуждению. Жизнь сих людей, в мирное время, протекает в различных шалостях и совершенной праздности: биллиард, карты, пунш и волокитство за пригожими женщинами, – вот лучшее упражнение большей части офицеров. Ученый человек, в глазах их, не что иное, как дурак, поставляющий в том только свое благополучие, чтоб перебирать беспрестанно множество сшитых и склеенных лоскутков бумаги. «Какое удовольствие, – говорят они, – сидеть запершись одному в кабинете, как медведю в своей берлоге? Зрение наслаждается ли таким же удовольствием при рассматривании библиотеки, как и при воззрении на прелести пригожей женщины? Вкус может ли равно удовольствован быть чтением книг, как шампанским и бургонским вином? Осязание бумаги с такою ли приятностию поражает наши чувства, как прикосновение к нежной руке какой красавицы? Слух равное ли ощущает удовольствие от звука ударяющихся математических инструментов, как от приятного согласия оперного оркестра? Чернила и песок такое же ли испускают благовоние, как душистая наша пудра и помада? Какую скучную жизнь провождают ученые! Возможно ли, чтобы человек, для приобретения совсем бесполезных в общежитии знаний, жертвовал для них своим покоем и веселостями».

Так рассуждает пустоголовый офицер, превозносящийся своим невежеством. Равным образом и сластолюбивый богач, пользуясь оставшимся после отца награбленным имением и получая пятнадцать тысяч рублей ежегодного дохода, нимало не помышляет о науках. Роскошь и нега в такое привели его расслабление, что потерял он почти совсем привычку действовать не только разумом, но и своими членами. Препроводя во сне большую часть дня, едва лишь только откроет он глаза, то входят к нему в спальню три или четыре камердинера, кои, вытащив его из пуховиков, составляющих некоторый род гробницы, где ежедневно на двенадцать часов он сам себя погребает, обувают его, одевают и, наконец, сажают в большие кресла, на которых дожидается он спокойно обеденного времени. За столом просиживает он три или четыре часа и наполняет свой желудок тридцатью различными ествами, над приготовлением которых трудились во все утро пять или шесть поваров. После обеда садится он опять на

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулькка с водяными, воздушными и подземными духа
прежнее место, где засыплет или забавляется рассказами нескольких блюдолизоз, привлеченных в его дом приятным запахом его кухни. Потом подвозят ему великолепный экипаж; два лакея, подхватив под руки, сажают его в карету, с такой же трудностью, как бы несколько сильных извозчиков накладывали на телегу мраморную статую. В сем положении ездит он по городу до самого ужина: свежий воздух возобновляет в нем охоту к пище, и движение кареты способствует его желудку варить пищу, коею он во время обеда чрез меру был отягощен. Возвратясь домой, находит он у себя великолепный стол, и, просидев за оным до полуночи, ложится опять спать. – Вот точное описание повседневных упражнений роскошного сластолюбца. Итак, если во всю свою жизнь ничего он более не делал, как только спал или, подобно расслабленному, пребывал в бездействии, то можно ли будет сказать после его смерти, что он когда-нибудь жил на свете? Бесконечно бы было, мудрый и ученый Маликульмульк, если б начал я исчислять слабости или, яснее сказать, дурачества некоторой части земных обитателей; а скажу только, что глупое их против наук предубеждение заставляет меня думать, что на земле столь же мало людей, которые бы прямо могли называться людьми, сколь не много сыщется беспристрастных судей и некорыстолюбивых секретарей.

Письмо IX

От гнома Зора к волшебнику Маликульмульку
О успехе покупок модных нарядов; о знакомстве его с г. Припрыжким; о качествах и дарованиях оного; о участии ученых; о достоинствах французского парикмахера; о удивительном его знании политических дел; о маскарде; замечания на оный; случившиеся в нем происшествия с старою госпожею, с игроком и Припрыжким Кто бы поверил, любезный Маликульмульк, что должность, возложенная на меня Прозерпиною, есть самая трудная из всех должностей! Я мучусь, как Тантал, и что еще страшнее, то опасаюсь, чтоб и мое мучение не было бы так же бесконечно, как и его. Уже несколько дней тому, как надеялся я по обещанию Ветродума сделать знакомство с его теткою, но, не видя и самого его по сие время, принялся было закупать наряды. Всякий день в великом множестве покупаю их по последней моде, завертываю и укладываю, но лишь хочу оные отправить, как вдруг услышу, что вышли вновь уборы самого лучшего вкуса и последней моды.

«А те уборы, – спрашиваю я, – которые вчера столь много превозносили?»

«О! Ничто не может быть их глупее! – отвечают мне. – Благоразумная женщина нынешнего света лучше согласится десять раз в день убрать модным образом голову своего мужа, нежели остыдить себя, показавшись в общество во вчерашнем уборе!»

После такой прекрасной ведомости я с досадою кидаю свою посылку и набираю множество новых нарядов, которые на другой день так же становятся негодны, а я остаюсь в отчаянии исполнить желание Прозерпины.

В таких-то хлопотах вздумал я загладить свою скуку каким-нибудь веселым препровождением времени, которое бы подало мне лучший способ узнать нравы и обычаи сего государства. Я хотел для сего читать их книги, но во многих писателях нашел или пристрастных льстецов, сокрывающих пороки своих одноземцев, или гнусных сатириков, которые ругают свое отечество без всякой другой причины, как только чтобы показать остроу своего пера; а потому я оставил сие упражнение и решился не в кабинете своем и не по нраву своего трактирщика судить об общем нраве всего государства, но захотел для сего вмешаться сам в общество, чтоб иметь о нем лучшее понятие, и для того выбрал я себе в проводники одного молодого и знатного человека, с которым надежен я иметь вход во многие дома. Ты, может быть, подумаешь, что проводник мой преважная особа? Нет, друг мой! Это молодой повеса, препровождающий всю свою жизнь в шалостях, которыми утешает он своих родителей, пленяет женщин, разоряет легковверных заимодателей, изнуряет себя, отчего часто бывает болен и тем хвалится, как заслуженный воин своими ранами. Ему хотя не более двадцати лет, однако он успел уже более тридцати смуглых женщин сделать столь белыми, как хлопчатая бумага; надобно тебе знать, любезный Маликульмульк, что белый цвет здесь в превеликой моде и что все молодые люди сего города с великою жадностию его себе приобретают; и в короткое время надеяться должно, что сей белый цвет делается здесь природным или наследственным, ибо более нежели две трети из жителей сего города успели уже по сие время записать себя в число сих белолицых. Но, оставя это, возвратимся к моему проводнику.

С такими-то хорошими качествами во многих знатных домах его уважают и удивляются

и критическая переписка арабского философа Маликульмульк с водяными, воздушными и подземными духами; его разуму, учености и дарованиям; часто ничего незначащее приветствие, сказанное им, почитают за острое слово, и если он улыбается, то зачитают все хохотать во все горло, ожидая с терпеливостью, когда он откроет причину своей улыбки, если ж кто с подобострастием спросит у него о причине оной, и когда господни сей ответствует «так!», тогда начинают удивляться премудрой его молчаливости, а вместо его приходит в замешательство и краснеет сделавший ему вопрос. Припрыжкин, это имя моего знакомца, имеет отменное велеречие; он часто рассказывает то часа по три, что другой на его месте сказал бы в двух словах, ибо он имеет отличное дарование убивать свое время: поутру занят он зеркалом, потом несколько часов занимается столом, после чего развозит вести по городу, а остающееся от сего время играет в карты, предается чувственным забавам, ужинает и ложится опять спать, чтобы на другой день по обыкновению своему встать около полудни и препроводить в таких же упражнениях весь день, в каких препроводил прошедший. Вот, любезный Маликульмульк, важнейшие его дела, от которых, однако ж, не остается ему и столько времени, чтобы мог он вспомнить, что он живет на свете.

Я уже наперед воображаю, что ты или станешь меня бранить за такое худое товарищество, или подумаешь, что в сем городе нет ни одной путной головы; напротив того, ученый Маликульмульк, здешняя земля в произведении хороших умов есть самая обильная, и я могу тебе начесть в сем одном городе человек десятков очень неглупых людей. Но участь оных почти одинакова во всем свете. Мне случались видать и самых знатнейших домах портреты ученых людей, хотя те самые ученые совсем не имели входу и в их прихожие. Здесь в большом свете почитается за невежество, чтоб не знать по названию вновь выходящих творений или чтоб не знать имен современных писателей, но чтоб читать те сочинения, то считается за потерю времени, а чтоб иметь знакомство с авторами, то почитается подлостью, ибо в сих случаях сравниваются они с ремесленниками, которые, однако ж, несравненно более выигрывают в своей жизни, нежели ученые.

Я уже сказал тебе, любезный Маликульмульк, что надобны деньги, чтоб иметь хорошее знакомство, а ученые вообще почти все бедны; притом же тебе известно, сколь давно они в побранке с фортуною, которая смотрит на их сатиры и брани точно так, как рослый драгун на бреханье маленькой постельной собачки, и для того почти всегда

фортуна жалует рассудку вопреки,
чтоб были счастливей разумных дураки.

Вот тебе и стихи, любезный Маликульмульк, ожидал ли ты когда от меня оных; извини, однако ж, я теперь в таком городе, где эта язва во всей своей силе свирепствует, а каким образом я сделался стихотворцем, о том я тебе расскажу в свое время, но между тем я должен возвратиться к своей повести.

Молодой Припрыжкин, как новоприезжему, желая показать редкости сего города, возил меня в лучшие аглинские магазины и во французские модные лавки, где, наряду с прочими такими же ветрениками, каков он, платил за дурачества тяжелые подати иностранцам, покупая двухрублевую вещь за десять и за двадцать рублей. Он доставлял мне редкие товары и одевал меня по вкусу искусных торговков.

«Любезный друг, – сказал он мне вчера: – ты еще ничего лучшего здесь не видал, если не видал наших маскараров; сегодня я тебе покажу подлинно стоящее любопытства зрелище, соответствующее великолепию сего обширного города».

«Я согласен, – сказал я, – и теперь же начну для того одеваться».

«Оставь, пожалуй, это на мое попечение, – отвечал он, – ты оденешься под моим смотрением, как первый щеголь; я теперь еду к себе и через минуту пришлю к тебе француза, первого парикмахера в сем городе; но как ты еще человек без опытов в большом свете, то нужно, чтоб я сделал тебе одно замечание: пожалуй, обходишься с ним как можно поучтивее; правда, хотя он ремеслом и парикмахер, но он француз, притом же и превеликий богач, имеющий тысяч до девяти в год доходу, а у нас не всякий и заслуженный генерал столько имеет; прибавь к тому, что многие знатные люди почитают за удовольствие быть вписанными в алфавитную роспись счетной его книги, по которой можно заподлинно видеть, сколько он честен; хотя некоторые и говорят, что сей парикмахер грабит, обирает и обманывает людей, но тем, однако ж, он не менее славен, почему и должно иметь к нему некоторое уважение, особенно зато, что он благодетельствует молодым людям, давая им в долг разные

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами галантерейные вещи, которые потом променивают они, с уступкою трех долей, на наличные деньги; иногда же ссужает он и наличного монетою, разумеется, что под порядочный заклад и с получением умеренных процентов, но лучшее и главнейшее его достоинство состоит в том, что он помогает нам в наших любовных интригах. Представь же, если столь полезный человек будет раздражен гордостью простого приезжего дворянина и оставит сей город, то тем заставишь ты осиротеть всех наших молодых щеголей, и наши головы потеряют без него три четверти своих дарований!»

Я обещал молодому Припрыжину всевозможное уважение к его французскому парикмахеру, и из почтения к оному, конечно бы, не сел в его присутствии, если бы искусство его того не требовало. Потом он вышел, и полчаса спустя вошел ко мне ожидаемый француз: прибор его соответствовал чистоте его ремесла, а его лицо изображало важность, приличествующую глубокомысленному министру; и сколько наружность доказывала его состояние, столько поступка опровергали сии доказательства. Мне казалось, что я видел в нем знатнейшего придворного, переодетого в парикмахерское платье.

«Пожалуйте, сударь, уберите мою голову», – сказал я сему почтенному искуснику (приметь, любезный Маликульмульк, хорошо ли я играю лицо новоступающего в свет деревенского дворянина), потом сел я без всякой заботы и отдал на его попечение свою голову, ожидая ее перерождения под его гребенкою.

Скорее всего можно познакомиться с французом: в нем нет ни гордости, свойственной гишпанцам, ни врожденной немцам угрюмости, ниже той подозрительной улыбки, которая в поступках сопровождает всегда италийцев; кажется, природа одарила его столь выгодною наружностью, под коею должна храниться истинная добродетель и честнейшая в свете душа, но, напротив того... Однако ж оставим это, я не хочу никого вооружать против себя, и если мало могу сказать доброго о французах, так, право, это самому мне досадно. Что касается до сего парикмахера, то признаюсь, что он показался мне знающим во всех частях: едва успел он взять в руки свои гребенку, как заговорил о политике. Он перебирал правительства разных народов, делал заключения, давал решения и с такой же легкостью вертел государствами, как пудреною кистью. Вся министерия была ему открыта, и когда дело доходило до утверждения каких-нибудь из его решений, тогда сей незастенчивый человек, нимало не краснея, говорил, что с таким и таким его мнением согласен такой-то министр, такой-то сенатор и такой-то генерал, которым он чешет головы. Он уверял о себе бесстыдным образом, что многие вельможи, производя при нем ежедневно сокровеннейшие дела государства, нередко советуется с ним о важнейших пунктах министерии и часто делают свои решения по его мнениям; но сколько для меня ни странен свет, однако ж со всем тем я за грех почитаю верить, чтоб здешние министры управлялись французскими парикмахерами. Напоследок кончилась чёска моей головы, с коею кончились и политические разговоры; а все это стоило мне пяти рублей, после чего мы откланялись друг другу с великою учтивостию.

Вскоре потом прибыл ко мне г. Припрыжкин, и я, под его руководством одевшись, поехал с ним в то собрание, которое он перевозносил столько похвалами. Мы остановились у большого освещенного дома, где, вышед из своей кареты, вошли в комнаты, которые наполнены были разного звания и состояния великим множеством людей, имевших на себе странные одежды, составленные большею частию из некоторого рода лоскутков, а лица их покрыты были безобразными личинами, в коих многие казались страшилищами, похожими на тех злобных жителей Тартара, которые адским судом определены для истязания человеческих теней, заслуживающих оное. Я не знаю, для того ли они наряжаются таким образом, чтоб показать себя в настоящем своем виде по расположению своих душ, сходствующих, может быть, с тою приемлемою ими безобразностию; или что они любят быть неузнаваемыми и казаться всегда в другом виде, нежели каковы они есть в самом деле. Если сие замечание справедливо, то можно сказать, что весь свет наполнен чудовищами, или что сей свет есть не что иное, как обширное здание, в котором собрано великое множество маскированных людей, из коих, может быть, большая часть, под наружною личиною, в сердцах своих носят обман, злобу и вероломство; но оставим такие замечания, для самого меня неприятные, о истине которых ты сам по прочтении моего письма, может быть, удостоверись, и возвратимся к моей повести.

Не успели мы войти в комнаты, как Припрыжкин, сказав мне, где и как со мной сойтись, скрылся от меня, как молния; а я, оставшись один, начал прохаживаться по обширным залам, в коих, несмотря на безобразные личины людей, веселие и

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами. Радость повсюду были ощущаемы, и вольность казалась быть душою всего маскированного собрания, так что сие привело меня в несказанное удивление; мне представилось тогда, что люди не иначе умеют пользоваться своею свободою и удовольствиями, как прикрывая себя такими личинами. Едва кончил я сие замечание, как вдруг услышал шум в ближней комнате. Я бросился узнать тому причину, но уже действующие лица были уведены, и оттуда возвращалась толпа молодых людей, которые хохотали во все горло.

«Позвольте спросить, – сказал я первому встретившемуся мне, – что было причиною сего шума».

Ничего, сударь, – отвечал он, – это сушая безделица, – это небольшая шутка, которую я сделал с моею теткою: добренькая старушка была смертельно влюблена в моего егеря, но, по несчастью, имеет она ревнивого мужа, который не допускает ее до таких малозначущих вольностей. Приметя любовь ее, я выдумал способ получить посредством оной деньги и уговорил своего егеря, чтобы он старался иметь с нею здесь свидание. Благосклонная тетушка, согласно, на его предложение, свела здесь с мужем своим свою приятельницу, одетую в одинаковое с нею платье, сама между тем ускользнула с своим Адонисом; тогда не медля подослал я своего друга, который в сих местах надзирателем благопристойности, а он, схватя наших любовников, отвел их под арест».

«Ах! – вскричал я, – и вы имели удовольствие так бесчеловечно шутить с вашею тетущею».

«Какой вздор! – отвечала мне маска, – я хочу только иметь деньги: тетка моя хотя очень скупа, но верно за выкуп свой и любезного егеря заплатит хорошие деньги, которые я, разделя с Надзором, смотрителем здешней благопристойности, – получу верный способ блеснуть хорошими нарядами или видеть в новом экипаже мою любезную Антилуkreцию».

После сего он скрылся и оставил меня удивляться пронырству своего ума и слабости его тетушки.

Позадумавшись несколько, пошел я вперед, как вдруг ударился лоб об лоб с отчаянным человеком, который, сорвав с себя маску, бегал по комнатам, как бешеный.

«Государь мой! – сказал я, – мне думается, что в таких пространных залах можно ходить, не стучась лбами; в противном случае это собрание может только быть выгодно одним рогатым лбам».

«Ах! сударь, – отвечал мне сей господин, – извините мой проступок; отчаяние мое причиною сей неосторожности: я обманут самым гнусным образом».

«Как, – сказал я, – в здешнем благородном обществе могут быть обманщики...»

«Ах! я вижу, – вскричал он, – что и вы человек новоприезжий. Признаюсь, что я сам был лучшего мнения о сих собраниях, докуда несчастным опытом не узнал своей ошибки. Отец мой был богатый дворянин, он недавно умер, а я со всеми его деньгами приехал сюда из отдаленного города, чтоб вступить в службу. Игра, пагубная страсть молодых людей, не умедлила овладеть мною; я вошел в число бродяг, которые, гоняясь за счастьем, лишаются пропитания. Несколько раз испытал несчастье проигрыша, наконец, собрав последние свои деньги и приехавши в сей проклятый дом, сделал банк в макао; незнакомая маска села подле меня и просила принять ее в десятую долю; видя деньги, 1000 рублей, я согласился сделать это удовольствие и начал метать карты. Множество незнакомых людей зачали понтировать, но я заметил, что многие брали у меня деньги, не ставя карт, а другие сдергивали свои карты, когда они проигрывали, а скрывались в толпе людей. Раздраженный таким гнусным обманом, бросил я карты и хотел рассчитаться с моим товарищем, который записывал мой проигрыш и выигрыш, как вдруг увидел, что ни денег, ни его со мною нет. Вообразите мое удивление и горесть, быв не только что обокраден, но и лишен надежды узнать и наказать этого бездельника»

«Я сердечно сожалею о вашем несчастье, – отвечал я, – и дивлюсь, что в подобные общества пускаются такие плуты; я до сих пор думал, что ворами опасны только большие дороги».

и критическая переписка арабского философа Маликульмульк с водяными, воздушными и подземными духа
«Ах! государь мой, – вскричал сей несчастный игрок, – благодаря правительству сии бездельники все согнаны с больших дорог, но, по несчастию, они умножились в городах, и города ныне гораздо опаснее, нежели большие дороги». – После чего пошел он от меня, продолжая свои восклицания.

«Вот сколь прекрасны сии собрания, – думал я сам в себе, – которые столь торжественно выхвалял мне Припрыжкин и кои способствуют только обманывать мужей, грабить ближнего и делать дурачества!» Скажи мне на сие, любезный Маликульмульк, не справедливы ли давишные мои замечания, по коим можно видеть, что люди для того единственно выдумали сии собрания, чтоб, ходя под гнусными личинами, удобнее могли производить без зазрения совести безумное свое своеволие, и что сии маскарады есть картина света, представленная в малом виде? Но если ты захочешь сравнить оную с ее подлинником, то она не иначе почесться может, как слабым сколком... Но закрою сие завесою. – Я скажу тебе однако ж, что сколь веселие, радость и свобода ни кажутся дутой таковых собраний, но я твердое положил намерение никогда вперед не заглядывать в такие места. Вскоре потом встретился мне Припрыжкин, и мы с ним выехали из маскарада.

«Сии-то собрания, – сказал я ему тогда, – так тебе нравятся!..»

«Ах, нет! – вскричал он, – я сегодня очень худо награжден».

Как, и ты не доволен? – перехватил я речь его. – Но что ж этому причиною?»

«Представь мое несчастье, – сказал он, – посредством давишнего парикмахера назначено мне было от одной прекрасной девушки здесь свидание, чему я охотно поверил, зная, что ничего нет легче в здешних маскарадах, как дочке отвязаться от матушки, которая часто сама только того и метит, чтоб увернуться от дочки. Приехавши сюда, увидел я мою красавицу, ходящую уже одное в белом капучине; я с нежностью схватил и пожал ее руку, она мне отвечала тем же: это был наш условный знак; при таком взаимном согласии нам скучными показались все залы, и мы шли в уединение; наконец вошли в отдаленную комнату, но, опасаясь, чтоб кто не подслушал наших речей, я делал ей любовные изъяснения пантомимами, и мы до тех пор оные продолжали, как, наконец, вынуждена она была сбросить маску. – Но в какое пришел я удивление, когда вместо воображаемой красавицы увидел старую мумию лет во сто; с досадою и страхом бросился я от нее, как от мертвеца, и, тысячу раз проклиная ее, жалел, что потерял с старою хрычовкою то время, которое назначено было для прелестной молодой особы. – Вот чем только не нравятся мне сии проклятые маскарады!»

«Но неужели женщинам они приятны?» – сказал я.

«О! это совсем другое, – отвечивал Припрыжкин: – женщина может весьма великодушно снести несколько таких ошибок, но молодой щеголь не всегда с успехом может загладить такую погрешность».

Вот тебе, любезный Маликульмульк, краткое начертание предметов, попавшихся мне на глаза, и я надеюсь вскоре еще уведомить тебя о новых людских дурачествах.

Письмо X

От сильфа Световида к волшебнику Маликульмульку

О удивительном сходстве чувств, склонностей и поступок петиметра и обезьяны
До сих пор я всегда удивлялся мнениям тех философов, которые душу человеческую уподобляли жизненным силам скотов, но я не знаю, любезный Маликульмульк, случалось ли тебе видать смешные поступки тех господчиков, которых в свете называют людьми, любви достойными, веселыми и знающими светское обращение; взирая на них, ты сам мог бы иметь справедливую причину почесть их в равной степени с обезьянами, и я удивляюсь, что те философы, для лучшего убеждения в своих мнениях, не объяснили, что они говорили то, сравнивая петиметра с обезьяною, ибо надлежит признаться, что, взирая на петиметра и на обезьяну, можно подумать, что или душа обезьяны духовна, или душа петиметра вещественна, потому что, по примечанию моему, обе сии души имеют одинакие между собою свойства, одинакие движения и одинакие страсти, а посему должны иметь и одинакую сущность и быть равно или вещественны, или духовны. Итак, ежели полагать, что душа петиметра есть духовна, то надобно думать, что и душа обезьяны есть такова же. После сего первого предложения остается теперь доказать сходственность мыслей, чувств и склонностей между обезьяною и петиметром; и нет ничего легче,

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами как сделать сие доказательство. Я поставляю себя на одну минуту на место философа, утверждающего сие мнение.

«Не правда ли, – вопрошаю я, – что не должно и не можно иначе судить о естестве души, как по видимым в ней действиям и движениям, ибо существенность ее не может быть видима никакими глазами. Итак, посмотрим, какие суть действия и движения души петиметра? – Она, управляя телом, в котором имеет свое пребывание, иногда заставляет его свистать, иногда понуждает его танцевать, прыгать, скакать, вертеться, и все сие заставляет делать без всякой побудительной причины и столь поспешно, что всякий может приметить, что разум и рассудок нимало не вмешивается в сии прыжки и обороты. Подобно сему я вижу и обезьян скачущих, прыгающих и вертящихся, и когда рассматриваю внимательно все сии их движения, то нахожу точное подобие разных кривляний и приисков молодого вертопраха, находящегося среди женщин».

Но поступим далее с сим точным и справедливым сравнением. Когда обезьяна смотрится в зеркало, тогда, прельщаясь собою, удвоивает она смешные свои коверкания, оказывает всю свою легкость в вертении и прыганий, ворчит сквозь зубы нечто совсем невразумительное, чего бы и подобная ей другая обезьяна никак не могла понять. Петиметр точно так же, взирая на себя в большое стенное зеркало, представляет те ж самые движения и обороты; он всего вокруг себя осматривает, множество раз на все стороны поворачивается, поднимает и опускает голову, коверкается, кривляется, ломается; говорит не имеющие смысла некоторые невразумительные слова, которые никому другому не могут быть понятны, как разве такому же петиметру, ибо он говорит о прическе своих волос, о курчавости своего вержета, о размере своих буклей, о ленточном бантике и о прочем подобном сему вздоре. Итак, в ком можно найти столь совершеннейшее сходство?

Обезьяна обыкновенно бывает непостоянна, изменчива и злобна; она кусает и раздирает платья на тех людях, кои, засмотревшись на ее скачки и кривлянья, по неосторожности подходят к ней очень близко. Петиметр делает точно то же: забавные и увеселительные зрелища, которые он смешными своими кривляньями представляет другим людям, покупаются от оных весьма дорогою ценою, ибо, вышед из дома, в котором оказывал он все свое искусство в модных прыжках и оборотах, повреждает он честь тех людей, коих он видел, и злословит хозяина и хозяйку того дома. – Словом, ничто не может укрыться от его ядовитого языка, который, если не больше, то по крайней мере столько же может быть опасен, сколько и зубы самой злейшей обезьяны.

После столь ясного сравнения, в чувствах, в поступках и в склонностях, не можно ли по справедливости заключить, что души обезьяны и петиметра суть одинакой сущности? – Признаться, мудрый и ученый Маликульмульк, что я почти убежден сим мнением. Я знаю, что в оном встречается превеликое затруднение, ибо, следуя оному, надлежит признать душу петиметра вещественною, потому что душу обезьяны никак не можно почесть духовною. Итак, взирая на таковые странные и смешные поступки петиметров, не иначе можно их почитать, как совершенными ветряными мельницами или часами, заведенными глупостию и вертопрашеством. Наконец, нет ничего легче, как доказать самыми истинными опытами, что душа разумного и постоянного человека совсем другого свойства, нежели как душа петиметра, ибо известно тебе, мудрый Маликульмульк, что не можно полагать нимало сходства между душою такого философа, каков был Эйлер, и между душою обезьяны, заключенной в теле модного вертопраха.

Письмо XI

От гнома Зора к волшебнику Маликульмульку
О именинном столе у купца Плутареца – разговоры: о свойствах его жены, служивших к его обогащению; о судейской жене; о силах почтенных господ в доставлении счастья в свете; предложения о вступлении в службу сыну Плутарезову; мнение придворного о блеске, достоинствах и о службе придворных; мнение Рубакина о выгодах военнослужащих; мнение Тихокрадово о преимуществах статской службы; мнение Трудолюбова о участи художников и пр.
На сих днях, любезный Маликульмульк, я был с моим сотоварищем у одного богатого купца, который праздновал свои именины; ты, может быть, удивишься, что столь знатный, в своем роде, человек, каков мой приятель, удостоил своим посещением торговца, но это удивление уменьшится, когда ты узнаешь, что он должен имениннику по векселям шестьдесят тысяч рублей и для того часто пляшет по его дудке.

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духа

Здесьние заимодатели, имеющие знатных должников, имеют по большей части то одно утешение, что пользуются вольностию напиваться иногда с ними допьяна и вместо платежа денег получают от них учтивые поклоны и уверения о непрременном их покровительстве.

Именинник, как видно, был великий хлебосол; он имел у себя за столом немало гостей, между коими занимали первое место один вельможа, человека три позолоченных придворных и несколько начальников сего города, да из числа известных мне по своим именам, о которых я нарочно наведалься, чтоб мог тебе обстоятельнее пересказать о любопытном их разговоре, были г. Припрыжкин, Рубакин, драгунский капитан, Тихокрадов, судья, и художник Трудолюбов; я, как ты можешь себе представить, был также не из последних и сидел подле хозяйского сына, мальчика прелюбезного, лет четырнадцати, который был доброю надеждою и утешением в старости своего отца.

Стол был великолепен, и Плутарез (так назывался именинник) кормил всех очень обильно; веселие в обществе нашем умножалось с приумножением вина; разговоры были о разных предметах, и попеременно говорили о политике, о коммерции, о разных родах плутовства и о прочем. – Вельможа, одетый с ног до головы во французский глаzet и убранный по последней парижской моде, защищал пользы отечества и выхвалял любовь к оному; судья ставил честь выше всего на свете; купец хвалил некорыстолюбие, но все вообще согласны были в том, что законы очень строго наказывают плутов и что надобно уменьшить их жестокость. Вельможа обещал подать голос, чтобы уничтожить увечные и смертные наказания, исполняемые за грабительство и за плутовства для их искоренения, за что многие из гостей, а более всего судья Тихокрадов и наш хозяин Плутарез, очень его благодарили, и хотя сей вельможа, как я слышал, ежедневно делает новые обещания, однако ж старых никогда не исполняет, но гости не менее были и тем довольны, что остались в надежде, для которой нередко просители посещают прихожие знатных особ.

Но как в столь большом собрании разговоры не могли быть одного содержания, то, наконец, речь зашла о хозяйском сыне. «У тебя прелюбезный дитя, – сказал Рубакин Плутарезу, – и он может со временем быть тебе утешением, но записан ли он где и который ему год?»

«Тринадцатый, ваше высокоблагородие», – отвечал хозяин.

«Неправда, – сказал Рубакин, – ему точно четырнадцатый, и я очень помню, что он родился тогда, когда ты был еще у нас маркитантом, в чем и сама покойница твоя жена была бы со мной согласна».

«Сомневаюсь, – отвечал хозяин, – моя жена, не тем будь помянута, была превеликая спорщица».

«Разве с тобою, – сказал Рубакин, – но что касается до нас, то я уверяю тебя, что ни один наш офицер не скажет, чтоб она с кем-нибудь из них споривала; и мы во всем столько были ею довольны, что когда ты от нас поехал, то вообще все более жалели об ней, нежели о тебе; итак, спорщицей назвать ее ты не можешь. Я думаю, что ты и сам помнишь, как любили ее в полку, и что она не одною ротою ворочала. Правду, сказать, если б ты не сделал дурачества и не уехал тогда от нас, то я бы голову свою дал тебе порукою, что твой Вася (имя хозяйского сына) о сю пору был бы уже адъютантом. Ведь ты помнишь, как полковник наш жаловал покойницу твою Борисовну и как ты по милости ее был им покровительствован, так что ты, без всякого опасения, месяца по два сряду довольствовал весь полк протухлою и негодною пищею, а все с рук сходило; и можно сказать, что это нежитье тебе было, а масленица: ты сам, думаю, признаешься, что тогда ты густо понабил свой карман».

«То правда, ваше высокоблагородие, однако ж вы уже весьма много возвеличили мою покойницу, приписывая ей такую в полку власть; иной из этого и невесть что подумает: ведь злых людей в свете много, – мало ли что и в полку тогда об ней говорили, а оттого и полковница и наши офицерши ее терпеть не могли, но все поистине понапрасну: виновата ли она была, что всегда, когда ни случалось ей хаживать к ним на поклон, заставляла дома одних только их мужей, а они случались или у обедни, или где и в другом месте, но как, бывало, к кому ни взойдет, то хотя жены и дома нет, так муж без того уже не выпустит, чтобы чем-нибудь не попотчевать, потому что она, покойница, и сама была гостеприимна...»

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духа

«Мудрено ли, братец, – сказал толстый судья, – что твоя жена была в такой силе; я сам человек женатый и могу не менее похвалиться своею женою, которая, несмотря на то, что я был еще копиистом, но и тогда имела уже множество челобитчиков и давала часто решения на важные дела, которые едва вверяли мне набело переписывать; а вся сила состояла в том, что она хорошо стряпала кушанья для нашего судьи и понаслышке знала несколько законов, почему казалась весьма знающею; и в ней столько наш судья был уверен, что по ее словам, как по Уложению, вершил челобитчиковы дела; в чем, право, не всякой и знатной женщины послушают».

«Morb!eu! – сказала сидевшая подле меня кукла в золотом кафтане, – и эта мелочь хочет ровнять своих жен с знатными господами. J'engage! Клянусь, что если б захотел я в отместие употребить силу моей тетушки, то бы завтра же улетели к чорту этот маркитант, судья с своею женой и со всею своею челядью. – Можно ль только иметь терпение слушать такие импертинансы! И как сметь сравнивать силу подлых своих жен с силами почтенных дам, которых могущество доказать может тысячей счастливых, которые по их милости делают фигуру в большом свете и которые прежде того ничего в оном не значили. – Я, сударь! я сам, – сказал он, оборотись ко мне, – есть неоспоримое доказательство силы своей тетушки. Представьте, нет еще года, как я сюда приехал из деревни. Быв благородным и молодым человеком, вы можете угадать, что я за нужное почел, чтоб пользоваться порядочным экипажем, достать себе чин, не вступая в службу, которая сопряжена со многими трудностями, предоставленными для бедных токмо дворян. Но как вам покажется? Не прошло еще и десяти месяцев по моем приезде, а я начал уже повелевать четверкою лошадей, не имея никакого понятия о службе, кроме того, что она не может быть для меня приятна, потому что моему дяде, служившему капитаном, на прошедшем сражении прострелена голова, и он лишился жизни, с которою я нимало не имею желанья так скоро расстаться».

«Но, скажи мне, – спрашивал один из придворных хозяина, – для чего оставляешь ты сына твоего в праздности? Он уже в таких летах, что может вступить в службу или по крайней мере считаться в оной».

«Милостивый государь, – отвечал Плутарез: – это правда, что Вася уже на возрасте, и я не намерен, всеконечно, оставлять его без дела, но я еще не избрал род службы, в которую бы его определить».

«Друг мой, – сказал придворный: – оставь это на мое попечение, ты можешь быть уверен о моей к тебе благосклонности, имея явное доказательство, что из дружбы к тебе я не совещусь занимать у тебя деньги и быть должным оными, а потому не можешь сомневаться о моем участии, какое приемлю я в счастье твоего сына. Дело состоит только в том, чтоб ты дал двадцать тысяч в мои руки, которые употреблю я в его пользу: помещу имя его в список отборного военного корпуса; сделаю его дворянином и потом пристрою его ко двору; словом, я поставлю его на такой ноге, чтоб он со временем мог поравняться с лучшими, делающими фигуру в большом свете. Сколь же такое состояние блистательно, ты сам оное знаешь, и надобно только иметь глаза, чтоб видеть нас во всем нашем великолепии, на усовершение которого портные, бриллиантники, галантерейщики и многие другие художники истощают все знание и искусство, чтобы тем показать цену наших достоинств и дарований... Богатые одежды, сшитые по последнему вкусу, прическа волос, пристойная сановитость, важность и уклончивость, соразмерные времени, месту и случаю; возвышение и понижение голоса в произношении говоримых слов; выступка, ужимки, телодвижения и обороты отличают нас в наших заслугах и составляют нашу службу. – Грамоты предков наших явно всем доказывают, что кровь, протекающая в наших жилах, издавна преисполнена была усердием к пользе своего отечества, а наши ливреи и экипажи не ложно доказывают о важности наших чинов в государстве. Какое же состояние может быть завиднее и спокойнее нашего? – Правда, что философы почитают нас мучениками, однако ж то несправедливо, а зато и мы считаем их безумцами, пустою тенью услаждающими горестную и бедную свою жизнь. Итак, друг любезный, что тебе стоит двадцать тысяч? Не сушая ли это безделка в сравнении с тем счастьем твоего сына, которое я сильнейшим своим предстательством обещаю ему доставить, а знакомые мои, танцмейстер, актер, портной и парикмахер, чрез короткое время пособят мне сделать из твоего сына блистательную особу в большом свете».

«Как сударь, – вскричал Рубакин, – вы называете блистательным то состояние в большом свете, в котором люди за свои достоинства обязаны некоторым искусникам?»

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духа

Но из вашего мнения можно действительно доказать, что те самые искусники несравненно должны быть знатнее тех своих кукол, которых они украшая, дают цену их достоинству и... но что об этом много говорить! Нет, любезный Плутарез, если ты хочешь, чтоб сын твой был полезнее своему отечеству, то я советую тебе записать его в военную службу. Вообрази себе, какое это прекрасное состояние, которое, можно по справедливости сказать, есть первейшее в свете, потому что не подвержено никаким строгостям, ниже каким опасностям, сопряженным с придворною жизнью. – Военному человеку нет ничего непозволенного: он пьет для того, чтоб быть храбрым; переменяет любовниц, чтобы не быть, ничьим пленником; играет для того, чтобы привыкнуть к непостоянству счастья, толь сродному на войне; обманывает, чтобы приучить свой дух к военным хитростям; а притом и участь его ему совершенно известна, ибо состоит только в двух словах: чтоб убивать своего неприятеля или быть самому от одного убиту. Где он бьет, то там нет для него ничего священного, потому что он должен заставлять себя бояться; если же его бьют, то ему стоит оборотить спину и иметь хорошую лошадь; словом, военному человеку нужен больше лоб, нежели мозг, а иногда больше нужны ноги, нежели руки, и я состарелся уже в службе, но всегда был того мнения, что солдату не годится умничать. Итак, ты ничего умнее не сделаешь, как если запишешь своего сына в наш полк; ты же человек богатый, почему можешь сделать ему хорошее счастье: деньги только нужны, а прочее я беру на себя и уверяю тебя, что твой сын сам будет тем доволен».

«Государь мой, – сказал, улыбаясь, Тихокрадов: – вы с таким жаром говорите о своем звании, что слушатели могут подумать, будто статское состояние и в подметки вашему не годится, хотя, не распложая пустых слов, я могу коротко сказать, что, служа в сем состоянии, обязан я оному знатным доходом, состоящим из десяти тысяч; вступая же в оное, не имел я ни полушки; итак, сие одно довольно могло бы доказать, что перо гораздо полезнее, нежели шпага, но я не люблю жарких споров, а держусь лучше основательных доказательств. Я не отрицаю выгод военного человека, но знаете ли, что статское состояние есть соборище лучших выгод из всех других состояний?»

«Как! – вскричал Рубакин, – вы подъячих сравниваете с воинами? Но можете ли вы в том успеть? Одно это, когда мы возьмем какую крепость, сколько приносит нам славы, и сколько потом чувствуем удовольствия, обогащая себя всем, что только на глаза наши тогда ни попадетя. Кто другой может иметь такую волю, чтоб без малейшего нарушения права присвоивать себе вещи, никогда ему не принадлежавшие?»

«Постойте, постойте, – перервал с скоростию Тихокрадов, – дайте мне докончить: вы тогда сами увидите, правду ли я сказал. Статский человек столько же казаться может блистателен, сколько и придворный: он так нее может приобретать себе дарования пособиями тех самых искусников, которые своим искусством составляют достоинства большей части придворных, чему многие из наших судей могут быть явным доказательством, а иные столько же в том себя отличили, что лучше знают, как одеться по последней моде и сообразно годовому времени, нежели отправлять по-надлежащему свою должность и вершить судебные дела. – Статский человек столько же может иметь тогда славы, сколько и военный, когда он, сообразив все последствия и проникнув в существо дела, разрушит все хитросплетения гнусных лжей, покрывавших мраком целый век или и более истину, которой определением своим доставит принадлежашую ей справедливость».

Что ж принадлежит до обогащения его, то он имеет еще то преимущество, что, не отлучаясь за несколько сот или тысяч верст и не подвергая себя столь видимой опасности, какой подвергается воин, может ежедневно обогащать себя и присвоивать вещи с собственного согласия их хозяев, которые за немалое еще удовольствие себе поставляют служить оными и почитают за отменную к ним благосклонность, если от них оные принимаешь. Сверх того статский человек может производить торг своими решениями точно так же, как и купец, с той токмо разницею, что один продает свои товары по известным ценам на аршины или на фунты, а другой измеряет продажное правосудие собственным своим размером и продает его, сообразуясь со стечением обстоятельств и случая, смотря притом на количество приращения своего богатства. Если вы против сего скажете, что все это не позволено законами, то по крайней мере должны в том признаться, что в свете введенные обыкновения столь же сильны, как и самые законы; сказанные же мною выгоды статского человека издавна между людьми вошли в обычай, и ныне они столько же употребительны и извинительны, сколько простительно придворному не платить своих долгов, а купцу иметь окороченный аршин и неверные весы, или сколько сему последнему позволительно, обогатив себя чужими деньгами и надавав в приятельские руки пустых на себя

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами, векселей, избавиться тем от платежа истинных своих доходов. Итак, видишь ли, друг мой, – продолжал он, оборотясь к хозяину, – что я не солгал, и ты весьма несправедливо сделаешь, если предпочтешь какое-нибудь состояние статскому, в котором он может быть столько же знатен и блистателен, сколько и придворный; столько же обогащать себя всем, что ни увидит, сколько и воин, и с такою же способностью торговать, как и купец. – Не отлагай же долее, отдай его в мой приказ и будь уверен, что я выведу его в люди. Не думай, чтоб я это обещал из одной только учтивости: нет, мне ничего не стоит доставить ему чин, чему явным доказательством мой дворецкий, которого за усердную его ко мне службу сделал я секретарем. Итак, когда я дворецкому доставил такое счастье, то будь уверен, что тебе, как моему другу, могу более услужить; нужно только потерять тебе несколько тысяч при его производстве, так и дело с концом; но поверь мне, что сын твой со временем, когда будет на судейском стуле, издержки сии возвратит тебе всотеро».

«Что до меня касается, – сказал Трудолюбов, – то я вместо того, чтобы защищать выгоды своего звания в моем отечестве, при первом же случае постараюсь из оного удалиться и возвратиться в Англию, где знают лучше цену моего художества и где за оное получал я во сто раз больше, нежели здесь, хотя я никакой не примечаю разности в моем искусстве, а сие меня столько опечалило, что, не размышляя нимало, предался я пьянству; знаю, что разумному человеку сие непростительно, но что уже сделать, когда, о том я скоро думав, сделался теперь совершенным пьяницею: известно, что скорость не одному мне, но многим причинила пагубу. Итак, любезный Плутарез, если ты хочешь сына своего сделать счастливым каким-нибудь художеством, то или пошли его для работы в чужие край, или не вели ему ни за что приниматься, потому что здешние жители своих художников и их работу ни за что почитают, а уважают одно привозимое из-за моря. Я могу сказать, что мое искусство всегда почиталось из первых, и в Англии от оного многие обогащаются; я сам со временем, может быть, был бы из первых там богачей, если бы не принужден был сюда выехать».

«Нет! милостивые государи, – сказал хозяин, – я свое состояние всем прочим предпочитаю и оставлю навсегда в нем своего сына. Правда, хотя я и не дворянин, но деньги все мне заменяют».

Я увидел, любезный Маликульмульк, что он говорит правду, ибо, процветая в избытке, живет он, как маленький царек. Придворные, ученые и художники ежедневно ищут в нем благоприятства: первые просят у него в прозе в долг денег, вторые ищут награждения за подносимые стихи, а третьи ожидают, чтоб он употребил их к своим услугам; итак, придворным дает он по тщеславию, ученым по великодушию, хотя, впрочем, никогда не читает их стихов, а третьим, лстя пустою надеждою, отказывает, сохраняя тем домашнюю свою экономию.

Письмо XII

От гнома Буристонна к волшебнику Маликульмульку
О вступлении его в судилище островских жителей для избрания судей; о приговоре их над бедным живописцем; о выкупе его и избавлении от смертной казни; о приговоре десяти бедняков к виселице; разговор об особе, выкупившей живописца; о средствах к плутовству и о свойствах островитян; челобитная одного стихотворца, почитающего себя рогоносцем
И надежды нет, любезный Маликульмульк, чтобы я мог скоро возвратиться в ад. Сколько здесь ни обширны фабрики правосудия, но почти на всех обрабатывается оное довольно дурно. Одно только несколько меня утешает, что мне есть из чего выбирать; ибо на всякие 30 000 жителей наверное находится 20 тысяч судей; по если ты меня спросишь, найдется ли в сих 20 тысячах хотя 2 десятка мудрецов или, лучше сказать, хотя 1 добродетельный и знающий судья, то я для решения сего вопроса покорно попрошу у тебя дать мне 500 лет сроку. Впрочем, ты из маленького случая, о коем я тебя здесь уведомлю и которому я сам был очевидным свидетелем, увидишь, правду ли я думаю.

Последуя предписанию Диогену, вылетев на землю, вошел я в одну из славнейших лавок Фемисы; увенчанные перьями головы судей, с которых уже давно сошли волосы, делали рост их величественным, и хотя толстые их туловища не предвещали судейской заботливости, но впалые глаза, казалось, были у всех притуплены на чтении законов. Судейская зала, правда, хотя не соломою, а шелком и золотом была украшена, однако ж со всем тем пол, забрызганный чернилами, доказывал их трудолюбие; над дверьми, на восковой, но сделанной под мрамор доске – Фемиса держала следующую надпись:

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духа

Хранящий истины уставы,
Законы ты мои внемли:
Не продавай своей расправы,
Не будь здесь пьян и не дремли.

Я едва мог разобрать сию надпись, для того, что судьи очень жарко топят залу и восковая доска сделалась так гладка, что почти ни одного слова не было порядочно видно; со всем тем мне это подавало очень хорошую надежду, как вдруг вошел в залу толстый купец, который тянул за собою бедного человека.

«Рассудите меня с этим негодяем, – кричал сей брюхан: – он украл у меня из кармана платок, но ваше правосудие, конечно, не допустит, чтоб было в самом городе такое нам утеснение от сих наглецов, и я требую, – продолжал он, – чтоб его осудили вы по всей строгости законов».

Судьи, нимало не медля, приговорили бедняка сего повесить, и толпа народа нетерпеливо дожидала уже сего позорища.

«Почтенное собрание, – сказал тогда судьям бедняк, – ваша воля ничем не может быть оспорима; но неужели правосудие сначала наказывает преступника, а потом уже рассматривает существо его дела? Нет! ваше звание обнадеживает меня, что вы, конечно, благоволите, чтоб я оправдался...»

Чтоб ты оправдался, – сказал один из них, смотря на солнце, – да знаешь ли ты, что уже теперь полдень и что тебя скорее можно повесить, нежели выслушать твои оправдания, которые у всех преступников бесчисленны».

«Постойте, – сказал бедняк, – одна минута терпения не нанесет вреда вашему желудку и спасет несчастного от строгого наказания. Признаюсь, я украл платок, но скажите, когда вы, не желая вытерпеть двух минут голоду, хотите похитить у отечества, может быть, полезного ему гражданина, то мог ли я, три дни быв без пищи, не украсть, наконец, сего платка, потеря которого ничего не стоит сему богачу. Знайте, что я никогда не имел сей склонности, родясь с способностями к живописи, которые подкрепля наукою и усовершенствовав в чужих краях, возвратился я назад с успехом, надеясь иметь безбедное пропитание в своем отечестве.

Мои картины хотя всеми были здесь одобряемы, но порочили их тем, что они не были Апеллесовы, Рубенсовы и Рафаэловы или, по меньшей мере, не были иностранной работы, и для того никто не хотел их иметь в своих галлереях. Это меня лишило бодрости, предало унынию и повергло в отчаяние и нищету, так что я, не имея никакой надежды поправить свое состояние, имея престарелых родителей и малолетних сестер на своем содержании, на которое при нынешних обстоятельствах и дороговизне истощив все, что имел, и сам, наконец, умирая с голоду, принужден был сделать сие преступление. Итак, рассмотрите теперь, я ли виновен, что по необходимости прибегнул к пороку, или вы, гнушающиеся художествами ваших соотечественников? – Я ли, который старался в своем отечестве поравнять вкус живописи со вкусом других народов, или вы, платящие мне за то неблагодарностию? Наконец я ли, который собою подкреплял надежду своих художников иметь со временем в нашем отечестве Мишель-Анжелев, или вы, которые своим нерадением и презрением погашаете в них весь жар к трудам и усовершению их дарований?»

Судьи признавались, что он изрядно говорил и мог бы по красноречию быть хорошим стряпчим, но как они не знали ни Мишель-Анжелев, ни Рафаэлев и не понимали о живописи, то из всех его слов заметили только то, что он признался в краже, за которую закон наказывал виселицею, вследствие чего и не хотели отменить своего приговора; некоторые только из сожаления хотели, чтобы вместо виселицы отрубить ему голову, а другие, боясь петли и топора, приговаривали засечь его до смерти розгами. – Я между тем удивлялся строгости судей и признавал сам в себе, что, хотя они не совсем были правы, однако ж порок всегда наказываться должен и ничем не может быть извиняем.

«Вот, – думал я, – наконец, те судьи, из которых, может быть, я выберу надобное число Плутому».

В сие время, когда они еще спорили, какую помилостивее положить ему казнь, отворилися двери залы, и вошел богато убранный господин; все судьи перед ним встали, приветствовали его своими поклонами и просили его сесть. Бедняк, думая,

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами конечно, что это был их начальник, бросился перед ним на колени и просил о своем избавлении.

«Что стоит прощение сего бедняка?» – спросил с гордостью богач.

«Милостивый государь, – сказал один из них, – если бы этот живописец был в состоянии заплатить 200 небольших листов здешнего золота, то бы не был наказан; но он очень беден, и для того мы приговорили было его к виселице, однако ж некоторые из нас, по мягкосердечию своему, присуждают отрубить ему голову, а другие засечь розгами; и вот уже полчаса, как о том у нас происходит спор, какую смертью его наказать, но еще ни на чем не решились».

«Вот двести листов, – сказал богач, подавая оные, – отпустите его и примитесь лучше за мое дело. А ты, друг мой, – сказал он живописцу, – подожди меня: мне нужен человек твоего искусства размалевать паркет в моей прихожей».

Живописца выпустили, и сей редкий искусник, который бы мог сделать честь своему отечеству, дожидался своего избавителя, чтоб итти за ним рисовать холст для обтирания ног пьяных служителей, а судьи, чтобы скорее приняться за дело сего господина, не медля нимало, приговорили к виселице еще десять бедняков, которых некогда, им было тогда выслушать. Определение о том заключили они в следующих словах: «Хотя сущность их дел нам неизвестна, но и предосторожность, чтобы другие не надеялись на оправдание, повелеваем всех их перевешать, а рассмотрение сих дел отлагаем до предбудущего заседания».

«Кто это такой, – спросил я у одного из стоящих близ меня, – который столь щедро выкупил живописца и перед которым судьи так благоговеют?» – «Это один преступник, – отвечал он мне на ухо, – который судится в некотором похищении и грабительстве, и вот уже лет двадцать, как это дело тянется». – «Как, – спросил я, – и его по сих пор не повесили! Разве он похитил меньше, нежели золотник меди?» – «Нет! – отвечал он, – на него донесено, что он покрал из государственной казны несколько миллионов в золоте и серебре и разграбил целую врученную ему область». – «Пропащий же он человек, – сказал я, – его, конечно, уже замучают жесточайшими казнями». – «Напротив того, – отвечал он, – он уже оправдался перед правосудием, и это ему стоит одного миллиона, а чтоб оправдаться в глазах народа, то он делает такие выкупы, каким освобожден живописец, и взносит на содержание сирот немалые суммы денег, и через то, в мыслях некоторых людей, почитается честным, сострадательным и правым человеком; из доносчиков его большая половина перемерли в тюрьме, а оставшие завтра утоплены будут в море, если только не успеют они подкупить своих надзирателей и скрыться побегом; но я вижу, – продолжал он, – что вы недавно приехали на наш остров; поживите-тко у нас подоле, так и увидите всего поболее».

«Но и сего для меня довольно, – сказал я. – Мне удивительно, как можете вы жить в такой земле, где чуть было не засекали розгами бедняка, не евшего трое суток, за то, что вытащил он у богатого купца платок; где прежде вешают подобных ему, нежели рассматривают их дела, и где преступникам, обворовавшим государственную казну на несколько миллионов и разграбившим целую область, судьи кланяются чуть не в землю».

«Друг мой, – сказал мне мой новый знакомец: – это не так удивительно, как ты думаешь; в том только вся сила состоит, что прежде, нежели хвататься за какое ремесло, надобно оное рассмотреть со всех сторон. Сей живописец хватился за воровство, но с самой бесчестной и низкой стороны. Если бы он, например, вступил с каким-нибудь купцом в товарищество, хотя бы то было со мною, то бы ты увидел, что, под моим богатым предводительством, мы могли бы обманывать тех, кого нельзя грабить, и грабить тех, кого нет нужды обманывать, а со всем тем остались бы у всех островских жителей в почтении; но чтоб было для тебя сие понятнее, то расскажу тебе повесть сих жителей, которую слышал я от своего деда, а ему рассказывала об ней покойница его бабушка. Пристрастие к плутовству есть природное свойство здешних жителей, и мои земляки уже давно им промышляют. В старину оно было во всей своей силе; но как просвещение начало умножаться, то наши промышленники приняли на себя разные имена, первостатейные сделались старшинами и законниками, другие купцами, а третьи ремесленниками и поселянами; но, переменя звания, жители не переменяли своих склонностей, и плутовство никогда столько не владычествовало над ними, как по сей перемене, так что, наконец, претворилось оное в совершенный грабеж, которому, однако ж, даны самые честные виды; одно только старое воровство запрещено, а, впрочем, кто чем более

и критическая переписка арабского философа Маликульмульк с водяными, воздушными и подземными духами крадет, тем он почтеннее; опасно лишь тому, кто в сем хранит умеренность: украденное яблоко может стоить головы, а миллионы золота принесут уважение».

«Так поэтому, – сказал я, – никто не может иметь никаких собственных своих выгод, потому что вы друг у друга только что перекрадываете?»

«Нет, – отвечал он, – мастерские имеют некоторые только способы к плутовству, купцы вдесятеро того больше, а законники и старшины употребляют все средства и способы к своему обогащению, и для того все купцы и мастерские стараются у нас, разбогатеи, купить себе между судьями скамейку; отчего произошло, что ныне у нас с лишком во сто раз больше судей, нежели было прежде».

Предстань, любезный Маликульмульк, каково было мое удивление, услышав о столь развращенных нравах сих островитян. Я было не медля хотел уже отправиться на север, по совету Диогену; но любопытство, а паче некоторый луч надежды, что между таковым множеством судей, может быть, сыщу я трех знающих и добросовестных, удержали меня несколько на сем острове. Расставшись с моим знакомцем, лишь только успел я выйти на улицу, как встретившийся со мной рассерженный человек, державший в руках своих бумагу, просил меня просмотреть, какова его челобитная, которую подавал он на нововышедшую в свет сатиру.

«Государь мой, – отвечал я ему, – я не знаю ни сатиры, ни вашего дела».

«О сударь! – сказал он, – это дело требует непременно отмщения. Сатира эта написана на рогоносца, а жена моя точно доказывает, что это на меня».

После чего подал он мне свою челобитную, с которой копию, как любопытную вещь, к тебе посылаю.

Судей собрание почтенно,
Внемли пиита жалкий глас,
И рассуди ты непременно
С сатириком негодным нас;
Он смел настроить дерзку лиру
И выпустить во свет сатиру,
Где он, рогатого браня,
Назвал глупцом его безбожно,
Жена ж моя твердит неложно,
Что это пасквиль на меня.
Второе, он сказал нахально,
Что всем рогатым чести нет,
Хотя признаться непохвально,
Но это точно мой портрет.
А третье, тот его рогатый,
Лишь красть чужое тароватый,
Не может сам писать стихов,
А вам весь город это скажет,
И всякий стих мой то докажет,
Что я и был и есть таков.
Прошу ж покорно, накажите
За пасквиль моего врага
И впредь указом запретите
Писать сатиры на рога.

Может быть, любезный Маликульмульк, после уведомлю я тебя, чем эта странная тяжба кончится.

Письмо XIII

От сиффа Световида к волшебнику Маликульмульку

О бытии его в собрании модных госпож и петиметров. Какие там происходили разговоры на счет одной графини, которой в глаза все льстили. Удивление его при слушании сих разговоров, наполненных ласкательства и притворства; разговор его о сем с некоторым знакомым графом, который рассказывает ему, что притворство и ласкательство почитается у них узлом всех сообществ и что потому наблюдается превеликая осторожность во всех покупках. О женщинах, какое искусство употребляют они в нарядах. О гулянии в саду, и о некотором случившемся там забавном приключении

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами. Осматривая многие города, вздумалось мне в сем городе прожить несколько времени. Приняв на себя вид знатного путешественника, познакомился я со многими здешними жителями, которые со всех сторон осыпают меня превеликими ласками и приглашают во все лучшие собрания модных своих господ и петиметров, где с великим примечанием рассматриваю я хитрости женщин и вероломство мужчин. В одно время случилось, когда я туда вошел, то речь шла о некоторой графине, о которой все говорили с превеликою насмешкою, несмотря на то, что в глаза ей все показывались друзьями.

«Я не знаю, – говорила одна молодая госпожа, – откуда графиня берет свои пустые рассказы, которыми всегда нам наводит скуку; по чести, в ее лета не позволялось бы такое пустое болтанье». – «Никак, сударыня, – сказал один петиметр с насмешливым видом, – ежели только это правда, что лета бывают причиной охоте скучать в собраниях своим болтаньем, то графиня давно уже имеет сие право». – «Куды какой ты насмешник, – подхватила другая госпожа, – я знаю графиню, она еще не так стара, чтоб ее считать в числе болтливых старух. Она вышла замуж в тот год, как я родилась: ей было тогда двадцать четыре года, а мне теперь только тридцать два». – «Как сударыня, – вскричал один вертопрах, с видом превеликого удивления, – вы кажетесь еще совершенным младенцем, а говорите, будто вам тридцать два года; это мне кажется столько же удивительным, как и то невероятным, чтоб графине было пятьдесят шесть лет, хотя она и сказывает всем, что ей не больше сорока».

В ту самую минуту, как спорили о летах сей графини, вошла она в собрание; каждый перед нею переменил свои слова. «Ах! боже мой, любезная графиня, – говорила ей та самая госпожа, которая за минуту перед тем столь щедро награждала ее пятьюдесятью шестью годами, – какой у тебя сегодня прекрасный цвет в лице, как ты кажешься прелестна, никто не скажет, чтоб тебе было тридцать лет».

«Однако ж, мне больше тридцати. – сказала графиня вполголоса, усмехаясь, прищуривая глазами и кусая себе губы, чтоб сделать их алее. – Я совсем не спала нынешнюю ночь, – продолжала она, – и поутру вставши страшилась сама на себя взглянуть в зеркало; по чести! я не хотела никуда сегодня показаться, но, имея чрезвычайное желание быть о вали вместе, решилась, наконец, сюда приехать».

«Мы им очень много сожалели, когда бы лишены были нашего приятнейшего для нас присутствия, – вскричал тот петиметр, который пред ее входом язвил ее жестокими насмешками, – потому что никто не приносит столько удовольствия в собраниях, как вы, сударыня! Чорт меня возьми! если я не гораздо приятнее слушаю те небольшие повести, которые вы иногда изволите нам рассказывать, нежели лучшие басни Бокасовы и де ла Фонтеновы».

Я чрезвычайно удивлялся, слушая сии разговоры, наполненные гнусного ласкательства и притворства, и почитал оное непростительным вероломством. Мне очень казалось странным, что здесь, по заочности, столь язвительно насмеваются над такою особою, с которою всякий день бывают вместе и которую называют именем друга; а еще того страннее, что в глаза ту же самую особу осыпают чрезвычайными похвалами. Сии похвалы я почитал не иначе, как несноснейшим оскорблением, потому что они заключали в себе скрытыми те самые насмешки, которые пред ее входом на счет ее были произносимы.

Как скоро вышел я из сего собрания, то не мог воздержаться, чтоб не открыть моего удивления одному коротко мне знакомому графу. «Ежели все люди, – говорил я ему, – с которыми вы живете, обходятся с вами с таким притворством, то вы великого сожаления достойны и ни на чьи слова не должны полагаться. Кто может вас уверить, чтоб не говорили когда и на ваш счет таких же язвительных насмешек, какие говорены были насчет графини? Эти люди, имеющие столь злобные и коварные сердца, называют себя се друзьями, равно как и вас уверяют в своей дружбе».

«Я уже знаю, – отвечивал мне граф, – каким образом я в таком случае поступать должен. Мне довольно известен свет, чтоб не допустить себя обмануть никакими тщетными уверениями дружбы и пустыми похвалами, произносимыми без мыслей и без всякого основания. Я сам, сообразуясь с обычаем и модою, часто хвалю то, что мне кажется смешным, и после охотно откажусь от тех похвал, ежели потребуют от меня истинного в том доказательства».

«Но к чему нужно сие притворство? – спрашивал я его. – На что непрестанно изменять чувствам своего сердца? Ваши уста поэтому никогда не произносят того, с

и критическая переписка арабского философа Маликульмульк с водяными, воздушными и подземными духами, чем согласуется ваше сердце; и искренность, которая почитается самонужнейшею добродетелию для общежития, совсем вам неизвестна».

«Что ж делать, – говорил он мне, – такое здесь заведено обхождение; притворство почитается теснейшим узлом всех здешних сообществ. Здешние жители, приметя в себе, что они не могут быть способными истинно любить тех людей, с коими обращаются, начали употреблять притворство вместо истинной любви. Хитрость заступила место истины, а ласкательство место чистосердечия; и, наконец, нужда сделала сие притворство извинительным».

Вот, почтенный Маликульмульк, какие главнейшие причины вежливости и учтивства, которые столь много уважаются между здешними согражданами, и коими они не иному чему одолжены, как искренности и чистосердечию, которых они лишены и вместо которых оные употребляют. Все их обязательные и учтивые уверения, их ласковые приемы и льстивые слова суть следствия их притворства. Философ должен похвалы их и вежливость почитать ядом, положенным в напиток, имеющий самый приятый вкус.

В здешней стороне каждый человек ни о чем более не старается, как о том, чтоб наружно обласкать всех, попадающихся ему навстречу: одному он учтиво кланяется, другого осypаает льстивыми словами и потом обнимает с знаками искреннейшей дружбы особу, очень мало ему знакомую. Все здешние жители в искренности и чистосердечии могут почестся Титами, и всякому по наружности их покажется, что они почитают те дни, в которые не удастся им никому оказать благодеяния, днями в жизни их потерянными; но если войтить во внутренность их расположения, то найдешь совсем тому противное. Они чрезвычайную имеют склонность к злословию и почитают то для себя великим утешением, когда на чей счет удается кому из них сказать острое слово. Здесь очень часто друг своим другом жертвует удовольствию вымолвить в обществе вертопрахов острую и забавную шутку. Здесь мало сыщешь такого дружества, которое не было бы при случае подвержено насмешкам, и также очень редко найдешь таких людей, которые были бы столько счастливы, чтоб имели такого, кому бы могли открыться в своих несчастиях и вверить свои тайны. Ежели истинные друзья повсюду редки, то здесь они всего реже.

Критический и злословящий дух, обладающий всеми здешними жителями, делает их принужденными во всех своих поступках. Они друг за другом во всем рачительно примечают; они знают, что все окружающие их взирают на них завистливыми и злобными глазами, что самомалейшие их движения будут обращены в насмешку; и для того во всех публичных собраниях, в позорищах и на гуляньях, во всем наблюдают они превеликую осторожность, в походке, в смехе, в произношении голоса, а паче всего в нарядах. Женщины употребляют на то чрезвычайное искусство, так, что полководец в собрании военного совета не столь рачительно располагает и советует о удачном успехе назначаемого сражения, как здешняя щеголиха распоряжает своими горничными девками при надевании на себя своих уборов, спрашивая у них поминутно, пристало ли ей надетое платье и к лицу ли чепчик, или шляпка? Все сему подобное привлекает на себя ее внимание. Она двадцать раз посмотрится в зеркало прежде, нежели совсем бывает отмалевано ее лицо разными притираньями, помадами, румянами и прочим, и прежде, нежели все уборы ее приведены бывают в совершенный порядок. Каждый цветок, каждая ленточка и даже каждая булабочка должны быть осмотрены, помещены ли на своем месте.

Женщина скорее согласится пробыть десять лет запертою, нежели на одну минуту показаться на гулянье без убору. Здесь часто в летнее время собираются в саду, где бывает обыкновенное сборище петиметров и щеголих, которые простирают свое злословие и насмешки над всеми попадающимися им навстречу. В прежние времена очень часто случались в сем саду любовные приключения, повреждающие честь мужей, и тут непрестанно происходило сражение у любви с Гименом. Мне некто рассказывал весьма забавное случившееся тут приключение. Один любовник, скрывшись некогда в темной аллее сего сада, дожидался своей любовницы, которая обещалась туда приехать к нему вечером под видом прогулки. Она сдержала ему свое слово, выпросившись у своего мужа, который тем охотнее на то согласился, что сам имел назначенное свидание с своею любовницею в том же саду. Лишь только жена его уехала, то он не медля сам отправился к своей любовнице. Место, избранное им для любовного собеседования, было неподалеку от того места, где жена его имела свидание с своим любовником; двое или трое прогуливающихся в сем саду, нечаянно подошед к тому месту, где происходили сии два любовные свидания, воспрепятствовали их забавам и принудили их итти искать другого выгодного места; но в какое пришли они удивление по выходе на большую дорогу, где при лунном сиянии узнали они друг друга и увидели, что оба мужчины были мужья,

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами, разменявшиеся своими женами. При такой нечаянной встрече они не могли вдруг удержаться, чтоб не оказать явным образом своего прискорбия и удивления, так что другие, находившиеся тут в саду, слышали взаимна их друг другу делаемые выговоры и упреки, и на другой же день сие приключение многим сделалось известно. Наконец, сии несчастные мужья принуждены были предать совершенному забвению взаимную свою досаду и внутренно утешались только тем, что один другому заплатил одинакою монетою.

Письмо XIV

От гнома Зора к волшебнику Маликульмульку

О приходе его невидимкою в лавку к французенке, торгующей модными уборами, для узнания, которые уборы были больше в моде; где видел он многих щеголих, выбирающих для себя уборы, которые криком своим чуть его не оглушили, и по выходе их слышал разговоры сих модных уборов, т. е. аглинской шляпки, французского тока, покоевого чепчика и блондовой косынки, которые в шкапу между собою спорили о своем друг пред другом преимуществе. Получив вновь повеление от Прозерпины, чтоб при искании модных искусников постарался я как можно скорее доставить ей разных модных уборов, сколько ни было мне досадно сие подтвердительное повеление, напоминающее мне о невозможности возвратиться скоро в ад, однако ж должен непременно выполнить волю своей богини. Для сего выбору вошел я в лавку к одной французенке, торгующей модными уборами, сделавшись невидимым нарочно для того, чтоб без всякого обману узнать, которые уборы были больше в моде. В то время в лавке случилось множество щеголих, выбирающих для себя разные уборы. Сначала я очень обрадовался такому случаю, надеясь от них узнать цену и достоинства сих уборов, и которые из оных были больше в моде и один перед другим предпочтительнее; однако ж никак не мог удовольствоваться своего любопытства, потому что все они были разных мнений: одна из них больше хвалила токи, другая чепчики, иная шляпки, иная тюрбаны, а иная каски, так что на выборы их я никак не мог положиться, и криком своим чуть было они меня не оглушили. Наконец, купив каждая, что ей было надобно, вышли они все из лавки; модная торговка также ушла в другую комнату, и я, оставшись один, размышлял, каков бы найти способ, чтоб, не обманувшись, узнать, которые уборы предпочтительнее других и в какое время с лучшим успехом могут быть употребляемы, как вдруг услышал, что в шкапу самые сии модные уборы начали между собою разговаривать, а тебе известно, почтенный Маликульмульк, что мы имеем способность слышать и разуметь разговоры всех, даже и неодушевленных вещей. Они спорили между собою о их друг перед другом преимуществе. Разговоры сии показались мне очень забавными; я слушал их с великим удовольствием и почитаю за долг сообщить тебе оные.

Аглинская шляпка.

Может ли какой убор быть лучше меня! и есть ли что-нибудь на свете прекраснее аглинских мод?

Французский ток.

Куда как ты забавна с твоею Англиею! Поверь мне, моя голубушка, что хотя агличане и берут в некоторых случаях преимущество перед французами, однако ж то, конечно, не с стороны уборов и хитрых выдумок щегольских мод.

Покоевый чепчик.

О чем вы, друзья мои, спорите! Поверьте мне, что между нами нет никакого различия, и мы друг перед другом не можем иметь нималого преимущества, потому что ежели какой головной убор к лицу одной женщины, то к другой он совсем не бывает приличен; все зависит от расположения лица, каким образом убор бывает надет, и от глаз любовников, ибо женщины желают только нравиться своим любовникам и во всем полагаются на их вкус.

Аглинская шляпка.

В этом-то ты больше всего обманываешься: любовникам не нужны излишние уборы, а им нужна горячность сердца; о уборах судит только публика, нежность же модной щеголихи не имеет в оных нималого участия, а действует одно только самолюбие; — да, одно только самолюбие и тщеславие; они-то больше всего ею обладают и располагают ее вкусом. Для нее лестнее привлекать на себя внимание

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами многочисленного собрания, нежели нравиться одному воздыхателю: и главная цель ее нарядов состоит в том, что она желает нравиться многим, а не одному. Это только одно всех женщин побуждает к нарядам, и они очень мало заботятся о том, что скажет им любовник о их уборах; им нет никакой нужды в излишних украшениях для препровождения приятнейших минут с любимым человеком, а напротив того, в любовном свидании лучшим украшением почитаются природные прелести, без всякого искусства в уборах; тут наряды делают только излишнее беспокойство и помешательство.

Покоевый чепчик.

Однако ж со всем тем, госпожа шляпа, ты должна признаться, что некоторые женщины, надев на себя или шляпу, или другой какой головной убор, кажутся другим чрезвычайно смешными, и очень часто тот самый их убор делает их дурными, и для того-то лучше бы было, когда бы всякая женщина старалась избирать такие уборы, которые были бы ей к лицу, а не такие, которые больше в моде, в чем просила бы совета у искренней своей приятельницы, или бы следовала вкусу модных торговок, доставляющих им сии уборы.

Аглинская шляпка.

Можно ли положиться на вкус модной торговки! Она всегда больше выхваляет те уборы, которые хочет скорее сбыть с рук! Она, без всякого сомнения, каждой женщине будет говорить, что этот убор к ней ужасно как пристал, хотя бы в нем казалась она совершенным страшилищем.

Покоевый чепчик.

Ну, так пусть она полагается на вкус своего хорошего друга, то есть обладателя ее сердца.

Аглинская шляпка.

Вот то-то хорошо! Обладатель сердца способен ли в уборах подавать советы, когда всегда судит он о сем пристрастно, наблюдая собственную свою пользу! Ежели он к любовнице своей ревнует, то, конечно, не присоветует ей надеть такой убор, от которого бы она казалась прелестнее, боясь, чтоб она не понравилась многим мужчинам и не привлекла бы на себя их взоры.

Покоевый чепчик.

А всего лучше, если она будет советоваться с своим зеркалом,

Аглинская шляпка.

Вот другая глупость: советоваться с своим зеркалом! Как это забавно! советоваться с зеркалом! то-то изрядный советник! Есть ли хотя одна и самая гадкая женщина, которую бы зеркало не уверяло, что она довольно хороша?

Покоевый чепчик.

О! постой, что ж бы ты сказала, когда бы она потребовала советов у своих горничных девок, непрестанно ее окружающих, так, как то делают многие здешние щеголихи?

Аглинская шляпка.

Да! это прекрасная выдумка; следуя таким советам, может она надеяться хороших успехов в своих нарядах, чтоб сделаться или совсем гадкою, или не столь пригожею. Сколько раз случалось мне слышать, что женщина говорила другой женщине: «Ах! как это к тебе пристало! ужасно, ужасно, жизнь моя! Где ты купила этот чепчик? Ах! как он прекрасен!» и проч., а в самое то время внутренно радовалась, что тот убор, в противность ее похвалам, был совсем не к лицу.

Покоевый чепчик.

Ну, так пусть делает она то, что хочет.

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами французский ток.

Ты очень хорошо судишь, будучи по справедливости назван покоевым чепчиком! Ну, можно ли тебе вмешиваться в наши разговоры? Как тебе с нами ровняться? Мы, по крайней мере, бываем на позорищах; являемся при дворе и торжествуем на балах. Мы можем себя почитать лучшим украшением для всех щегольских нарядов; но ты, бедняк! ни к какому платью не годишься, кроме как к утреннему дезабилье. С тобой только можно показаться при уединенном завтраке. Тебя надевают без всякой осторожности, так, как накидывают на шею платок, нимало не примечая, каким образом ты надет бываешь. Ты всегда прикрываешь волосы, совсем не причесанные, почему никак не можешь ровняться с щегольскими уборами, и не иначе можешь почитаться, как спальным чепчиком; итак, пожалуй, скажи, имеешь ли ты право вмешиваться в наши разговоры?

Покоевый чепчик.

Я тебе прощаю, почтенный ток, в твоих грубых и язвительных против меня словах; но ежели, по-твоему, я ни в чем не могу ровняться с вашими достоинствами, то для чего же меня положили в один с вами шкаф?

Французский ток.

Ведь надобно же тебя куда-нибудь положить; но, находясь в нашем почтенном сообществе, ты должен себя помнить и перед нами молчать.

Покоевый чепчик.

(с лукавою усмешкою).

Итак, я замолчу, ибо ежели бы я захотел сделаться нескромным, то мог бы насказать множество любопытных случаев, которым очень часто бывал я очевидным свидетелем и которыми вы никак похвалиться не можете; вы, конечно бы, позавидовали моему счастью. Разумеешь ли ты меня, гордый ток? дерзкий ток? грубый ток? неловкий ток?.. Да знаешь ли ты, что покоевый чепчик бывает свидетелем многих приятнейших приключений, которых тебе никогда видеть не удастся. В любовных уединенных свиданиях не почитают за нужное иметь на голове своей такой щегольской убор, каков ты, господин ток. Тогда почитают тебя самым неловким и скучным украшением и из уважения к тебе не дерзают предаваться приятным и нежным любовным восторгам, чтоб не измять твоих пышных кружев и лент, а потому ты присутствуешь только при скучных и безмолвных свиданиях, в которых соблюдается превеликая благопристойность. Такие тягостные церемонии охлаждают чувства и удаляют сладостное восхищение любви. Но покоевый чепчик – ха, ха, ха! – покоевый чепчик, любезный мой ток, нарочно сделан для любовных утех и нимало не препятствует свободнейшему между любовниками обращению. Ежели когда он беспокоит, то снимают его безопасно и кладут на уборный столик; а после опять надевают на себя без всякой осторожности.

Блондовая косынка

(во время разговоров спит и храпит: хрр, хрр, хрр)

Аглинская шляпка.

Вот как спокойно поживает наша любезная соседка; желала бы я и ее вмешать в наши разговоры... (Будит ее.)

Косынка.

Ох!.. Кто это?.. Кто это мешает мне спа... а... а... (зевает) а... ать? Я так спокойно спала, а эти глупцы мне помешали; правду говорят, что...

Аглинская шляпка.

Ты очень неучтивая, что спишь в такое время, когда мы разговариваем о таких важных предметах!

Косынка.

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духа
Ну! что такое, о чем вы говорите? посмотрим!

Аглинская шляпка.

Мы спорим о нашем друг перед другом преимуществе... И каждый из нас доказывает свои права...

Косынка

(сонным голосом).

Да, это очень хорошо, например, говорить о правах и преимуществах тогда, когда я здесь... Это было еще ваше счастье, что я спала!

Аглинская шляпка, ток и покоевый чепчик

(все вдруг вскричали с сердцем)

.

Как! что такое она хочет сказать?

Косынка

(с насмешкою).

Да, это нетрудно угадать... Кто из вас может иметь право при мне превозноситься своим достоинством? Вы прикрываете только головы и волосы; но я! какие прелести собою охраняю? Разве я не бываю покровом тем прелестным грудям, которые почитаются гораздо превосходнее тех мест, которые вы собою украшаете?

Покоевый чепчик.

О! пожалуй, столько не говори, любезная моя приятельница, и не наговори уже слишком много. Что такое прелести, о которых ты нам с таким восхищением выражаешь!.. Тебя покупают только на то, чтоб ты пышностью своею делала пустой обман, а не для прикрытия прелестных грудей... Поверь, что мне все это довольно известно...

Косынка

(захохотав).

я, сударь! о! я вам божусь, что никакого обмана не делаю, а груди, прикрываемые мною, в самом деле таковы, каковыми я их представляю...

Шляпка, покоевый чепчик и ток

(все в один голос).

О, ты совершенная обманщица, госпожа косынка! Тебя по справедливости так называть должно!

Косынка

(взяв на себя важный вид).

Ну, ну, перестанем горячиться; не ко всякому слову, друзья мои, надобно привязываться... Вы чувствуете сами, что... когда я говорю... что я не делаю никакого обмана... то это только так говорится... а в самом деле я хотела сказать... что не делаю почти никакого обмана... Однако ж, по крайней мере, вы можете признаться, что я более вас приношу пользы. Вы все, головные уборы, ни к чему больше не служите, как только для одного украшения, и не охраняете ни от дождя... ни от ветра... ни от холодного воздуха... Но я охраняю прекрасную грудь от простуды, а что еще и того лучше, от дерзких взоров нескромного мужчины... Итак, я бываю защитницею стыда и целомудрия и орудием благопристойности.

Покоевый чепчик.

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духа

Не верьте ей, не верьте; она лжет! Вот какой делается она набожною! Вот какая притворщица!.. А я со сто раз видал совсем тому противное, что она изволит рассказывать!

Косынка

(с досадою).

Как! ты смеешь сказать!.. Ах, какое поношение!.. Как! я не бываю покровом благопристойности?

Покоевый чепчик.

(с насмешкою).

Так, моя голубушка, так; тебе, конечно, надлежало бы это делать, но сколько раз видал я, что ты совсем не исполняешь сей должности! Ведь кто имеет глаза, тот ясно видит, что ты..

Косынка.

Ну, посмотрим же, господин прозорливец, что такое ты видел?

Покоевый чепчик

(унизив голос).

Не видывал ли я множество раз, что ты открывала свободный путь дерзновенной руке... которая тихо проходила промежду твоими складками, и ты то ей позволяла... Ты, как казалось, без всякой упорности допускала откалывать булавку, которую ты была приколота... и утешалась смущением и стыдливостию той красавицы, на которой ты надета и которую при тебе так нагло оскорбляли... По сему малому твоему сопротивлению можно видеть, что ты сама соучаствовала в том малом почтении, которое тогда было ей оказываемо. Итак, скажи теперь, хитрая обманщица, когда пригожая женщина надевает тебя на свою грудь, не говорит ли она тебе: «я надеваю тебя для того, чтоб ты охраняла меня от стужи и от дерзких покушений воздыхателя?»

Косынка.

Право, ни одна женщина никогда мне этого не говаривала.

Покоевый чепчик.

Однако ж, без всякого сомнения, каждая красавица с таким намерением тебя на себя надевает.

Косынка.

Пусть так, но я зато не берусь, чтоб я одна могла воспротивиться против двух рук, из которых каждая во сто раз сильнее меня. Ежели сама красавица не захочет сделать мне нималой помощи, то как можно требовать от меня, чтоб я одна устояла против сильного приступа? При таком случае сердятся, ворчат, краснеют, усмеваются, притворяются, будто досадуют, будто хотят кричать, и думают, что тем подают мне великую помощь! А я, как вы сами можете посудить, лучше соглашаюсь тогда совсем оставить мое упорство, нежели довести себя до того, чтоб меня разодрали, чтоб сорвали меня с груди и изорвали бы в клочки. Вам легко говорить, друзья мои, но если б вы были на моем месте, то поверяли бы, что такое упорство могло бы стоить моей жизни, а вам известно, что всякому своя жизнь всего дороже на свете.

Сей разговор прервался, наконец, приездом многих щеголих, которые закупили всех спорщиков и спорщиц вместе... Графиня купила ток, княгиня аглинскую шляпку, безыменная и вертопрашная кокетка подцепила покоевый чепчик, а актриса взяла косынку, которая, повидимому, пойдет вместе с нею на театр играть ролю. Бедные уборы, видя столь близкую разлуку и не имея надежды когда-нибудь увидеться,

я и критическая переписка арабского философа Маликульмульк с водяными, воздушными и подземными духами, прощались с такой нежностью и ласкою, каких никогда не оказывают между собою те, кому они достались. По выходе из лавки приезжих щеголих с их покупкою, вышел и я, надеясь впредь найти какой-нибудь способ, узнав совершенно достоинство и преимущество уборов, сделать доставлением их угодность Прозерпине.

Желал бы я, любезный Маликульмульк, как можно скорее исполнить препорученные мне дела и, не занимаясь больше разными пустяками, возвратиться в ад, однако ж видно, что мне здесь довольно еще будет дела.

Письмо XV

От сильфа Световида к волшебнику Маликульмульку
О виденном им на улице у одного дома собрании многих людей. Разговор его с одним из зрителей, который рассказывал, что сия толпа народа собралась у дома г. Людомора, тамошнего аптекаря, который застал свою жену в любовном обхождении с своим сидельцем. Рассуждение о неверности жен и мужей; разговор с офицером о брачных обязательствах, о церемониях при похоронах, о выборе вдовою другого мужа и уведомление о тамошних женщинах, о светских и набожных
Пробыв несколько времени в сем городе, отправился я в другой и хочу уведомить тебя, почтенный Маликульмульк, о некоторых в дороге случившихся приключениях.

Не доезжая за несколько верст до , при входе нашем в один постоянный дом или, лучше сказать, в один трактир, услышали мы вместе с другими дорожными моими сотоварищами превеликий шум и увидели множество людей, собравшихся толпою у ворот соседнего дома. Мы хотели узнать о причине сего собрания, и некто из числа оных уведомил нас о сем следующими словами.

«Государи мои, – говорил он нам, – дом, у которого собралась сия толпа народа, принадлежит г. Людомору, здешнему аптекарю, который в искусстве своем очень прославился. Он сегодня застал свою жену в любовном обхождении с своим сидельцем отчего пришед в превеликое бешенство, ухватил старое свое ружье и хотел из него застрелить своего соперника; но ружье, будучи разумнее и снисходительнее его, не согласилось выстрелить, так что раза с два спускал он курок, однако ж кремень всегда осекался.

Любовник между тем выскочил в окно на улицу, а жена криком своим созвала всех своих соседей, которые, сбегавшись, увидели г. Людомора в исступлении, с ружьем в руках, поражающего любезную свою супругу претолстою дубиною, и с великим трудом могли ее освободить от его бешенства».

«Какое ж сделают наказание, государь мой, – говорил я, – сей жене за измену к своему мужу?»

«А какое ей делать наказание? – отвечивал он мне. – Она еще будет жаловаться на своего мужа, который, не имея никакого свидетеля того оскорбления чести, которое, по его уверению, сделано ему от его сидельца, принужден будет давать ей ежегодное содержание у ее родственников, куда она от него удалилась...»

«Помилуйте! что вы говорите? – вскричал я. – Как можно принуждать мужа платить наличными деньгами жене за ее неверность?»

«Так повелевают наши законы, – отвечивал он мне, – и наши законоискусники, будучи сами снисходительнейшими мужьями, не одно уже дело решили в силу сих законов».

Что подумаешь ты, почтенный Маликульмульк, о замешательстве и беспорядке, царствующих во нравах и обычаях здешних жителей? Они ежедневно твердят о благонравии и похваляются соблюдением правил хорошего поведения, а неверность жен и мужей почитается у них за ничто. Ветренность и непостоянство женщин служат им вместо забавы, и они в собраниях только для увеселения о том друг другу рассказывают. Один офицер, бывший в дороге моим сотоварищем, смеялся моему удивлению. Его слова столь глубоко впечатлелись в мое сердце, что я, сколько могу припомнить, выражу тебе точно теми словами, какими он со мною говорил.

«Видно, – сказал он мне, – что вы сюда приехали совсем из другого света. Как! непостоянная женщина приводит вас в такое удивление? Вы без сомнения, к сему привыкнете, когда поживете сколько-нибудь у нас и забудете столь многоуважаемую вами строгую добродетель». – «Неужели, – говорил я ему, – здесь часто случаются

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами – «такие происшествия, о каком теперь нам рассказывали?»» – «Нет, – отвечал он мне, – не все мужья бывают так глупы, как г. Людомор, а обыкновенно не открывают пред целым светом домашних своих обстоятельств».

«Поэтому видно, – говорил я, – что брачные обязательства здесь очень мало уважаются; по моему мнению, они должны бы были составлять блаженство в человеческой жизни, а не несчастья». – «О, как вы ошибаетесь! – сказал он мне. – Мы уже привыкли к таковым несчастьям. Участь наших, соседей, наших сродников и наших друзей приуготовляет нас с самой юности к сношению собственной нашей судьбы и лишают всякого огорчения. Знайте, что брак у нас почитается некоторым родом торга. Здесь берут жену, равно как бы покупали кусок материи: одну покупают мерою на аршины, а другую ценят без меры полновесными червонцами».

«Из сего я заключаю, – отвечал я ему, – что здесь жена должна очень мало любить такого мужа, который, женись на ней, ничего в ней не искал любви достойного, кроме ее богатства, и она не должна нимало сожалеть о лишении такого супруга».

«О, конечно! – сказал он мне захохотав. – Здесь очень мало вдов умирает от печали, лишившись мужей своих; однако ж при похоронах соблюдают они превеликие церемонии. У нас, как скоро какая женщина лишится своего мужа, то вы сначала, увидя ее огорчение, подумаете, что все несчастье ее совершилось, потому что она тогда запирается в своем доме, из которого выносят все обыкновенные украшения и в коем все стены обвешиваются черным сукном; тогда всякий бы подумал, что она живая заключилась в гробницу. При малейшем воспоминании о покойнике глаза ее делаются двумя источниками, из которых истекает вода в превеликом изобилии. Ее вопли и отчаяние оказываются явно пред всеми, но ежели кто увидит ее наедине, то приметит, что с самого первого дни она внимает утешения от искренних друзей своих. Друг или приятельница прилежно стараются ей представить, что она еще в таких летах, в которых не должна быть живые погребенною; они ей говорят: «Ты еще молода, прекрасна и любви достойна; неужели ты хочешь скрыть от света все твои прелести: очень мало същется мужчин, которые не почли бы себя счастливыми, чтоб заступить место умершего твоего супруга; поверь мне, сударыня, что я тебе подаю совет от искреннего сердца; тебе известно, какие имеет о тебе мысли такой-то граф или князь; он чувствовал к тебе любовь еще при жизни твоего мужа, так неужели ныне не пожелает с великим удовольствием занять его место?» Вдова при сих словах потупляет глаза и жеманится. После того любовник делает ей благопристойное посещение, и его присутствие совершенно ее уверяет так, что, наконец, прежде еще, нежели погребение умершего совсем кончится, вдова избирает уже себе другого мужа».

Слышанное мною от сего офицера о их женщинах возбудило во мне превеликое желание узнать о свойствах их обстоятельнее.

«Государь мой, – говорил я ему, – сказанное вами рождает во мне любопытство. Не прогневайтесь, что я, будучи здесь иностранцем, осмеливаюсь вас просить о уведомлении меня подробнее о здешних женщинах, и я буду вами очень одолжен, когда вы, подав мне лучшее сведение, через то доставите способ судить о них по их достоинству».

«Наши женщины, – отвечал он мне, – могут быть разделены на два рода: первый заключает в себе всех вообще светских женщин, а во втором считаются набожные. Их образ жизни в двух столь различных состояниях стремится однако ж к одной цели, и хотя разными путями, но всегда кончится ветреностию и непостоянством. К сей-то цели достигают они все по различию своих свойств, но, чтоб дать вам яснее о сем понятие, то я уведомляю вас о каждом из сих свойств особенно.

Светская женщина не прежде должна вставать с постели, как в три часа пополудни, а как у нас почитается за неблагопристойное, чтоб жена жила с мужем своим в одних покоях, то для того живет она на другой половине дома, и иногда по несколько недель муж и жена друг с другом совсем не видятся и не промолвят между собою ни одного слова, разве только в публичных собраниях или на бале и в комедии. Итак, светская женщина не успеет еще порядочно одеться, как уже посылает служителя к знакомым своим: или к графине или к княгине, спросить о их здоровье и условиться куда-нибудь вместе ехать. Послеобеденное время проходит в церемониях, комплиментах и в принятии посещений. По пробитии пяти часов она еще не совсем решится, куда ей ехать: в комедию ли, или на бал; и если когда случится, что она приглашена куда-нибудь к ужину, то для того дает преимущество

я и критическая переписка арабского философа Маликульмульк с водяными, воздушными и подземными духами театральному зрелищу; откуда выходит, занявшись теми любовными хитростями, которые там видела представляемые, и потом вино, хорошее кушанье и вольность, между всеми за ужином употребляемая, воспаляют мысли ее пущим жаром, и она по выходе из-за стола, прежде возвращения домой, прохладждает оный с своим любовником до пяти часов утра, и тогда-то уже показавшийся день, против воли ее, принуждает ее отправиться домой.

Набожная, напротив того, с великим старанием удаляется от сих шумных бесед и от такой беспорядочной жизни, но удовлетворяет страстям своим в приятном уединении. Вертопрах и модный щеголь приводит ее в соблазн; его ветреные поступки чрезмерно ее оскорбляют; он может в одну минуту лишить ее той славы, которую она в три года приобрела уединенною и воздержною своею жизнью; а она избирает своим любовником учителя детей своих, и они оба почитают для себя необходимостью быть скромными, ибо сама малейшая нескромность лишила бы госпожу приобретенной ею славы, а учителя выгодного места и того уважения, которое он лицемерием своим получить от всех надеется.

Есть еще здесь некоторый род набожных мужчин, которых они иногда в нужных случаях употребляют и кои более всех уважаются по своей скромности; они втираются в лучшие дома в звании душевных наставников и путеводителей на стезю спасения и обещают руководствовать к небесному жилищу всех в доме без изъятия. Муж первый бывает им обманут и каждый день сам ублажает счастливое знакомство того, который наносит ему бесчестие и украшает голову его великолепным головным убором».

Какое распутство, почтеннейший Маликульмульк, какой беспорядок! Признаюсь, что с трудом мог я поверить тому, что мне сей офицер рассказывал; но, поживши здесь несколько времени, может быть, сам узнаю о всем собственным своим опытом; и ежели все сказанное мне справедливо, то посуди, можно ли жить между такими людьми! По крайней мере, я благодарю судьбу, что я не человек, а дух, и что на несколько только времени по собственному моему желанию сделался человеком. Прощай, почтенный Маликульмульк, не премину тебя впредь уведомить, что примечу еще любопытного.

Письмо XVI

От гнома Буристана к волшебнику Маликульмульку
О входе его в оперный дом. Разговор с одним актером, который приглашал его вступить в их шайку, то есть сделаться комедиантом; рассуждения о комедиантах и о игрании на театре разных роль. О согласии его вступить в сию шайку. Вход его на театр, представление к товарищам его комедиантам и похвалы ему, от них деланные. О игранной тогда новой трагедии в 8 действиях 12-стопными стихами; описание характеров всех действующих лиц в оной
Подавно, прогуливаясь по городу, увидел я дом, у которого теснилась толпа народа; я возвел в сени, чтоб спросить, что это значит, как взял меня за руку молодой человек. «Государь мой, – сказал он, – еще очень рано, не угодно ли вместе со мной прогуляться, и я вам после в сем доме покажу вещи, подлинно достойные удивления».

Радуюсь товариществу, вышел я с ним из сеней и пошел по вымощенной красным мрамором улице. Как был я в самом простом платье и не столько должен был отвечать на поклоны, то потому без всякого помешательства мог иметь с товарищем моим следующий разговор.

«Признаться, что в большом свете очень тесно жить без денег, – сказал я, – соблюдая имя бедняка, а еще несноснее видеть, что люди недостойные пользуются богатством, а мы, которые чувствуем, что могли бы принести пользу государству, совсем позабыты, что существуем на свете».

«Это правда, сударь, – отвечал он, – что хотя куча бедняков больше, нежели богатых, однако ж со всем тем их не примечают. По крайней мере, нам служит одно то утешением, что мы не первые на это жалуемся. Впрочем, видя по лицу вашему в вас честность и имея способы вам помочь, я за долг почитаю этим вам служить. – Послушай, друг мой, – сказал он, вдруг переменяя голос, – ты кажешься мне так беден, что с трудом можешь себя поправить; правда, хотя на нашем острове можно надеяться на хитрость, но состояние твое так мало, что тебе нельзя сделать никакого плутовства, не быв за то повешену или высечену розгами. Хочешь, ли ты, чтоб я дал тебе хлеб? вступи в нашу шайку, я в ней старшиною и обещаю тебе мое

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами «покровительство».

Я. А какая это шайка? Не одна ли из тех, которые, как сказывали мне, состоят из ярмоночных врачей, бродящих без всякого знания с своими пузырьками, порошками и пластырями, коими, как язвой, переводят они большую половину ваших добродушных земляков?

Он. Нет, они ныне не бродят шайками, а живут на нашем коште на одном месте и дожидаются в своих домах охотников отправиться на тот свет.

Я. Так не из тех ли она состоит эфунопалов[4], которые, ходя по селам и по городам, сказывают сказки, брав за то дорогую цену; которые одни имеют хитрость вдруг: и брать милостыню, и налагать подати, и продавать какие-то моральные лекарства от физических болезней, за которые им платят очень много, хотя никто от них не вылечивается.

Он. Нет, и они уже ныне не ходят шайками, а на наш счет построили школы, и всякий город ставит себе за честь содержать по несколько сот таких эфунопалов. Правда, им скучно было привыкнуть к такой жизни; но зато приумножение их доходов их утешает. Они и ныне продают неизлечающие лекарства, налагают подати, берут милостыню, получают от нас жалованье и торгуют очень прибыльно жизненными каплями, обнадеживая, что, кто их принимает, будет жить 3000 лет. Но оставим их; я предлагаю тебе вступить в нашу шайку, которая сегодня будет играть в этом доме, – то есть чтоб ты сделался комедиантом.

Мне очень хотелось посмотреть, до какой степени простирается самолюбие самых последних званий, а для того хотел я несколько унижить звание комедиантов и послушать, каково оно будет защищено своим членом.

«Как, сударь, – сказал я, – вы советуете, чтоб я вступил в столь презренный и подлый промысел!»

Он. Потихе, государь мой! вы живете в обществе, а не знаете учтивости, которая употребляется на нашем острове, и при мне называете подлым ремесло, в котором я нахожусь, но я не сержусь никогда на вспльчивость молодого человека и уверяю вас, что мое ремесло ничем не хуже других. Скажите, что вы в нем находите дурного?

Я. Во-первых, то, что это ремесло всеми почитается подлым.

Он. Это одно только предрассуждение. Приказный человек нимало не уважает военного состояния; воин бранит приказных; купец хвалит свое звание, а лекарю нравится свое. Негодный промысел есть только тот, который приносит более вреда, нежели пользы, а наш приносит больше пользы, нежели вреда. И самая низость сего звания полезна для того, что поведение комедианта не берется в пример и он своею худою жизнью не заражает целого народа, а добродетельною не делает лицемеров, старающихся ему подражать и под видом благочестия производящих тысячу разорений. Комедиант не имеет случая сделать несправедливого суда; угнетать каким-нибудь откупом целый город; проманивать по двадцати лет бедных просителей, не делая ничего и живя их имением. Вся власть его ограничивается только тем, что изображает на театре пороки. Он может поправить те части злоупотребления, до которых не достигают законы и которые более вреда и разорения приносят государству, нежели самые хищные откупщики.

Я. Это правда, но надобно быть очень твердо, чтоб сносить презрение.

Он. Презрение! его достойны только низкие души, а не низкие звания. Я знаю человека и в моем промысле, с которым многие честные и разумные вельможи ищут знакомства; знаю также некоторых знатных, которыми, несмотря на их великолепие, гнушаются и низкие люди; но если ты охотник до знатности, то я позволю тебе на театре играть роли самых знатных людей.

Я. Вы очень унижаете истинную знатность, сравнивая ее с театральной.

Он. Это сравнение справедливо. Как скоро ты на театре играешь знатную роль, тогда все другие лица стараются оказывать тебе почтение; правда, что за театром оно исчезает, но не то ли же самое делается и с вельможею? Как скоро он входит в знатность, тогда всякий старается пред ним казаться униженным, всякий оказывает

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами, ему обожание, все его хвалят, все ему льстят; но лишь только сила его исчезает, тогда все его приближенные снимают перед ним свои маски; им кажется он обыкновенным человеком, и они, оставляя его, идут к другому читать ту же самую роль, которую читали перед ним.

Я. Это правда, что тут есть некоторое сходство, но быть народным шутом! это очень тягостно.

Он. Напротив того, это очень весело. Лучше заставлять народ смеяться или принимать участие в мнимой своей печали, нежели заставлять его плакать худыми с ним поступками. Есть шуты, которые очень дорого стоят народу, но мало его забавляют, а мы из числа тех, которым цена назначается от самих зрителей, по мере нашего дарования и прилежности, а не происками и не по знатности покровителей; сверх же того, мы из числа тех шутов, которые не подвержены пороку публичной лести: мы и перед самими царями говорим, хотя не нами выдуманную, однако ж истину; между тем как их вельможи, не смея перед ними раскрывать философических книг, читают им только оды и надутые записки о их победах.

Я. Я отдаюсь, наконец, на вашу волю, но только с тем, чтоб играть мне иногда короля, иногда разносчика, иногда судью, а иногда ветошника: меня очень будут забавлять такие перемены.

Он. Пойдем, я согласен, и это одна из наилучших выгод комедианта. В сем он подражает величайшим философам; ибо он после царя с таким жевеселием бывает разносчиком, с каким равнодушием после разносчика бывает царем; чего лишены актеры большого театра, называемого светом.

Новый мой покровитель ввел меня в залу.

«Вот, друзья мои! вам новый товарищ, – сказал он нескольким стоящим в кругу царям, царицам, скороходам и крестьянам, которые все вместе рассуждали о каком-то политическом предприятии их острова. – Его осанка, – продолжал он, – его рост и хороший стан подают нам немалую надежду, что он будет исправный царь». После сего короли и лакеи очень пристально зачали на меня смотреть и что-то шептали между собою, а королевы говорили вслух, что они ни на каком театре лучше меня царя не видывали. Такая похвала заставляла иногда на меня коситься новых моих товарищей; но я, мало о том заботясь, пошел в амфитеатр, чтоб посмотреть новую трагедию, которую тогда давали. Множество зрителей ожидали с нетерпеливостью открытия занавесы, и, наконец, минута эта наступила. Трагедия была сочинена по вкусу островитян в 8 действиях двенадцатистопными стихами. Действующие лица были очень порядочно связаны, и как я еще несколько помню ее содержание, то расскажу тебе, почтенный Маликульмульк, подробнее.

Главный герой трагедии был некоторый островский Дон-Кишот. (Это один роман гишпанский, стоящий любопытства; я тебе его пришлю. Впрочем, ты, путешествуя по разным странам, может быть, видал многих и знатных Дон-Кишотов.) Он был вдруг: философ, гордец и плакса; актер по смыслу слов очень изрядно поддерживал свой характер; он храбрился в тюрьме, читал на театре рассуждения тогда, когда надобно ему было что-нибудь делать: будучи простолюдимом, гордился пред государем и плакал пред своею любовницею, как дитя от лозы, когда она делала ему ласки, а чтоб ему чаще хлопали, то он, оборотясь к зрителям, почти при всяком стихе твердил им, что он их одноземец. Островитяне иногда краснелись, что такой чудак родился между ими, однако ж нередко хлопали ему в ладоши, чтоб не заснуть от праздности.

Другая, то есть его любовница, была царская дочь; она была несколько его поумнее, но столько хвалила своего любовника, как будто бы желала выйти за него без приданого, хотя и не видно было, подлинно ли имела она это намерение, будучи богаче своего жениха. Третье лицо изобразить хотело какого-то злодея. Писатель характер его заключал в словах, а не в действии. Он ничего не делал, но иногда кричал, что он всех перережет и передавит; а между тем, когда он спал на театре, то самого его удавили в седьмом действии, и осьмое доигрывается уже без него.

Наконец, четвертый, как говорят, был прекрасный характер; на нем основывалась вся трагедия; сказывают, что это был предобродетельный человек, и им окончилось зрелище; но жаль только того, что автор не выводил его на театр. Может быть, добродетельный характер был для него слишком труден.

Письмо XVII

От гнома Зора к волшебнику Маликульмульку

О женитьбе г. Припрыжкина. Разговор о его невесте. О езда с ним вместе в ряды для закупки к свадьбе уборов. Разговор с купцом о дороговизне товаров, который рассказывает, что они иногда серебро продают дешевле стали, а шелк дешевле соломы; показывает ему стальные эфес, цепочки, женские поясные и шляпные пряжки. Зор покупает стальную цепочку за 230 р. Рассуждение о том, какую пользу и какой вред таковая дороговизна приносит государству. О бале в доме у невесты, обхождение г. Припрыжкина с Неотказою, своею невестою, и о матери невестыной. Разговор с одним гостем о том, каким образом там почитается женитьба.

Неудовольствие г. Припрыжкина на свою будущую тещу, которая в него влюбилась, почему почитает, что он принужден будет весь вечер пробыть у ней, не выдавшись с прекрасною танцовщицею

Извини меня, любезный Маликульмульк, что я давно к тебе не писал; это не оттого, чтоб мне было нечего писать; но я столько занят делами и окружен столь многими предметами, что, не зная, за что приняться, впал в нерешимость и долго бы в ней пробыл, если бы мой молодой Припрыжкин не подал мне причины к размышлению, которое выбило у меня на время из головы все другие предметы.

«Поздравь меня, любезный друг, – сказал мне Припрыжкин, – с исполнением трех главнейших моих желаний». – «Как! – вскричал я; – неужли ты оставил свет! собрал хорошую библиотеку! и нажил себе искренних друзей!» – «Вот какой вздор! – отвечал он, – я никогда этого не желал, как только один раз в жизни, когда недавно проигрался и был без денег; о, тогда я был великий философ! Но, любезный друг! ты знаешь нынешний свет и нашу мягкую философию, которую и у лучшего нашего философа один рубль испортить в состоянии. Нет, у меня есть другие гораздо основательнейшие желания, которые небу было угодно исполнить. Поздравь меня, любезный друг, – продолжал он, меня обнимая, – с тем, что я сыскал цуг лучших аглинских лошадей, прекрасную танцовщицу и невесту; а что еще более, так мне обещали прислать чрез несколько дней маленького прекрасного мопса; вот желания, которые давно уже занимали мое сердце! Представь не благополучный ли я человек, когда буду видеть вокруг себя столько любезных вещей! Я умру от восхищения! – Прекрасный мопс! – невеста! – Цуг лошадей! – Танцовщица! – О! я только между ими стану разделять свое сердце! Я принужу их, чтоб они все равно меня любили... и если не за других, то, конечно, за собачку парирую тебе всем, что она будет меня любить, как родного своего брата».

Такое прекрасное начало в первый раз заставило меня узнать, каким образом здесь женятся, и я захотел получше разведать, что значит здешняя женитьба. «Поздравляю тебя, любезный друг, – сказал я ему, – с исполнением твоего желания, а более всего с невестою; я уверен, что ты не ошибся в твоём выборе». – «Конечно, – сказал он, – лошади самые лучшие аглинские!» – «Я о твоей невесте говорю, – продолжал я, – не правда ли, что она разумна?» – «Уж, конечно; говорят, что лучше ее со вкусом никто не одевается». – «Вез сомнения, она добродетельна?» – «В том я верю ее матери, которая говорит, что дочка ни в чем от нее не отстала; а эта барыня может служить примером в добродетели... Она вечно или перебирает свои чётки на молитве, или бьет ими своих девок; а достальное время проводит в набожных разговорах наедине с своим учителем богословия». – «Я думаю, что она прекрасна?» – «О! что до этого, то я никому, кроме своих глаз, не поверю; но я еще не успел ее видеть». – «Как! – сказал я, – ты женишься и не знаешь своей невесты?.. Да чем же она тебе так нравится?» – «Тридцатью тысячами дохода, – отвечал он мне с восхищением: – неужели ты думаешь, что это шутка? Если мне танцовщица будет стоить и двадцать тысяч, то все еще у жены останется десять, к которым приложу мой доход, мы можем с нею жить, делая честь нашему роду. Что же ты смотришь на меня, вытараща глаза? О! как можно в тебе узнать уездного дворянина! Я вижу, что тебе в диковинку такие свадьбы, а это оттого, что ты еще не знаешь модного общежития; будь же свидетелем моей женитьбы и приучайся к правилам света».

После сего подхватил он меня в свою карету, и мы поехали с ним в ряды для закупки к свадьбе ему уборов.

Купцы наперекор просили нас в свои лавки и кричали, что у них есть самые дорогие товары; некоторые, правда, говорили, что у них есть лучшие, но у таких простяков, как я приметил, покупали очень мало. «Друг мой, – сказал я одному из сих купцов, – скажи мне, неужели здесь товары не потому выбирают, что они лучше, а потому, что дороже? То правда, что лучшие должны быть дороже; но я

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами примечая, что это у вас редко вместе встречается».

«Государь мой! – отвечал мне купец, – будьте уверены, что я имею все должное почтение к таким господам, как вы и его сиятельство г. Припрыжкин, и я бы думал обидеть его милость, если бы показывал ему лучшие товары, а не те, которые дороже; да и он, конечно, сочтя меня за невежу, пошел бы искать товаров в другие лавки. Были, правда, здесь варварские времена, когда у нас спрашивали лучшего, но просвещение переменяло такие грубые нравы, и мы ныне нередко берем за серебро обыкновенную цену, т. е. по 24 копейки и менее за золотник; а за такой же золотник стали платят нам по 120 рублей. За шелк берем мы самую умеренную цену, а за связку соломы недавно брали по 400 и по 500 рублей; но, по несчастю, наши барыни недолго пользовались приятною вольностию платить за солому дорогую цену, и мы принуждены были поровнять ее ценою, не более, как с лучшею золотою парчею. Мы были бы в отчаянии, если бы дорогая цена стали не утешила нас в умеренной прибыли от соломы. Вот, сударь, – продолжал он, показывая мне, – стальной аглинский эфес, который стоит 110 рублей».

«Я тебе сию минуту плачу за него деньги, – сказал я, – но скажи мне, чего он в самой вещи стоит?» – «Я боюсь, – говорил купец, – что он из самой лучшей аглинской стали; железа тут не более, как на 9 коп. Работа агличанам, может быть, стоит не больше полфунта стерлингов или два крона, что на здешние деньги сделает 2 рубля 20 копеек[5]. 52 рубля 80 коп. мы даем им прибыли; а достальные 55 рублей я имею честь брать с своих просвещенных земляков». – «Этого бесчеловечнее ничего быть не может!» – вскричал я. «Не угодно ли, сударь! – говорил купец, – посмотреть еще аглинских стальных цепочек, женских поясных и шляпных пряжек и шляпных петель; будьте уверены, что я уступлю вам за самую сходную цену». – «Что стоит эта цепочка?» – спрашивал я, указывая на одну подлинно изрядно сделанную. «Последнее слово 230 рублей, – отвечивал купец. – Я не говорю о настоящей ее цене, – продолжал он, – она вам известна; но я уверен, что это не помешает вам купать так хорошо выработанную вещь».

Чтобы сдержать мое слово, я заплатил ему за три золотника стали 230 рублей. «Но скажи мне, – говорил я купцу, – неужели это не делает вреда государству и какую может приносить ему пользу?» – «Польза очень не мала, сударь, – отвечал купец: – во-первых, нас почитают богатыми потому, что мы за безделицы платим дорого; вкус наш в великой славе потому, что такие прекрасные вещи нигде такие расходятся, как здесь; наши знатные господа, бывши одеты с ног до головы в такие драгоценности, подают великое мнение иностранным о своей знаменитости... Вот, сударь, пользы от дорогих товаров... Правда, есть также и вред, но он почти неприметен, и об нем не для чего думать. Эта безделица, сударь, вся состоит только в том, что наши мужики иногда умирают с голоду и в городах всему необходимому великая дороговизна». – «Ты шутишь, – сказал я, – неужели такие безделицы, каковы аглинские стальные цепочки, пряжки, пуговицы, петли или такие мелочи, каковы французские соломенные шляпки, блаженной памяти соломенные накладки и прочие подобные сим вздоры могут принести такой вред государству? Пожалуй, мне это растолкуй».

«А вот, сударь, – продолжал купец, – между тем, как ваш приятель покупает у моего сидельца нужные для него товары, я вам в коротких словах об этом расскажу. Например, его сиятельство г. Припрыжкин вздумал жениться; ему неотменно надобно к свадьбе множество таких мелочей; деньги на них он должен брать с своих 4000 душ крестьян; в одну минуту посылает он приказ собрать с них к будущему году 80 000 рублей. Мужички, получа такое строгое повеление и не надеясь одним хлебопашеством доставить своему господину такую сумму, оставляют свои селения и бредут в города, где обыкновенно более можно выработать денег; вместо сохи и бороны, берут они лопаты и топоры, становятся каменщиками, плотниками или разносчиками; днем работают, а по ночам, чтоб лучше собрать свой оброк, взыскивают его с прохожих. Город, вместо того чтоб получать от них хлеб, должен бывает сам их кормить и, сверх того, еще платить им деньги. От таких-то гостей становится все дорого. Мужики стараются вымещать это на ремесленниках, ремесленники на купцах, купцы на господах, а господа опять принимаются за своих крестьян. К концу года крестьяне возвращаются в свои жилища с деньгами, отдают 80 000 рублей господину, а на достальные 10 000 рублей посылают в город купить себе хлеба, которого им становится мало до будущего года. Итак, города терпят недостаток, деревни голод, граждане дороговизну, а его сиятельство остается при новомодных галантерейных вещах и празднует несколько дней великолепно свадьбу с своею почтенною невестою, которая, с своей стороны, щегольством такую же приносит пользу государству».

Между тем г. Припрыжкин кончил торг с сидельцем моего красная и, отсчитав ему 6000 рублей за такие прекрасные товары, радовался, что заплатил дороже всех за свою покупку. Надобно думать, что и невеста не менее делала приуготовлений.

На другой день после сего у невесты в доме был бал, где было такое же собрание, о котором я тебя раз уведомлял, с тою только разностию, что тут были без масок и не платили денег. Невеста и жених, в первый раз увидевшись, через десять минут сделались так коротки, как будто были уже десять лет обвенчаны. Ему позволяли некоторые вольности жениха, но я заметил, что не один он пользовался таким правом. Неотказа (так называлась молодая невеста) была так благосклонна ко всем мужчинам, что, казалось, будто она за всех за них выходит замуж. О своей стороны, и Припрыжкин ей не уступал; он всякую женщину почитал своею невестою, и всякая женщина была так к нему снисходительна, что почитала его своим женихом или еще и более. Я заметил между прочим, что мать невестина, женщина набожная, очень долго разговаривала у окна с будущим своим зятем с весьма важным видом. «Вот женщина умная, – сказал я сам в себе: – она, конечно, дает ему наставление в добродетели и в будущем хозяйстве». Но ты узнаешь скоро, любезный Маликульмульк, что я имел причины пенять себе в безвременно сделанной похвале сей старушке.

Прохаживаясь по залу, вздумалось мне хорошенько расспросить про здешнюю женитьбу, и для того зачал я разговор с одним, повидимому, постоянным и скромным гостем. Слова наши были наперед о мелочных вещах, как-то о погоде (здесь очень часто начинаются преважные разговоры вопросом: какая на дворе погода? или: который бы, вы думали, час?); наконец я довел разговор до женитьбы. «Признаюсь, сударь, – говорил я ему, – что я очень радуюсь счастью моего приятеля Припрыжкина: женитьба есть такое утешение в жизни, что она отъемлет у человека половину горестей в оной. Как весело разделять время с прекрасною и добродетельною женою, которой нравы во всем согласны с мужниными! Хорошая женщина – любезный товарищ в уединении, и наставления разумной красавицы скорее исправить могут, нежели десять скучных поучений какого-нибудь грубого старика; а основательному, но не гибкому разуму мужчины не худо иметь себе в общегитии советником пронизательный женский разум; и самые упреки из уст любимой женщины кажутся приятны».

«Из Америки или из Сибири изволили вы сюда прибыть? – спросил меня незнакомый. – Я очень любопытно желал бы услышать от вас о тамошних диких народах; по вашему вопросу мне кажется, что они еще не лишились своей невинности, видно, что письма о развращении их нравов, полученные мною, несправедливы».

«Государь мой! – отвечал я, – очень бы я рад удовольствоваться ваше любопытство, но признаюсь, что я не был столь далеко отсюда, а приехал прямо из одной здешней провинции для покупки модных уборов моим родственницам; однако ж, чтобы впредь не быть мне смешным такими вопросами, прошу вас, пожалуйста, расскажите мне, каким образом здесь почитается женитьба?»

«Очень просто» – отвечал он мне, – и это и коротких словах рассказать вам можно. У нас с женою так же поступают, как с платьем... Приходят в ветошный ряд, выбирают то, которое побогаче, платят за него деньги и относят домой; тогда-то уже увидят, что платье или не впору, или дурно шито, и, усмотри свою ошибку, вешают его в гардероб, на место его выбирают другое и на него никогда уже не взглядывают, а только пишут его в реестре своем, хотя нередко камердинеры и знакомые им пользуются... Вот история женитьбы, с малою, однако ж, разницею. Тот, кто хочет жениться, проводывает о невестах; к нему приходят и сказывают, что такая-то девушка приносит за собою в приданое 10000 рубл. доходу; часто, не любопытствуя далее, он посылает к ее отцу сказать, что он такого-то чина и стольких-то душ владетель, хочет на ней жениться. С обеих сторон справляются с великим прилежанием в истине сих уведомлений и потом начинают свадьбу; если же после, как то часто случается, ни жена, ни муж друг другу не понравятся, то всякий утешает себя, как может, и делают добровольно уговоры, чтоб не вступаться в некоторые безделицы, которые прежде сего мужей и жен краснеться заставляли. И таким образом муж, не сходясь с своею женою несколько лет, может надеяться быть не последним в своей фамилии, а жена имеет удовольствие приписывать своему мужу все домашние дела, которыми часто вертят комнатный служитель и человека четыре посторонних.

Дети, которые приписываются такому прекрасному супружеству, воспитываются с

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами равною с обеих сторон прилежностью. Муж, не почитая это за свое дело, думает, что и того довольно с его стороны сделано, когда они носят его имя, а жена, видя, как мало думает о них тот, кто причиною их рождения, сама старается перещеголять его в нерадении; и такие-то прекрасные отрасли готовятся со временем занимать какие-нибудь важные места в государстве!»

Лишь только окончил он свою речь, как Припрыжкин, подошедши, отвел меня к стороне... «Доволен ли ты, любезный друг, своею будущею тещею?» – спросил я его.

«Можно ли спрашивать меня об этом! – сказался: – когда ты видишь, в каком я смущении; представь, что эта старая хрычовка в меня влюблена! и как видно, что старушка жалуется скорые решения, то, по ее словам, я очень ясно заключаю, что мне не видать ее дочери за собою до того времени, покуда...» – «О чем же ты думаешь? – вскричал я: – оставь эту старую фурию; неужели ты хочешь быть до такой степени развращен?»

«Вот какое дурачество! – сказал Припрыжкин, – чтоб я пожертвовал тридцатью тысячами дохода для такой мелочи; будь уверен, что я не столь своенравен, и если я теперь в досаде, то это не оттого, чтоб я старался презирать мою дорогую тещу». – «Что ж! разве ты страшишься, чтоб не узнали люди о таком преступлении?» – «Вздор! что кому за нужда до чужих дел!» – «Или не хочешь, чтоб твоя невеста свела о сей измене?» – «Совсем не то: хотя невесту свою вижу я и в первый раз, но как у многих моих приятелей видал я ее портреты, которые без всякого прекословия переходили из рук в руки и доставались многим, то из того заключаю, что и подлинник не упрямее своих списков, итак, поэтому не думаю, чтоб она на меня слишком осердилась за непостоянство».

«Что же тебя так беспокоит?» – «То, – отвечал с досадою молодой Припрыжкин, – что я сего вечера дал слово быть у моей прекрасной танцовщицы, а если эта старая хрычовка не отвяжется от меня с своими любовными изъяснениями, то я лишусь приятного удовольствия увидеться с театральною нимфою, а принужден буду проводить скучные часы с гадкою старухою».

По счастью господина Припрыжкина, сей день кончился без дальних для него хлопот с будущею его тещею, потому что к вечеру нашел он отговорку, чтоб уехать для свидания с своею танцовщицею, и мы с ним вместе поехали; меня завез он в тот дом, где я живу, а сам поскакал к своей сирене.

Прости, любезный Маликульмульк, я скоро тебя уведомя, чем кончится такая знатная свадьба, которую Припрыжкин торжествует на счет своих 4000 душ.

Письмо XVIII

От Астарота к волшебнику Маликульмульку

О разговоре с одним молодым человеком, желающим вступить в должность секретаря. Рассуждение о крючкотворцах, жадных к прибытку, и о плутнях их, которые они для уловления бедных челобитчиков в свои сети употребляют

В последнем моем к тебе письме, мудрый Маликульмульк, упоминал я о некотором молодом человеке, который, имея намерение определиться в какой-нибудь приказ секретарем, требовал в том моего совета. Он столь же был беден и так же умирал с голоду, как и приятель его стихотворец.

«Наставь меня, – говорил он мне, – должен ли я вступить в сию должность и могу ли надеяться, что посредством оной поправлю бедное свое состояние».

«Будущее, – отвечал я ему, – столь же сокрыто от бесов, как и от людей, однако ж, рассматривая подробно настоящие обстоятельства, можем мы несколько предузнавать, что впредь с кем случится. Итак, скажи мне, какие главнейшие причины побуждают тебя вступить в сию должность? Если жадность к прибытку составляет предмет твоих желаний, то надеешься ли ты на свою совесть, что не тронется она воплем бедных сирот, у которых алчный корыстолюбец, посредством твоего старания, отнимет последнее их имущество? Чувствуешь ли ты в себе столько ябеднической твердости, чтоб грабить своих ближних без малейшего угрызения совести? И, наконец, надеешься ли столько на знание свое в крючкотворстве, чтоб нагую истину в глазах безграмотных судей переодевать в различные наряды по своему благорассуждению? Ежели есть в тебе сии необходимо нужные для корыстолюбивого секретаря качества, то, не мешкая нимало, исполний свое намерение, и я предсказываю тебе, что, наполняя свои сундуки имуществом

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами ограбленных тобою людей, будешь ты очень богат».

«Я никогда так подробно не рассуждал, – ответственвал он мне, – однако ж признаюсь, что, желая вступить в сию должность, смотрю более всего на прибыль и уверен, что большая часть будущих моих собратий так же о том думают, как и я. Сыщется ли из них хотя один, который бы пожертвовал неусыпными своими трудами для приобретения той пустой и ничего не значащей славы, которая последователей своих нередко препровождает в богадельню? Собственная польза должна быть гораздо драгоценнее, нежели польза вдов и сирот. Виноват ли секретарь, что нет у них денег? В нынешние просвещенные времена даром ничего не делают».

«Ого! – вскричал я с восхищением: – я предвижу, что, имея такие мысли, ты будешь со временем очень счастлив; ты достоин быть не только секретарем, но и судьей. По словам твоим всякий подумает, что ты состарелся в приказе и что уже лет сорок упражняешься в крюкотворстве. Принимайся, друг мой, поскорее за сей промысел; уверяю тебя, что ты ничего лучше сего не сделаешь».

«Мне кажется, – ответственвал мне нововыпечатанный секретарь, – что тыне очень хорошего мнения как обо мне, так и о будущих моих сотоварищах, однако ж я многими примерами могу тебе доказать, что и между ими есть множество честных людей, достойных всякого почтения».

«В этом я не сомневаюсь, – ответственвал я ему, – однако ж сих, упоминаемых тобою, добросовестных секретарей столь мало, что, в сравнении со множеством пристрастных к акциденцииможно их почесть за совершенную редкость. Когда приходят мне на мысль все те плутни, которые они, для уловления бедных челобитчиков в ябеднические свои сети, употребляют, то не могу удержаться, чтоб не похвалить благоразумных и судопроизводстве обрядов некоторых азиатских народов, кои для отправления правосудия не имеют нужды ни в выписках, которые более затмевают дела, ни в справках, которые вконец разоряют бедных челобитчиков; все сии запутывающие и самые справедливейшие дела ябеднические крючки у сих народов, коих просвещенные европейские жители называют варварами, совершенно неизвестны. Там жадный стряпчий, бессовестный судья и бездушный секретарь не имеют способов обогащаться имуществом ограбленных ими просителей, и если б, к твоему несчастью, родился ты в каком азиатском городе, то сколько бы ни употреблял старания, чтоб одному делу дать два различные вида или чтоб яснейшую истину обратить в сомнительную, однако ж все то нимало бы не послужило к твоей пользе. Там умер бы ты с голоду или, может быть, в награду за твои плутни отвесили бы тебе несколько сотен ударов палкою по пятам. Итак, если б в европейских присутственных местах поступали с приказными служителями по азиатскому обыкновению, то все твои товарищи сделались бы столько же честными, сколько теперь корыстолюбивы. Принимаясь за какое дело, не преминули бы они прежде сами себе сказать: «Понеже де плутни наши вознаграждаются здесь ниспадающим на нас палочным дождем, того ради надлежит пеchись елико возможно, дабы честностию и бескорыстием предохранить спины наши от вышереченного за беззакония наши истязания». Но, к несчастью европейцев, судьи и начальники у сих просвещенных народов не так думают, как азиатские наши и кадии. Всякое судебное дело, как бы худо ни было, находит своих защитников, и чем которое несправедливее, тем более искусный секретарь надеется получить от него прибыли, и сии-то ябеднические и запутанные дела составляют главнейшие его доходы».

«Я вижу, – ответственвал мне молодой человек, – что ты не весьма уважаешь тем промыслом, в который я вступить намереваюсь; однако ж всем довольно известно, сколько нужен он в государстве; конечно, в аде совсем иначе о том думают».

«А это происходит оттого, – ответственвал я, – что у нас вашу братью лучше знают, нежели здесь; однако ж я должен тебе признаться, что ничего не может быть почтеннее, как искусный и беспристрастный секретарь: нет такого достоинства, в которое бы он, по заслугам своим, не мог быть возведен. Множество, как прежде было, так и ныне есть таких людей, которые честностию и бескорыстием из простых писцов произошли в первейшие чины в государстве. Но сие до тебя не касается; ты больше привязан к корыстолюбию, нежели к добродетели, итак, продолжай, как начал; я тебе отвечаю, что в скором времени ты чрезмерно обогатишься. Паче всего помни, чтоб за деньги никому ни в какой просьбе не отказывать, и если случится, что, невзирая на все твои плутни, решится какое дело не так, как бы тебе хотелось, то сие нимало не помрачит твоей славы, а все скажут, что дело, о котором ты старался, было чересчур уж гадко; ежели же плутовство твое получит успех и тебе удастся переверотить по-своему, правого обвинить, а виноватого

и критическая переписка арабского философа Маликульмульк с водяными, воздушными и подземными духами. «Если ты сможешь оправдать, тогда будешь очень щедро награжден, и тебя все будут почитать самым хитрым крючкотворцем. Совет, который я тебе даю, может тебе служить вместо философического камня; пользуйся им до тех пор, как увижу я тебя переселившегося в ад и сидящего в объятиях адских демонов».

Письмо XIX

От сильфа Световида к волшебнику Маликульмульку

О новом наряде, в который он должен был одеться по вкусу тамошних жителей. Знакомство его с одним петиметром, который непременно хотел, чтобы он одет был по его вкусу. Разговор его с г. Старомыслом, который рассказывал ему, что мода есть первейшая страсть тамошних жителей. Описание театра. Виденные там разного рода петиметры. Разговор с г. Старомыслом о достоинстве театральных девок, какую они ведут жизнь и как разоряют многих любовников. Ты очень бы удивился, почтенный Маликульмульк, когда бы увидел меня в новом моем наряде. Я непременно должен был одеться по вкусу здешних жителей. Фрак на мне полосатый с длинными лапами и с коротким лифом; жилет также полосатый, чулки полосатые. Я думал, что надобно было заказать сделать исподнее платье и башмаки полосатые; но мне сказали, что это еще не вошло в моду, а, может быть, скоро войдет; что исподнее платье хотя и носят полосатое, но полосы одинакого цвета; одних только башмаков цвет никогда еще не переменялся; пряжки же башмачные множество раз вид свой переменяли: за несколько лет назад, как сказывали мне, употреблялись маленькие, круглые, но потом, час от часу увеличиваясь, бывали иногда круглые, а иногда четырехугольные, самые большие; ныне же носят овальные, вдоль по башмаку лежащие. Карета у меня самого последнего вкуса, полосатая ж; жаль, что здешние господа, модные петиметры, не успели еще выдумать выкрашивать и лошадей разноцветными полосами; тогда все бы уже одно другому соответствовало.

Голова моя убрала преогромным горжетом и превеликими буклями, умазана душистою помадою, усыпана самую лучшую французскую пудрою, и я весь с ног до головы опрыскан благовонными духами; подмышку же ношу я огромную шляпу, однако ж не полосатую, а черную. Не смешно ли тебе покажется, почтенный Маликульмульк, что я вошел в такое дурачество; но тебе известно, что я это делаю единственно из любопытства, чтоб посредством своего дурачества удобнее узнать людские глупости, и для того нарядами своими стараюсь подражать лучшим здешним петиметрам, чтоб чрез них иметь вход во все публичные собрания и примечать нравы и обычаи здешних жителей. Портной мой уверял меня, что платье мое самой последней моды. Один петиметр, с которым недавно я познакомился и который живет в одном со мною трактире, все закупал для моего наряду и непременно хотел, чтоб я одет был по его вкусу; а он здесь почитается первейшим знатоком в модных уборах и сам многие из них выдумывает. Он божился мне, что больше месяца выдумывал он новый образец обшлагам и клапанам на кафтане и что потом вымышление нового покроя в платье занимало его почти во все прошедшее лето.

«Конечно, у вас очень мало дел, – спрашивал я у него, – что вы тратите столько времени на такие безделки?»

«Как! – отвечивал он: – вы называете безделкою вымышление новой моды! Видно, что вы сюда приехали из самой дикой стороны, где хороший вкус в нарядах совсем не известен. Знайте, что потребно гораздо более дарования, разума и науки для расположения нового покроя в платье, нежели для построения огромного дома. Не думаете ли вы, что ничего не стоит знать искусство у горбатого скрыть горб, у долгошеего высоким воротником закрыть долгую шею; нестройного станом сделать статным; или велеть расположить со вкусом на кафтане фалды? До сего только можно достигнуть хитрыми вымыслами и долговременным упражнением; однако ж при всем том надлежит, чтоб сама природа нам вспомоществовала, а без того и самое великое знание казалось бы посредственным. Искусство в нарядах должно почитать особенным дарованием; хотя многие стараются его иметь, но немногие счастливо до того достигают».

Я внутренно смеялся, почтенный Маликульмульк, слушая такие вздоры; сколько ни почитал я людей во многих случаях заблуждающимися, однако ж никогда не воображал, чтоб могли они доходить до такого безумия, чтоб почитали важнейшими делами заниматься фалдами и покроем своего платья. Я спрашивал у некоторого знакомого мне господина, называющегося Старомыслом, который упражняется в разных полезных науках и почитает их гораздо нужнее новых мод: много ли в сем городе людей, зараженных такими глупостями?

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духа
«Больше, нежели вы вообразить себе можете, – ответствовал он мне: – мода есть
первейшая страсть здешних жителей; что ж принадлежит до женского пола, то он
доходит в том до безумия. Женщина, окончив поутру свой туалет, провождает целое
утро в обертывании и укалывании около себя разных лоскутков, купленных ею
накануне. После обеда едет она в театр и тогда с удивлением видит, что та мода
уже переменялась и что многие модные щеголихи одеты в другое платье по
последнему вкусу. Она с досадою примечает, что все они пристально на нее смотрят
и насмеются ее старомодному убору, отчего приходит она в отчаяние и, не
дождавшись окончания пиесы, поспешно выходит из театра, запирается в своем доме,
заставляет комнатных своих девок шить новые наряды и просиживает с ними во всю
ночь, покуда на другой день в состоянии будет опять показаться в свет, одетая по
новой уже моде».

Знакомец мой, петиметр, обещался представить меня многим здешним модным женщинам
и познакомить со всеми известными ему вертопрахами. Вчерась хотел он меня везти
в оперу; сие зрелище, как сказывал он мне, чрезвычайно ему нравилось; однако ж
не сдержал своего слова потому, что ездил с приятелями своими за город в один
трактир, где пропили они во всю ночь и его поутру уже привезли домой совсем
бесчувственного. Итак, наместо его ездил со мною в театр г. Старомысл.

Театр здешний показался мне довольно велик, ложи в нем в пять ярусов, но,
осматривая вокруг, представилась мне ужасная пестрота, потому что каждая ложа
обита особливом цвета обоями, и у каждой такого же цвета занавески, так что
было тут смешение всех разных цветов. Многие из сих лож были наполнены обоим
пола людьми, а некоторые закрыты были занавесками, однако ж приметил я, что и
там в потемках сидели и тихонько оттуда выглядывали, а как из любопытства
спрашивал я: для чего сидящие в тех ложах не показываются и скрываются в
темноте? то мне сказали, что часто случаются тут любовник с любовницею, которые
приезжают не для смотрения пиесы, но для любовного свидания. Между театром и
партерами на довольно пространной площадке стояла толпа мужчин, из которых очень
немногие, подкинувшись ближе к театру, занимались зрением пиесы, а большая
часть, расхаживая взад и вперед, заглядывали и глава женщинам, сидящим в
партерах, и разговаривали между собою так крепко, что от их разговоров совсем
неслышно было речей актеров, представляющих на театре. Некоторые из сих
расхаживающих были с растрепанными полосами, в розовых на шее платках и
подпоясанные кушаками; они во все горло кричали и спорили о скорости в беге
своих лошадей и между тем похлопывали по полу бичами, которые в руках у них
были, а некоторые, подняв кверху головы и приложив к глазу лорнет, смотрели на
сидящих в ложах женщин, и как скоро сей лорнет устремлялся на какую женщину, то
она тихонько отворачивалась, приятно усмеялась и потрогивала искусно или
ленточкою на шее, или опахалом; такое жеманство продолжалось непрестанно до
самого того времени, как зритель в лорнет оборачивался к другой женщине,
которая в ту же минуту принималась за такие же ужимки.

«Пожалуйте, государь мой! скажите мне, – спрашивал я у г. Старомысла, – кто
такие сии господа, которые с таким любопытством смотрят на женщин, и для чего
женщины перед ними так коверкаются и ломаются?»

«Эти господа, – ответствовал он мне, – почитаются здесь знатнейшими в своем роде
петиметрами; они замечают и пересмевают женские уборы и судят о красоте и о
достоинстве всех женщин; например, осмотря прилежно которую-нибудь из них, в
одну минуту, наверное, будут они уверять, что у ней новый любовник, что она
бросила уже того студента, который долго был на ее содержании, а наместо его
взяла новоприезжего офицера, который повсюду вместе с нею ездит; а о другой
скажут, что она гадко одета, что она неловка, что усмешка ее непривлекательна,
что не умеет она делать приятных ужимок и не так смотрит, как было бы должно в
нынешнем модном свете. И таким образом непременно сыщут что-нибудь сказать о
всякой женщине, на которую смотрят; а для сего-то самая всякая женщина
старается перед ними делать разные телодвижения и ужимки, желая, чтоб они нашли
в ней что-нибудь прелестное и похвалили бы ее красоту и вкус в уборах, или, по
крайней мере, не показалась бы она им совсем гадкою и безобразною».

«А это, конечно, чьи-нибудь кучера, – спрашивал я у г. Старомысла, – которые
похлопывают бичами и кричат о доброте лошадей своих?..»

«Нет, – ответствовал он, – это другого рода вертопрахи, которые во весь день
скачут по улицам и друг друга перегоняют, не для того, чтоб они были охотники до
лошадей и имели бы хороших бегунов, но только чтоб несколько раз проскакать мимо

и критическая переписка арабского философа Маликульмульк с водяными, воздушными и подземными духами окон тех девушек, за которыми они волочатся, и показать им великолепные на лошадях своих приборы, купленные ими на последние деньги, остающиеся у них от промотанного их имения. Они приезжают сюда не для просмотра театрального зрелища, но для рассказывания другим, таким же шалунам, о тех чудесах, которые будто наделали мнимые их бегуны».

Я ничего не могу тебе сказать, почтенный Маликульмульк, о пьесе, которую тогда играли, потому что хотя я сидел в ложе, но от шума разговаривающих здешних петиметров ничего не мог слышать, что на театре пели и говорили.

Поехавши из театра, дорогою спрашивал я у своего товарища о достоинстве виденных мною на театре певиц и танцовщиц, и какой ведут они род жизни?

«О! они чрезвычайно хитры, – отвечивал он мне, – в привлечении к себе мужчин, которых очень искусно обирают, и тем обогащаются. Многие богатые купцы делаются от них банкротами; знатные господа накапливают на себя превеликие долги, а молодые господчики часто совсем разоряются. Хитрость и притворство – наилучшие дарования театральных девок; они притворною наружностью очень искусно умеют прикрывать жадность свою к корыстолюбию. Те, которые многими опытами знают их хитрость, не даются им в обман и не верят притворному их постоянству; но многие неопытные молодые люди и легковверные, ослепленные ими старики часто попадают в их сети, которых избегнуть очень трудно, потому что эти хитрые женщины умеют принимать на себя всякий вид, какой только захотят.

Ежели театральная девка захочет обманывать старика, то притворяется перед ним, что она ко всем молодым людям чувствует особое презрение; осуждает безумие тех женщин, которые предаются нескромным вертопрахам; выхваляет благоразумие почтенного мужа, пожилых уже лет, и клятвенно уверяет, что она никогда не может чувствовать истинной любви, кроме как к такому только человеку, который по совершенным своим летам одарен здравым рассудком.

Ежели, напротив того, захочется ей понравиться петиметру, то уверяет его, что всякий мужчина свыше тридцати лет кажется ей очень смешным и что ее прельщают одни только молодые люди. «Как можно, – говорит она, – любить старика и какой вкус наши сестры находят в шестидесятилетнем любовнике?» После сего она перед ним танцует, поет, прыгает и скачет так, что, кажется, все забавы и веселости ее окружают.

Ежели обратит она взоры свои на богатого откупщика, то тут употребляет уже совсем другие уловки. Тогда презирает она всякого, кто не богат. «К чему нужна для нашей сестры любовь молодых господчиков? – говорит она своему любовнику, которого обирает. – Они повреждают только нашу славу, и вместо того, чтоб нам что-нибудь давать на наши нужды, нас еще разоряют. Разумная женщина может ли страстно любить придворного за то только, что он часто бывает при дворе и умеет искусно шаркать по полу ногами, или за то, что он имеет знатный чин? Клянусь тебе, – продолжает она, – что гораздо больше можно чувствовать любви к такому человеку, который щедростию своею может доставить нам счастливую жизнь».

И таким образом очень трудно избегнуть хитрых обманов сих опасных сирен, и ежели кто, по несчастию, попадет в их сети, тот совсем погибает и запутывается в такой лабиринт, из которого почти никогда выйти не может, потому что хитрое притворство, обман, ложные клятвы, притворное отчаяние и обманчивые уверения в вечной любви столько его оболъстят, что он сам себя не будет помнить.

Театральные девки имеют отменное дарование и искусство содержать сердца в своих оковах. Ежели приметят они, что спокойное услаждение в любви сделает любовников их не столь чувствительными, то они очень кстати умеют возбудить в них ревность; но делают то с такою хитростию, что нимало не страшатся, чтобы любовники от досады их оставили, потому что после опять очень искусно уверят их совершенно в своем постоянстве. Ежели они усмотрят, что любовники подозревают их в верности, то в одну минуту станут перед ними проливать слезы, и величайшие клятвы будут служить доказательством в страстной любви их; если же слезы их не произведут ожидаемого действия, то предаются они совершенному отчаянию, и покажется, будто бы в состоянии сами себя лишиться жизни. Тогда никакой любовник не может устоять против столь ясных доказательств жестокой их страсти; в одну минуту оставляет он все свои подозрения, сам признает себя виновным, что напрасно ее подозревал, и после сего налагает на себя повые, жесточайшие против прежних, оковы.

я и критическая переписка арабского философа Маликульмульк с водяными, воздушными и подземными духа
Сверх того, театральные девки очень хитро умеют разорять своих любовников
требуемыми от них подарками, и эту науку знают они во всем совершенстве. Их
грабительное искусство имеет особливые свои правила; например: ежели
которой-нибудь из них захочется бриллиантового перстня, или платья, или
головного какого убора, тогда начнет она искусно выхвалять виденные ею у других
своих знакомых такие вещи и потом говорит своему любовнику: «Г. Ветрогон подарил
Всемираде перстень; г. Размотай сделал Бесстыде богатое платье. По чести, эти
девки очень счастливы, что они ласками своими умели любовников своих довести до
того, что они во всем их утешают».

Итак, если любовник ее очень любит и боится, чтобы не упустить ее из рук, то
легко понимает, к чему клонятся сии хитрые ее слова, и на другой же день
присылает к ней в подарок такое же богатое платье, какое у Бесстыды, и такой же
перстень, какой у Всемирады; а сии подарки подают случай другим ее приятельницам
вытянуть такие же у своих любовников. Каждая из них очень искусно умеет налагать
на своего любовника такие поборы; однако ж при всем том, сколько бы кто для них
ни расточал денег, никак не может быть совершенно уверен в искренней любви этих
тварей они не откажут из всяких рук принимать подарки, лишь только бы был к тому
удобный случай; добродетель их нимало от того не постраждет. Однако ж берут они
чрезвычайную предосторожность, чтоб обожатели их не узнали о таковых их
поступках, потому что не хотят для малого прибытка лишиться того великолепного
содержания, которое от них получают; ежели же бывают они уверены, что тайна их
никак не может быть открыта, то без дальнего размышления заключают торг с
другим, принимают от него тайно определенную цену, за которую условились продать
свои прелести, и назначают ему место созидания».

Приездом нашим домой кончились наши разговоры, и я, простясь с моим товарищем,
удаился в мою комнату, где довольно размышлял о всем том, что видел и что
слышал.

Вот, почтенный Маликульмульк, в короткое время сколько мог я приметить глупостей
в здешних жителях. Надеюсь, что скоро откроются передо мною новые предметы, о
которых при первом случае не премину тебя уведомить.

Письмо ХХ

От сильфа Дальновида к волшебнику Маликульмульку

Рассуждение о некоторых государях и министрах, кои поступками своими причиняли
великий вред людям

Весьма часто, мудрый Маликульмульк, оплакиваю я злополучие смертных,
поработивших себя власти и своенравию таких людей, кои родились для их погибели.
Львы и тигры менее причиняли вреда людям, нежели некоторые государи и их
министры. Скажи, премудрый Маликульмульк, бросался ли когда лев, возбужденный
величайшим голодом, на подобного себе льва и раздирал ли его на части для
утоления своего голода? Напротив того, ежедневно почти видим мы людей, которые
для удовлетворения своего тщеславия, гордости или корыстолюбия жертвуют
подобными себе людьми без малейшего угрызения совести.

Не под владением одних только тиранов видимы были целые государства, поверженные
в бездну злополучия: много было таких государей, коим хотя потомство приписывает
великие похвалы, однако ж они не менее других вреда людям причинили. Нерон выжег
Рим для удовлетворения своего бесчеловечия; Юлий Кесарь наполнил кровью и
грабительством всю Римскую империю, дабы чрез то показать свое могущество. Не
все ли равно для людей, от какой бы причины они ни погибали? Все то, что их
истребляет, не может быть им приятно.

Для меня весьма кажется удивительно, премудрый Маликульмульк, что, невзирая на
все те бедствия, которые тщеславным Юлием и кровожадным Нероном свету
причинены были, нашлись в то время столь гнусные люди, которые не устыдились
превозносить их великими похвалами, приписывая им пышное название Великих и
Победителей. Сии подлые льстецы не достойны называться именем человека; ибо
похвалю свою развращая сердца государей, причиняют чрез то гибель роду
человеческому. Желательно бы было, чтоб государи, предузнавая гнусное
ласкательство таковых извергов, подвергали их строжайшему и примерному
наказанию, а тем избавляли бы многих от несчастья[6].

Монарх, предприимлющий войну для защищения своих областей и для поддержания прав
и преимуществ своего народа, есть мудрый отец, обремененный великою семьею

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами детей, коих хранит и оберегает он от ненависти их неприятелей; напротив того, государь, пекущийся единственно о удовольствии своего тщеславия и убегающий мира для пагубного только удовольствия, чтоб вести беспрестанно войну, наносит более вреда людям, нежели язва и голод. Можно предохранить себя от недостатка в пропитании, выписав хлеб из других земель, от заразной болезни есть также средство избавиться, удалясь в те места, где она еще не свирепствует, но тщеславного государя никак избежать невозможно. Подобаясь ниспадающему с крутизны гор источнику, поглощает он все, что в пути своем ни встречает. Александр гнал людей и на конце вселенной; Карл XII, подражая его примеру, столько же бы, может быть, причинил вреда людям, сколько и сей македонский государь, если б небо, для спасения рода человеческого, не ниспослало в свет мудрого и человеколюбивого государя, который, преобрази души своих подданных, обуздal чрез то пагубное стремление сего надменного врага человечества.

Кажется, что люди тех только монархов называют Великими, которые во время своего царствования истребили из них несколько миллионов; напротив того, тем, кои не погубляли рода человеческого, приписывают они только название Кротких и Справедливых. Бедственное и странное обыкновение!.. Государь истинно Великий, следуя их предрассудкам, должны уступать в славе тем, коих мщение правосудных небес употребляет для наказания развращенных человеков, вместо язвы и голода.

Не одно только тщеславие победителей причиняет гибель роду человеческому: корыстолюбие столько же иногда бывает пагубно, как и наикровопролитнейшая война. Гораздо бы было лучше для некоторых государей, чтоб потеряли они половину своих подданных на сражении или при осаде какого города, нежели, собрав их имущество к себе в сундуки, поморить после с голоду. Смерть воина, сраженного во время битвы скоростижным ударом, не столь мучительна, как смерть бедного земледельца, который истаеивает под бременем тяжелой работы, который в поте лица своего снискивает себе пропитание, и который, истощив все свои силы для удобрения земель, видит поля, обещающие вознаградить его обильною жатвою, расхищаемые корыстолюбивым государем; смерть, говорю я, сего бедного земледельца во сто раз жесточе смерти воина, оканчивающего в одно мгновение жизнь свою на сражении. Тщетно бедные подданные стараются скрыть малые остатки своего стяжания от жадности корыстолюбивого государя; определяемые от него надзиратели, сборщики и поставщики пробегают беспрестанно города и селения, и сии ненасытные пиявицы высасывают кровь у бедного народа даже до последней капли.

Ревность государей к распространению своего закона не менее причиняла вреда людям, как и другие их пристрастия. Сколько во Франции несчастных принесено было в жертву злости и ненависти бесчеловечных пустосвятов? Государь, преуверенные сими лицемерами, думали, что, убивая людей, не только что истребляли в них своих неприятелей, но и угождали тем самому богу.

Защитники нетерпимости других вер в государстве, для извинения своих бесчеловечий, говорят: «Покоритесь нам; мы, воздвигая на вас временное гонение, устроим чрез то вечное ваше спасение. Вы суть заблудшие овцы, коих против воли желаем мы возвратить на пажить господню». Жестокие пастыри! можно бы было им сказать – в тысячу раз свирепейшие, нежели наилютейшие звери. Неужели думаете вы свирепством и бесчеловечием преклонить к себе сердца человеческие? Почто гоните вы несчастных, которые как вам, так и обществу ни малейшего зла не причинили? Безжалостные веропроповедники! Между вами и Нероном нет никакого различия: тот посредством огня и меча хотел, чтоб все люди были язычники, а вы те же самые средства употребляете, чтоб преобразить всех в католиков. Христиане, отступившие от веры, отнюдь не были уверены в тех нелепых идолопоклоннических догматах, которым для избежания смерти они последовали; равным образом протестанты, жиды и лютеране, принужденные для избежания ваших гонений переменить свой закон, гнушаются во внутренности своих душ тем, который наружно они исповедуют. Таким образом темницы, пытки и виселицы принуждают только людей притворно верить тому, чему они не верят. Смее ли вы, бессмысленные и бесчеловечные богословы, утверждать, чтоб мучить людей повелено было вам милосердным богом? Вы не только не ужасаетесь своих злодеяний, но и всевышнее существо представляете столь же кровожадным, каковы вы сами.

Я чувствую, премудрый Маликульмульк, что, вспоминая пагубные дела некоторых бесчеловечных законопрповедников, не могу удержаться, чтоб не ошутить к ним величайшего омерзения. Против воли лишаюсь я философической моей твердости, ибо бедствия, причиненные людям суеверием, так велики, что, рассуждая об оных, нельзя быть равнодушно; и для того, прекращая сие письмо, я всячески буду впредь

я и критическая переписка арабского философа Маликульмульк с водяными, воздушными и подземными духами стараться, чтоб удалять от себя столь печальные мысли.

Письмо XXI

От гнома Вестодава к волшебнику Маликульмульку

О новых переменах в аде. Каким образом Прозерпина довела Плутона до разных забав. Допрос одного италиянца, который рассказывает о себе, что он, живши на свете 48 лет, прыгал выше всех в Европе. Плутон хотел наказать сего прыгуна, но Прозерпина взяла его под свое покровительство. О совершенном повреждении адских судей, для которых Плутон приказал построить огромный дом с надписью Чиновная богадельня, куда во уважение долговременной их службы посадил их на судейские стулья

У нас, любезный Маликульмульк, час от часу делается больше перемен. Прозерпинины поездки, думаю, со временем во всем аде не оставят ни одной головни на своем месте.

Тебе уже известен несчастный случай с нашими судьями, что двое из них оглохли, а третий сошел с ума. Плутон, видя, что они неспособны более отправлять прежнюю должность, вздумал на время сам сесть на их место; но, не привыкши к судебным делам, он часто запутывался в своих резолюциях и начинал белым, а оканчивал черным, так что адские приставы, которые отводят души в назначенные места, могли переворачивать его слова, как хотели, отчего у нас завелись превеликие взятки, и тени очень на это жалуются; и адские крючкотворцы, когда захотят, то в силу начала резолюции могут отвести их в рай, а в силу окончания бросить в вечную муку. Я уверен, что в нынешнее время Сократ и Диоген не так скоро попались бы в Елисейские поля, как Крез и Дарий.

Непорядки в делах еще умножает то, что Плутон сделался несколько ленив и вдался в разные забавы. Между прочим он стал великим охотником до живописи. Прозерпина, не знаю, с каким намерением, старается как можно больше отводить его от дел и возбудить в нем разные склонности, которые представляли бы его первым нерадивцем во всем аде. Нередко, когда рассказывают ему, что многие тени прибыли с того света и ждут его решений, и когда уже принимается он разбирать их дела, тогда Прозерпина приказывает принести дюжины две бутылок лучших вин, присланных к ней с того света. «Вот, душа моя! – говорит она ему, – напитки, которые в открытом свете употребляются всеми судьями; там часто многие блюстители правосудия того мнения, что лучший способ решить премудро самое запутанное дело есть тот, чтоб прежде опорожнить с полдюжины таких бутылок; это не вино, а премудрость, заключенная в бутылках, и мне нередко случалось видеть секретарей, идущих в приказы с таким тяжелым грузом сей премудрости, что они, не донесши его до приказа, с ног сваливались; но ты, любезный Плутон, бог: тебе не может быть вредна премудрость так, как человеку, а из них многие думают, что для человека разум вреден; итак, ты не откажешь для меня выпить хотя несколько рюмок». Наконец она принуждает его пить за здоровье своих братьев, а потом за здоровье ее и таким образом перебирает всю свою родню по очереди. Бедный Плутон сколько ни отговаривается, но она говорит ему, что в большом свете почитается неучтивостию, если кто за здоровье знакомых откажет напиться допьяна; вследствие сего очень часто наш бог, не успевая пересчитать рюмками все здоровья, спокойно засыпает, ничего не сделав, и весь двор ставит за честь в том ему подражать. Я думаю, любезный Маликульмульк, что ты этому не так станешь удивляться, потому что свойство придворных тебе, как жителю света, более известно; но что принадлежит до здешних философов, которые видят это в первый раз, то им показался наш двор бешеным домом.

Между тем множество приходящих теней толпятся у двора и ждут решений своей судьбы, но Плутон откладывает оные, не зная как их делать. Марс, думая подслужиться дядюшке своей любовницы, ежечасно присылает к нам новых жителей, однако ж он не знает, что тем только мешает бедному Плутону в его забавах, который то и дело посылает провеживать о здоровье больных судей; но Гален, Эскулапий и Иппократ доносят, что никаких еще нет признаков к их выздоровлению. К Буристону также посылаемы были приказы, чтоб он старался поскорей отыскать трех честных и умных судей, но и тот покорнейше уведомляет, что все его поиски напрасны и что он скорее возьмется сыскать трех фениксов, шесть василисков и десять единорогов, нежели одного такого судью, каковы были Минос с его товарищами; а, сверх того, он доносит, что со времени их прибытия в ад сделалась на земле великая перемена, и разум с честностию в превеликой споре, так что ныне в свете много можно сыскать добродушных дураков и умных бездельников, но добродетельные мудрецы очень редки, а особливо на судейских стульях. И самому

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами. Плутону не хочется, чтоб в Елисейские поля был впущен всякий без разбору и чтоб награждения раздавались по проискам.

Таким-то образом, желая сего избежать, сам Плутон занимался рассматриванием дел, как вдруг вошла к нему Прозерпина. «Любезный супруг, – сказала она ему, – ты уже довольно потрудился и попотел: оставь, пожалуй, этот скучный стул и пойдем лучше на мою половину; я даю сегодня стол, превеликолепный концерт, бал и после театральное зрелище». – «Душа моя, – отвечал, нахмутив брови, важный Плутон, – дай мне окончить хоть несколько дел: ты уже и так причиною тому, что я остался без помощи и должен сам рассматривать дела и самых последних негодяев. Сказывай, – говорил он потом одному италиянцу, – что ты в свой век делал?» – «Я, ваше адское величество, – отвечал римлянин, – сорок восемь лет прыгал выше всех в Европе. Имя мое славно на всех театрах, но дарования нигде не остаются без гонения: из некоторых мест я был вытеснен знатными за то, что получал доходу более их; один полководец, охотник великий до скачков, чуть было не уморил меня за то, что я вспрыгнул выше его, а некоторый знатный господин, коего сын занимал важное место в государстве посредством проворства своих ног и был первым танцовщиком, не мог терпеть меня за то, что я, показавшись на придворном театре, уничтожил все внимание двора к ногам сего молодого вельможи, после чего и голова его потеряла всю доверенность». – «Но делал ли ты какие-нибудь добрые дела?» – спросил у него Плутон.

«Множество, – отвечал тонконогий фурбиний: – я, выуча одного бедного дворянина танцевать, сделал тем его счастье, и он посредством танцевания дошел, наконец, до великих чипов. Некоторой молодой женщины муж был за взятки посажен в тюрьму и приговорен к наказанию, которое бы, конечно, над ним исполнилось, но я научил ее, каким образом должна она была притти пред вельможу; я расписал ей все шаги и все поклоны; научил, как ей надобно было плакать и какие приятности употреблять в движении рук, так, как то часто делают балетные героини, отчего была она счастлива, половину моим, а половину, может быть, и своим искусством, и мужа ее оставили попрежнему на судейском стуле, где он под покровительством жениных балетных ухваток пользовался, как мог, своим местом. Одна знатная дама выгнала из своего дома молодого любимца; он бросился ко мне, я показал ему все тонкости моего знания, и он, проведая, что бывшая его благодетельница будет на бале у одной госпожи, танцевал на оном с такою приятностию, что она его с балу отвезла опять к себе в своей карете. Я множество делал еще добрых дел: я распространил мое искусство и исполнил свое звание с величайшим рачением, в чем свидетельствовать может то, что ныне многие судьи знают лучше танцевать, нежели судить, и многие молодые воины более имеют духу пропрыгать контрданец или сделать хороший антраша, нежели, оставя балы, итти в поле шагать под военную музыку, которая всегда дерет нежный слух хорошего танцовщика, привыкшего к приятной гармонии менуетов, польских и кадрили».

«Бросьте сего развратителя благопристойности и нравов, – вскричал Плутон, – танцевать под музыку Эвменид; самые его благодеяния унижают как его самого, так и тех, кому они оказаны, а пользы свету его скачки очень мало сделала». – «Помилуй, жизнь моя, – сказала Прозерпина Плутону, схватя за руку италиянца: – помилуй, ты заставляешь меня краснеть за себя: ты бог, а, право, менее смыслешь, нежели последний Деревенский мужик. Возможно ли так мало уважать редкие дарования этого любезного человека! Право, ты очень гадок с твоими глупыми сантансами. Знай, сударь, – продолжала она, – что ныне весь большой свет танцует и что никакое искусство не почитается столь почтенным, как танцевальное: оно приносит уважение и доставляет богатство и чины. Нередко о том, кто хорошо прыгает контрданцы, заключают, что он может быть искусный воин, и дают ему полк, а самый искусный полководец, который не знает танцевать, почитается невежею. Какой ты сыщешь двор, где б не было уважено танцванье? а ты, сударь, хочешь подвергнуть наказанию человека, редкого в своем роде, которого одна нога стоит десяти таких голов, какова твоя; итак, я сказываю тебе, что я беру его под свое покровительство, делаю его первым балетмейстером своего двора, и завтра же ты начнешь учиться у него танцевать». – «Разве ты хочешь сделать из меня мальчика, богиня? – вскричал Плутон: – как! мне учиться танцевать! мне быть прыгуном! или ты хочешь меня выгнать отсюда своими попрыгушками?» – «Не выгнать, – отвечала Прозерпина, – а заставить тебя почувствовать, что танцванье всего почтеннее. Я сама, бывши на свете, повседневною была свидетельницею, что хорошего танцмейстера лучше принимают, нежели заслуженного офицера, и что в нынешнем просвещенном свете, вообще, хорошие ноги в большем уважении, нежели хорошие головы».

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духа
После такого изрядного объявления бедный Плутон не знал, что делать, и лишился удовольствия наказать тонконогого тунейдца, которому препоручила богиня составить свой двор. Едва окончился их спор, как предстали пред Плутона доктора и доносили его бессмертию, что адские судьи совершенно здоровы: смеются, ходят, пьют и едят, но что двое из них навсегда оглохли, а третий навсегда лишился ума; итак, куда приказано будет их поместить? Плутона немало обеспокоил сей вопрос, и он не успел еще сделать решения, как предстал пред него один дух, который просил его именем судей, чтобы позволил он им судить попрежнему тени, что еще в большее привело замешательство бедного Плутона, и он совсем не знал, что делать.

Прозерпина советовала ему, чтоб из уважения к их службе, несмотря на то, что они повредились, оставить их на прежних местах, и что лучше иметь каких-нибудь помощников, нежели самому за все дела приниматься. Плутон, может быть, и сам бы на это покусился для своей живописи, но он боялся Юпитера, которому не преминул бы Меркурий наущничать по своей склонности. Танцмейстер, под покровительством Прозерпины, подал следующий голос: «Ваше адское величество, – сказал он: – хотя я, живши на свете, более прыгал, нежели вмешивался в неполитические дела, по слуху о многих из них доходил до моих ушей, и я несколько успел узнать политические поступки в таких случаях. Мне кажется, что хотя Минос, Радомант и Зак танцовать не умеют, однако я признаюсь, что долговременная их служба уважения достойна, а всего важнее, что между ими есть сын Юпитера, то вам, не обидя батюшки, нельзя сынка отставить от места; также по слабости их нельзя им поручить и отправление важных дел, не подвергнув их тем замешательству, почему остается вам одни способ, чтобы, оставя при них прежние их достоинства, не давать им власти, и все дело состоит в том, чтоб приставить к ним умного секретаря, который бы вместо их рассматривал дела, а они бы подписывали то, что он им скажет». Все присутствующие похвалили его предложение, за что отвесил он многим по пренизкому поклону а ла менует, которые сделали его в глазах женщин совершенным умницею.

«Ах! какое это сокровище! – вскричала Прозерпина: – если б он вечно рта не отворял, то всякий бы его шаг доказывал, что его умнее никого нет на свете». Сам Плутон должен был признаться, что Фурбиний превеликий политик, и обещал приказать списать с него углем портрет для своей галереи.

Но чтоб довести свое предложение до совершенства, Фурбиний обещался судей выучить танцовать. «Это очень нужно, – говорил он, – чтоб секретари знали бумаги, а судьи бы хорошо танцовали. В нашем свете, – продолжал он, – такой судья получает покровительство женщин и делает из себя важную особу при дворе он виден на всех балах, во всех маскарадах и во всех гуляньях, а между тем гремит скорыми решениями своих дел. Публика дивится его проворству и расторопности; все вычитают время его упражнения и находят, что он в сутки не более должен спать двух часов. При дворе делают о нем заключение, что это существо произведено целыми веками с тем, чтобы служить украшением двору, делать честь отечеству своими сочинениями и быть славнейшим министром. Все кричат: «Ах, как он хорошо танцует! какой он умница! какой исправный судья! и какой редкий сочинитель!» – но отними у сего чуда природы его секретаря и человека три ученых, которых труды издает он под своим именем, то останется при нем одно танцование, коим приобрел он такую доверенность».

«Чувствуешь ли ты теперь драгоценность сего искусства, – сказала Прозерпина своему мужу: – и не согласишься ли сам, что непременно надобно из Елисейских полей вытолкать всех древних мудрецов и героев, не умеющих танцевать, а вместо их поместить туда одних танцмейстеров...» Она бы еще далее продолжала, если б не вбежали к ним опроретью наши три судьи.

«Ваше адское величество, – сказал Зак, подошедши к Плутону, – древность моих лет и долговременность нашей службы не такого достойны награждения, чтоб отдать нас на мучение трем палачам, которые едва нас вновь не укорили своими дьявольскими лекарствами, тогда когда мы не чувствуем никакой болезни; разве смеются над нами, что в то время, когда более обыкновенного приходит сюда теней и кучами теснятся на нашей площади, а что всего достойнее уважения, когда сильнейшая охота напала на нас судить, тогда мы заперты в какой-то негодный карантин и содержимся, как бешеные. Или выпустите нас вон из ада, или посадите попрежнему на наши стулья». – «Я тысячу раз виноват пред вами, любезные друзья, – отвечал Плутон, – по мне донесено, что двое из вас оглохли, а ты, Минос, сошел с ума». – «Как! я сошел с ума! – вскричал Минос, который тогда пускал на воздух водяные

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами. – Какая ябеда!.. О боги! сделайте, чтоб все мои пузырьки посели на нос тому, кто называет меня безумным. Если хотите знать, ваше адское величество, – продолжал он, – так я никогда так умен не был, как ныне, в чем свидетельствуюсь тем, что я выбрил бороду, ношу французские кафтаны и сделался любим многими женщинами, которые прежде терпеть меня не могли за мою угрюмость... Пустите, пустите меня на мой стул; вы увидите, какой новый вид я дам моему суду: все красавицы, которые прежде подвергались здесь штрафу за свои непорядки, и все славнейшие Лаисы нынешнего света будут видеть здесь во мне покровителя, и всякая хорошая женщина впредь может откупаться у меня от наказания тем, чем в открытом свете у судей часто находят они себе покровительство; одни только упрямцы будут мною жестоко наказаны».

«Я хочу быть сама сумасшедшая, – сказала Прозерпина, – если он сошел с ума. Ты сам согласишься, жизнь моя, что он никогда так умно не суживал! Я до сих пор всегда взирала с оскорблением, что здесь хорошим женщинам пред дурными никакого не делается отличия и что наши судьи имели жестокость равнодушно с ними обращаться; напротив того, в просвещенном открытом свете совсем не то. Там прекрасные женщины избавлены от всякой опасности и часто выигрывают самые трудные дела. Красота после золота для многих судей есть второй камень соблазна...» – «А особливо, – перехватил италиянец, – те, которые знают хорошо танцевать, очень сильны в большем свете: они нередко судами ворочают для того, что их не только простолюдимы, но и чиновные боятся».

Плутон со всеми их доказательствами видел, что донос на судей справедлив; но, уважая жену и их службу, сказал, что через шесть часов сделает он решительное определение. Прозерпина и италиянец не мало старались помочь ему своими советами, но, приметя, что он не на шутку занят, ушли все на половину богини, чтобы там открыть бал, к которому и трое судьи приглашены были; и так оставили спокойно рассуждать одного бога теней.

Он недолго ломал голову, каким образом поступить в сем обстоятельстве, и сделал такое дело, которое много произвело шуму в аде. В шесть минут повелением его поставлены были преогромные палаты с надписью: Чиновная богадельня, в которых приказал он поставить стулья для судей, одеть их, как кукол, и накласть перед них множество игрушек. Многие тени уставлены по всем лестницам, чтобы судьям кланяться, когда они проходить будут к своим стульям, где попрежнему должны они будут судить теней; но с тою разницею, чтобы по их приговорам не делать ни одного решения, а чтоб не наделали они каких шалостей, то к сей богадельне приставлен надзиратель с предлинною палкою, у которой на конце навязан пучок крапивы; ею должен он их бить по рукам, если примутся они не за свое дело, а чтобы их более занять, то велено им наблюдать прибыль и убыль в Стиксе, Ахероне и Коците, сочинять о том ежедневную записку, делать свои рассуждения и подавать голоса, чтоб удерживать в берегах их воды, которые и без того из берегов никогда не выходят. Им растолковано, что от них зависит спасение всего ада, и наши бедные судьи беспрестанно ломают голову, чтоб уменьшать прибыль здешних рек, хотя они никогда не грозят наводнением. Сии-то важные дела занимают ныне наших судей, и они наперерыв стараются подавать голоса и делать примечания. Надзиратель берет оные всегда с уважением и относит к Плутону, который отдает их Прозерпине на завивные бумажки.

Письмо XXII

От сильфа Дальновида к волшебнику Маликульмульку

О том, что гораздо бы лучше для людей, когда бы они непрестанно спали и видели бы хорошие сновидения

Рассуждая, премудрый Маликульмульк, о многоразличных бедствиях, удручающих род человеческий, нахожу я, что люди во время только сна, сопровождаемого приятными мечтаниями, избавляются на несколько времени от тягостного бремени своих злополучий. Я признаюсь, однако ж, что сон есть подобие смерти, но сие случается только тогда, когда дух и тело погружены бывают в совершенную бесчувственность; если же человек видит во сне приятные сновидения, тогда столь же он бывает благополучен, как и тот, который не спит.

Положим, чтоб человек спал двадцать лет сряду и чтоб беспрестанно снилось ему, что он, будучи сильным государем, берет множество городов, опустошает области и торжествует над всеми своими неприятелями; тогда не столько ли же бы сей сновидящий герой был счастлив, как и наивеличайшие в свете государи? Наслаждаясь мечтательными своими победами, ощущал бы он такое же точно удовольствие, какое

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами чувствовали некогда Юлий Кесарь, Сципион и Генрих IV, с тою притом разностию, что спокойствие его не возмущалось бы никогда такими злополучиями, какие случились с Помпеем, Франциском I и Карлом XII. Сей спящий и грезящий победитель гораздо бы был благополучнее многих настоящих завоевателей.

Бедный спящий сочинитель великие имел бы преимущества пред тем, который не спит. Ему снилось бы, что публика превозносит до небес похвалами глупые его сочинения и что Расин, Корнелий и Деспро в ученики к нему не годятся. Будучи преисполнен свойственным всем авторам самолюбием, помещает он себя в число славнейших в древности мудрецов, удивляется обширным своим познаниям и восхищается скучными и ничего не значащими произведениями своего пера, но, проснувшись, вся его слава и достоинство мгновенно исчезают. «Счастливей сон! – вскричал бы он тогда, – почто ты не во всю мою жизнь продолжался? Лестное мечтание! для чего ты столь скоро исчезаешь? Не гораздо ли бы было для меня лучше, чтобы я вечно спал и чтобы снились мне беспрестанно такие хорошие сновидения?»

Рассматривая различные состояния человеческой жизни, мудрый Маликульмульк, легко можно приметить, что нет ни одного, в котором бы сон, для составления блаженства оной, был не нужен. Жребии Сатурнов, коего, как тебе известно, Юпитер усыпил посредством некоторого порошка, кажется мне гораздо счастливее, нежели самого Юпитера. Обладатель Олимпа очень ошибся, что не принял сам сего опиума: тогда не был бы он принужден, для убеждения свирепых красавиц, превращаться в различные виды, как сие с ним неоднократно случалось, и не страшился бы ревности жены своей Юноны. Не должно ли почитать безумцем того мужа, который, имея злую и беспутную жену, не захотел бы переменить настоящее свое мучение на приятные сновидения?

Какое счастье последовало бы для всех людей, мудрый Маликульмульк, если б Юпитер открыл им тайну, как составлять сей усыпляющий порошок! Какое бы собрал богатство тот лекарь, который бы ныне оный изобрел, и сколько бы было тогда спящих во всем свете! Рогоносец наслаждался бы сладким покоем, не помышляя о новомодном своем головном уборе; промотавшийся петиметр позабыл бы тогда о своих заимодавцах; устарелые девицы, которым незаужество чрезвычайно наскучило, выходили бы во сне замуж за молодых и пригожих женихов; бедный аббат превращался бы в богатого прелата, прелат в кардинала, кардинал пользовался бы мечтательным достоинством папы; а папа мыслил бы о себе, что он победитель и законодатель всего света.

Все европейцы или, лучше сказать, все жители земного шара спали бы без просыпу, ибо что может быть блаженнее для людей, как, избегая тех печалей, которые неразлучно сопряжены с человечеством, наслаждаться хотя мечтательным благополучием?

В каком бы состоянии человек ни был, беспрестанно рождающиеся в нем новые желания лишают его спокойствия, и он никогда не может быть благополучен. Итак, во время только сна человек наслаждается совершенным блаженством. Такова есть участь смертных; они тогда только могут почитать себя счастливыми, когда наслаждаются мечтательными воображениями. Все их забавы сопряжены с печалью; даже и в то самое мгновение, когда исполняются наиприятнейшие их желания, с удивлением ощущают они в себе беспокойство, страх, надежду и все другие страсти, проистекающие от тех же увеселений, которые почитали они чуждыми всяких печалей.

Возьмем в пример любовника, который, по претерпении множества злоключений, соединяется, наконец, с обожаемым им предметом неразрывными узами. Он клянется, что не променяет своего благополучия на обладание престолом всего света и что счастье, которым он наслаждается, превосходит все его желания; но едва лишь только произносит он сии великолепные восклицания, как ощущает в себе страх, дабы не лишиться каким случаем того, что составляет все его блаженство. Слабые смертные! когда все ваши забавы сопровождаются печалью и когда несчастье повсюду за вами следует, то, чтоб быть вам совершенно благополучными, спите лучше и никогда не пробуждайтесь!

Придворный, пользующийся милостями своего государя, какими неисчислимыми трудами и огорчениями должен снискивать оные? Воин счастливее ли придворного? Можно ли почесть таковым человека, который, для приобретения ничего не значащих почестей, соглашается добровольно быть изуродован? Купец, который не спит ни днем, ни ночью, который для барыша готов удавиться и который при одном названии банкрота от ужаса трепещет, может ли когда быть спокоен? Земледелец, угнетенный тяжким

я и критическая переписка арабского философа Маликульмульк с водяными, воздушными и подземными духа
бременем несносной работы, доволен ли своим состоянием? Заставим лучше всех сих
несчастных спать, мудрый Маликульмульк, и дадим им способность грезить
беспрестанно хорошие сны: тогда-то разве будут они благополучны. Придворный
сбросит с себя, угнетающие вольность его, золотые оковы; воин не захочет быть из
пустяков изувечен; купец перестанет мыслить о прибыли; земледелец избавится от
тяжкой работы. Все они будут спокойны, и все их труды, печали и беспокойства
совершенно уничтожатся. Сии люди, которые в жизни своей столь были несчастливы,
займутся во время сна приятными сновидениями, которые в грезящем их воображении
беспрестанно будут переменяться.

Наконец, премудрый Маликульмульк, ты должен был заметить при начале моего
письма, что, говоря о выгодах сна, упоминал я о таком, который сопряжен бывает с
приятными мечтаниями и который подает людям некоторое понятие о том спокойствии,
коим будут они наслаждаться, переселясь в жилище сиффов; если же сон повергает
их в совершенную бесчувственность или представляет им страшные и неприятные
сновидения, тогда ничем он не разнится от настоящей, бедствиями наполненной
человеческой жизни. Я утверждаю только то, что гораздо выгоднее для людей спать
и видеть всегда хорошие сны нежели наслаждаться всеми увеселениями, сопряженными
с состоянием неспящих людей, для того что сии их увеселения смущаемы бывают
множеством злоключений и страхом, чтоб по какому-либо случаю не лишиться оных.

Письмо XXIII

От гнома Зора к волшебнику Маликульмульку

О окончании свадьбы Припрыжкина. Разговор Неотказы с своею приятельницею
Бесстыдою, о выгодах иметь глупого мужа, которого можно всегда обманывать.
Свидание Неотказы с любовником ее Промотом. О хорошей экономии Неотказы, которая
прибрала к себе и руки все доходы Припрыжкина и не дает ему никакой в них
власти, а делит их пополам с Промотом. Неудовольствие Припрыжкина о экономии его
жены и что она, требуя от него верности, заставляет его часто сидеть дома, а
сама, между тем, из набожности ездит по богадельням и по больным своим знакомым
Свадьба моего дорогого Припрыжкина кончилась; он отделился от своего отца,
сделался самовластным господином шестидесяти тысяч рублей дохода и носит имя
мужа первой во всем городе красавицы. «Счастливое состояние! – скажет
кто-нибудь, – иметь богатство и прекрасную жену!» Я и сам признаюсь, что трудно
удержаться, чтоб этого не подумать, видя сию молодую чету; но ты увидишь,
любезный Маликульмульк, можно ли это сказать, зная их жизнь. Свадьба сия
продолжалась с таким же великолепием, с каким началась. Как имя невесты и жениха
всегда имеет нечто привлекательное и они более других обращают на себя взоры
людей, то молодая Неотказа ничего не упустила в нарядах и ужимках, что б могло
пленивать свидетелей ее свадьбы; равным образом и Припрыжкин не менее старался о
женщинах, и они оба столь были заняты наукою нравиться, что им едва оставалось
время взглянуть друг на друга. Со всем тем казалось, что они чрезмерно восхищены
своим счастьем и ничего более не желают, как той минуты, которая кончит их
свадьбу. Минута подлинно блаженная! если невеста и жених в первый еще раз оную
чувствуют и ею начинается новый человеческий век; но в нынешнем свете и в
здешней земле, любезный Маликульмульк, редким девушкам брак кажется новостью:
они по большей части такие философки, что во всем находят скучное повторение; и
если бывает некоторым из них мило супружество, то, конечно, не новостью, а разве
свободою, которую оно собой приносит.

Между тем как все гости утопали в веселостях, музыка гремела, вины заставляли
многих шататься около буфетов, а другие помогали своей непорядочною скачкою
расстраивать веселые танцы молодых госпож и господчиков; и между тем, когда
казалось, что всякий принимал участие в благополучии подобранных, хотя у многих
карты и вино выбили из памяти и жениха и невесту, я заметил, что она ушла в
свою комнату с одной из молодых своих знакомок.

Желая узнать невестино мнение о сем супружестве и заключая, что в таких
уединенных разговорах не может быть ничего пустого, скрылся я из гостиной
комнаты и, сделавшись невидимым, вошел в уборную молодой Неотказы. Я застал ее с
той же незнакомкою, с кою она ушла от гостей, и они обе хохотали, как безумные.
«Признайся, любезная Бесстыда, – говорила своей подруге Неотказа, – что изо всех
мужчин моего женишка трудно сыскать глупее! Вообрази себе, какое счастье иметь
мужем такого фалю, которого в день можно по сту раз обманывать». – «Признаюсь, –
отвечала Бесстыда, – что я завидую твоему счастью, а мне так сватают какого-то
урода, которого я терпеть не могу; одно только то, что он умен, делает мне его
несносным. Подумай, жизнь моя, сносен ли такой муж женщине нынешнего света: я

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами. «Умру с досады, если батюшка и матушка не переменят своего слова». – «Да, я советую тебе, как можно, отвязаться от такого женишка, – сказала Неотказа, – я не один раз слышала мнение о замужестве моей матушки (ты ведь знаешь, что старушка моя не дура): она говорит, что если муж и жена умны, то в доме никогда не бывает доброму согласию, для того что никто из них слепым быть не захочет; а когда оба они глупы, то должно ожидать скорого разорения их дому; но чтобы составлять счастливые семейства, надобно неотменно или дурака женить на умнице, или умному брать дуру: тогда-то одна половина может веселиться, а другая, разиня рот, будет ожидать поведений или довольствоваться мнимой властью, между тем как ее за нос водят... Итак, по сему правилу, любезная Бесстыда, без хвастовства сказать, ты видишь, что нам с тобою умные мужья не под пару». – «Сему-то правилу и я бы желала следовать, – сказала Бесстыда, – но, к несчастью, мои старики совсем не такого мнения о супружестве, как твоя матушка, и я думаю, что они бы меня давно уморили своей строгостию, если бы добрая моя мадам не помогала мне их обманывать столько, сколько мне угодно, и я признаюсь, – продолжала она, – что с тех нор, как французы взяли под свое покровительство наше юношество, оно чувствует немалое облегчение в скучной неволе, и всякая наша девушка под присмотром искусной француженки в пятнадцать лет становится хитрее своей матушки, с тою притом разницею, что, насмехаясь всем скучным предрассуждениям своих бабушек, не запинается она совестью на всяком шагу своих тайных приключений. Я сама, будучи постановлена на такой ноге моею надзирательницею, с терпеливостию сносила скучные годы моего девичества; но с того времени, как она от нас отошла, почувствовала я всю строгость родительского присмотра и с великою нетерпеливостию жду какого бы то ни было жениха, надеясь, что супружество, по крайней мере, облегчит мою неволю».

«Не думаешь ли ты, – перехватила Неотказа, – что мне более твоего оказывают потворства? О, как же ты мало знаешь мою матушку! Я думаю, что во всем свете нет строже этой хрычовки; вообрази себе, что она в день не отпускала меня от себя более, как на два часа, и то только тогда, когда уходила сама в особую комнату с молодым Лицемеровым читать молитвы. Признаться надобно, что я не теряла из сих двух часов ни одного без удовольствия; но со всем тем тайные веселия мне уже наскучили, и ты не поверишь, жизнь моя, какую надобно всегда иметь осторожность от матери: дочери гораздо легче обмануть самого строгого отца, нежели мать, которая сама проходила всю школу света и, помня старину, знает, какие хитрости употребляются для обманов. Если ж она не препятствует своей дочери в некоторых забавах, то это, конечно, не оттого, чтоб не знала к тому способов, но или ленится, или не имеет времени, протверживая очень часто сама веселые зады любовной азбуки». – «Ха, ха, ха! как ты злоречива, – говорила со смехом Бесстыда, – ты не щадишь и своей матушки!»

«Вот какое дурачество! щадить мать! – отвечала Неотказа, – эти старушки думают, что они только одни могут пользоваться всеми веселостями и выгодами нашего пола, а дочери их рождены сидеть в конурках, поститься вместо их и молить за их грехи. О! нет, я всегда вела себя на такой ноге, что мне не только за чужие, но и за свои согрешения умаливать очень мало оставалось времени, да и вперед с таким болванчиком, каков мой будущий муж, но надеюсь я много минут иметь для набожности. Глупый муж, любезная Бесстыда, в нынешнем свете для набожной женщины служит немалым поводом к соблазну. Надобно быть слепой, если не рассмотреть, что мой Припрыжкин глупее всех своих знакомых; что ж касается до его лица, то каков бы хорош жених невесте ни казался, но неделю спустя после свадьбы наверное всякий мужчина в глазах ее будет казаться приятнее мужа. Трудно не видеть, что мужчины не для чего иного ищут дружества мужа, как желая покороче свести знакомство с женою; они делают ей тысячу услуг, которые принимает он за знак уважения к нему; они за нею машут, а он тем гордится; они почти при нем открывают ей свою страсть, а он, почитая ее второю Лукрециею, восхищается их неудачей и ее мнимой верностию. Надеясь на ее сердце, он спокойно ее оставляет и делает ей многие измены, почитая одних только женщин обязанными в постоянстве; одним словом, он во всем ей верит, почитает ее слепой в рассуждении своих поступок и допускает своих друзей стараться развращать ее в ее мнимой непоколебимости. Надобно, говорю я, жизнь моя! не иметь глаз, чтоб не видеть всего этого, и надобно иметь каменное сердце, чтобы сим не пользоваться. Да полно, я на себя не буду пенять в сем случае: я уже давно расположилась, каким образом жить в свете, и мне нужен был только такой простячок, который бы назывался моим мужем и отнюдь не вмешивался бы в мои дела. Судьба услышала мою молитву, и любезный мой Припрыжкин, право, кажется, может быть мужем всякой умной женщине. Изо всех его поступков ни один не показывает в нем умного человека. Кажется, он более занят своими пряжками, нежели мною и нашею свадьбою;

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами, а это мне подает добрую надежду, что он чаще будет смотреть за своею каретою, нежели за своею женою».

После сего продолжали они с язвительнейшими ругательствами и насмешками описывать всякую черту бедного Припрыжкина. Молодая Неотказа выдумывала планы своему хозяйству; назначала из мужнина гусара, малого рослого и довольно пригожего, сделать главного правителя домашних своих дел, а из мужа дворецкого; и я имел причину думать, что бедному Припрыжкину не только не удастся с танцовщицею поделиться жениными доходами, но едва ль и своими собственными всеми пользоваться ему позволят.

Они бы еще долее продолжали свои рассуждения, если бы не вскочил в комнату молодой господчик, одного покроя с г. Припрыжкиным: тупей его наполнил новым благоуханием всю комнату, блестящие пуговицы умножили в ней свет, и казалось, что сама Арахна трудилась над его манжетами.

«Жестокая! – сказал он Неотказе, так ты мне изменяешь, и мой риваль предпочтен мне, в то время когда я уже совсем разорился на щегольство, единственно для того, чтобы тебе нравиться».

«Перестань дурачиться, любезный Промот! – сказала Неотказа: – ты подымешь в моей голове вапёрисвоими восклицаниями... Ты, право, сам не знаешь своих выгод, когда жалеешь о том, что я выхожу за Припрыжкина».

«Нет, неверная, – отвечал с досадою ее любовник: – мне уже не жаль тебя; но жаль своих трех тысяч душ крестьян, которые продепансировала на то, чтоб тебе угождать, надеясь загладить некогда сей убыток твоим приданым. Познай, бесчеловечная, – продолжал он с трагическим восклицанием, показывая ей правую руку, усеянную перстнями: – познай, что на этих пальцах сидит мое село Остатково; на ногах ношу я две деревни, Безжитову и Грабленную; в них дорогих часах ты видишь любимое мое село Частодававо; карета моя и четверня лошадей напоминают мне прекрасную мою мызу Пустышку; словом, я не могу теперь взглянуть ни на один мой кафтан и ни на одну мою ливрею, которые бы не приводили мне на память заложенного села, или деревни, или нескольких душ, проданных в рекруты, дворовых. А всему этому ты причиною, и ты за всю мою любовь платишь мне неверностию; но какую еще неверностию, жестокая! Я бы тебе позволял тысячу раз мне изменять, но только бы не выходить за другого».

«Ах! как же ты скучен, – отвечала Неотказа, – ты пришел меня уморить своими выговорами. (Заметь, любезный Маликульмульк, что подруга ее давно уже вышла.) Скажи, пожалуй, какие находишь ты выгоды в нашем супружестве? Подумай, можно ли мне одним моим приданым содержать пышно и себя и мужа; не гораздо ли лучше, если я награжу твой убыток из Припрыжкиного имения. Ты дурачишься, жизнь моя! если не хочешь пользоваться его доходами, имея столько разума, что можешь не с одним мужем делиться. Оставь, пожалуй, свой томный вид и подумай лучше, как бы поскорей после нашей свадьбы познакомиться с моим мужем; он, право, человек неопасный, и мы можем с тобою так же быть счастливы, как были прежде; беда только вся в том, что я не буду твоею женою, но это не так-то жалко: ведь жена не всякая приносит с собою чины мужу, а мне мой муж приносит верную выгоду называться графинею».

«Итак, ты мне не изменяешь! – вскричал с радостью Промот: – ты меня любишь! Когда так, то, пожалуй, выходи за Припрыжкина; после этого объявления никакой муж мне не страшен... Любезная Неотказа! теперь я познаю, что ты редкая женщина в постоянстве».

«Конечно, – отвечала Неотказа, – будь уверен, жизнь моя! что мужа я всегда иметь намерена; но тот, кто мне мил, никогда не будет моим мужем. Если б я и овдовела, то ты не прежде можешь назвать меня неверною, как разве тогда, когда предложу я тебе мою руку: это будет ясный знак, что мне уже не ты, но одно твое имя нужно». После сего уверения она доказывала всеми способами к нему свою любовь и старалась, как могла, его утешить.

«Бедные мужчины! – думал я сам в себе. – Вот та власть, которая, по вашему мнению, дана вам природою над женщинами, и вот верность, которую вы имеете право от них требовать! Продолжайте думать, что женщины не для чего иного выходят за вас замуж, как для того, что вами страстны и желают спокойствия под вашими законами. Продолжайте думать, что им необходимо надобны мужья, чтоб

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами предводительствовать их слабым умом и утешать в них худые склонности; и что они в вас ищут приятных друзей, нежных отцов и верных любовников. Продолжайте наслаждаться столь лестною мечтою, а между тем, рабствуйте им, нимало не примечая своих оков. Думайте, что вы их господа, и будьте их игрушкой. Говорите, что их жизнь и счастье от вас зависит, но в то же самое время просите от них робким взором своего счастья, а иногда и самой жизни.

Не показывает ли вам сей пример, что они не для чего иного ищут носить ваши имена, как желая употреблять оное во зло, чтоб избавиться от строгости родителей, которые сами часто думают, что исполнили со всею святостию свой долг, если дочь их до замужества была честною девушкою, и никогда не заботятся о том, чтоб была она честною женою; а молодые женщины, сделавшись свободными, последуют в верности примеру своих мужей, которые едва не первые ли бывают развратителями их добродетели, и я не знаю, почему мужчины не почитают себя столько же обязанными в верности, сколько требуют того от женщин. Кажется, всякий муж своими поступками говорит своей жене: «Ты не столь пылкого сложения, как я; твой разум основательнее моего; ты не так легковерна и скоро; сердце твое не так нежно, и чувства твои не столь склонны к утехам; а для того-то ты должна подавать мне пример в верности и извинять тысячу измен, которые я тебе делаю, слабости» и легкомыслием моего пола, и приписывать то свойственной всякому мужчине ветрености». Вот что думают и говорят мужчины; но едва ль не женщины имеют право это сказать.

Я еще продолжал мои рассуждения, как вдруг вошла в комнату мать Неотказы и очень была недовольна гостем, которого застала у своей дочери. Он не замедлил выйти и оставил бедную Неотказу с своею матерью. Я опасался, чтоб не последовало какого жалостного явления; но дело все прошло очень тихо. Горбура только побранила свою дочь и дала ей свои матерьиные советы в рассуждении ее поведения.

«Не стыдно ли тебе, – говорила она ей, – что в твои лета ты так глупа, как ребенок, и накануне своей свадьбы делаешь такие дурачества, которые могут и тебя и мать твою ввести в великие хлопоты? Такое ли давала я тебе наставление? Не говаривала ли я тебе, что ты до замужества должна быть ангелом, а после того будь хоть дьяволом, если захочешь: тогда уже ничто тебе не грозит век засидеться в девках; к счастью, что твой жених теперь, танцуя, давно позабыл о тебе, что ты ушла из комнаты; ну, если бы он, приметя это, вздумал подозревать, пошел бы сюда за тобою и нашел бы тебя с товарищем, который и лучшему мужу может подать подозрение; посуди, что б из этого вышло? Ты была бы оставлена; свадьба бы ваша разорвалась, и нам всем нанесло бы это стыд и бесчестие. Любезная Неотказушка! я люблю тебя; но, воля твоя, до замужества не дам тебе шалить. Покуда ты в девках, то я за тебя отвечаю; вышедши замуж, делай себе, что хочешь, тогда уже никто меня не может упрекнуть в твоём поведении, и каково бы оно ни было, мужчины все тебя извинят, а из женщин одни только твои соперницы поносят тебя станут. Мы сами бывали молоды; но в старину всегда более расчёту держались: тогда девушку до ее замужества редкие видали, и всякая из них не выезжала из двора иначе, как разве показать свою набожность. Впрочем, мы сживали дома по десяти месяцев, в которые бог знает, что с нами дельвалось; однако ж со всем тем ко всякой из нас сватывалось множество женихов: столько-то мы казались добродетельными; а в нынешнем свете так, право, и самая честная женщина кажется подозрительной. Я было тебя совсем по старине воспитывала и радовалась, что слышала о тебе многие похвалы, которые не давала тебе опровергать твою ветреностию, и хотя ты, может быть, не всегда была их достойна, но самолюбие моё, извиняя слабость нашего пола, довольствовало и тем, что публика была о тебе хорошего мнения, которое чуть было ты ныне не истребила своей неосторожностью. Воздержись, любезная Неотказа! тебе еще восемнадцать лет; подумай хорошенько, что ты завтра будешь самовластною госпожею и можешь наградить те скучные семь лет, в которые, может быть, чувствительно тебе было мое надзирание, тридцатью годами и более веселой жизни». Неотказа, поблагодаря свою добренькую матушку за такие спасительные советы, обещала ей вечно быть добродетельною, и обещала то с таким жаром, который и меня уверил, что она двадцать восемь часов не переменит своего слова. После сего они вышли из комнаты к гостям, которые едва приметили их приход, равно как и выход.

Лишь только окончились свадебные обряды, как Неотказа, воспитанная в экономии, вздумала принять в свое правление дом. Припрыжкин, почитая в ней простую женщину, которая займет у него место ключницы, был ей рад, как кладу; но она так, как исправный казначей, умела пользоваться своим местом, и я увидел, что он очень ошибся в двадцати тысячах, которые обещал танцовщице. Из экономии всякая

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами истраченная им полушка исправно ставится на счет, и бедный Припрыжкин очень дурно получает свои доходы. Неотказа ласковыми своими с ним поступками и своим против его притворством довела его до того, что он ей не смеет и заикнуться о больших деньгах и нередко очень негодует на ее экономию, между тем как она не только свои, но и его доходы делит пополам с Промотом, который вкрался к Припрыжкину в совершенную дружбу.

«Ну, любезный друг! – сказал я ему недавно, – доволен ли ты теперь своею женитьбою?» – «Нет, чорт меня возьми, – отвечал Припрыжкин: – я нимало ею не доволен; я думал получить в жене молодую женщину нынешнего света, которая бы с удовольствием мне помогала проживать имение, но судьба наказала меня самую скучною половиною. Моя жена воспитана в предрассуждении женщин; она за грех ставит издержать лишнюю копейку; по ее мнению, самое святое дело есть то, чтоб избегать роскоши, быть верною и усердною к своему мужу и беречь, чтобы и он ей был верен; а это заставляя ее часто удерживать меня дома, ибо с красотою моею, как она говорит, в нынешнее время очень опасно показываться в обществах, когда женщины ищут всех способов соблазнять мужчин; итак, в ее угодность я нередко просиживаю по целому дню дома, между тем как она объезжает богадельни и больных своих знакомых; часто усердие доводит ее до такого восторга, что она приезжает домой вся в поту и с помутившимися глазами; я, право, боюсь, чтоб возле ее и я не сделался набожным. Впрочем, я ею доволен и, по крайней мере, надеюсь, что мой лоб избавлен от общей участи почти всех мужей нынешнего века».

Вот что говорит Припрыжкин о своей жене, любезный Маликульмульк, но ты можешь отгадать, верю ли я его словам и набожности его любезной супруги.

Письмо XXIV

От сильфа Дальновида к волшебнику Маликульмульку

О том, что в гражданском обществе часто называют честным человеком того, который нимало сего названия не заслуживает, и какие нужно иметь достоинства, чтоб приобрести название истинно честного человека

Примечено мною, почтенный Маликульмульк, что в гражданском обществе всего легче дается людям такое название, которое очень немногие из них заслуживают и которое должно бы быть больше уважаемо, ежели бы люди поприлежнее размышляли о потребных для сего названия достоинствах. Люди всего чаще говорят: вот честный человек, а всего реже можно найти в нынешнем свете такого, который бы соответствовал сему названию.

Великая разность между честным человеком, почитающимся таковым от философов, и между честным человеком, так называемым в обществе. Первый есть человек мудрый, который всегда старается быть добродетельным и честными своими поступками от всех заслуживает почтение; а другой не что иное, как хитрый обманщик, который под притворной наружностью скрывает в себе множество пороков, или человек совсем нечувствительный и беспечный, который хотя не делает никому зла, однако ж и о благодеянии никакого не имеет попечения. Я в том согласен, почтенный Маликульмульк, что приличнее называть честным человеком того, который содержит себя в равновесии между добром и злом, нежели того, который явно предается всем порокам; по оною еще не довольно для получения сего названия, чтоб не делать никому зла и не обесславить себя бесчестными поступками, а истинно честному человеку надлежит быть полезным обществу во всех местах и во всяком случае, когда только он в состоянии оказать людям какое благодеяние.

Ежели рассмотреть прилежнее, мудрый Маликульмульк, различные состояния людей и войти в подробное исследование всех человеческих слабостей и пороков, которым люди нынешнего века часто себя поработают и кои причиняют великий вред общественной их пользе, то можно увидеть очень многих, которым щедро дается название честного человека, а они нимало того не заслуживают.

Придворный, который гнусным своим ласкательством угождает страстям своего государя, который, не внемля стенанию народа, без всякой жалости оставляет его претерпевать жесточайшую бедность и который не дерзает представить государю о их жалостном состоянии, страшась притти за то в немилость, может ли назваться честным человеком? Хотя бы не имел он нималого участия в слабостях своего государя, хотя бы не подавал ему никаких злых советов и хотя бы по наружности был тих, скромн и ко всем учтив и снисходителен, но по таковом хорошем качестве он представляет в себе честного человека только в обществе, а не в глазах мудрых философов, ибо, по их мнению, не довольно того, чтоб не

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами участвовать в пороках государя, но надлежит к благосостоянию народа изыскивать всевозможные способы и стараться прекращать всякое зло, причиняющее вред отечеству, хотя бы чрез то должен он был лишиться милостей своего государя и быть навсегда от лица его отверженным.

Богач, который неусыпными стараниями, с изнурением своего здоровья, собрал неисчетное богатство и наполнил сундуки своя деньгами, не подавая бедным нималой помощи, хотя все сии сокровища приобрел позволенными способами, однако ж честным человеком назваться может только в обществе, в глазах же философа почитается он скупцом и скрягою, нималого почтения честных людей недостойным.

Мот, который расточает свое имение с такою же прилежностью, с какою скупой старается его сохранять; который то употребляет на роскошь, что должен бы был употреблять на вспоможение несчастным; который живет в изобилии, не чувствуя нималого сострадания к бедности многих от голода страждущих, коим мог бы он сделать немалую помощь, – такой безумный расточитель, ежели на роскошь свою употребляет только свои доходы и не имеет на себе долгов, в обществе называется честным человеком, но философы таким его не почитают; а он в глазах их хуже диких варваров, которые и о скотах более имеют соболезнования, нежели он о подобных себе человеках.

Надменный вельможа, думающий о себе, что знатное его рождение дало ему право презирать всех людей и что, будучи сиятельным и превосходительным, не обязан он оказывать никому нималого уважения и благосклонности, если платит хорошо своим заимодавцам, если не поступает мучительно с своими подчиненными, а только их презирает, и если при исполнении возложенной на него должности не притесняет народ, правлению его вверенный, то в обществе называется честным человеком; но философы почитают его таким, который поступками своими оскорбляет человечество; который, будучи надут гордостью, позабывает и самонадеянные добродетели; не познает самого себя, и его безумное тщеславие столь же порочно и предосудительно, как зверская лютость дикого американца.

Многие разумные люди утверждают, что гораздо сноснее быть умерщвлену, нежели презираему, ибо смерть оканчивает все мучения, а к презрению никогда привыкнуть невозможно, и чувствуемое от оногo мучительное оскорбление час от часу непрестанно умножается. Чем более кто питает в себе благородных чувств, тем сносимое от других презрение бывает для него мучительнее. Итак, сего выскомерного и гордого вельможу должно почитать чудовищем, которого небо произвело на свет для испытания добродетели и кроткой терпеливости простых людей, ему подчиненных.

В обществе также называется честным человеком тот судья, который, не уважая ничьих просьб, делает скорое решение делам, не входя нимало в подробное их рассмотрение; но философы не думают, чтоб единого токмо старания о скорейшем решении судебных дел было довольно для названия судьи честным человеком; а, по их мнению, надлежит, чтоб он имел знание и способность, нужные для исполнения его должности. Судья хотя бы был праводушен и беспристрастен, но производства судебных дел совсем не знающий, в глазах философа тогда только может почтяться честным человеком, когда беспристрастие его заставит его почувствовать, сколько он должен опасаться всякого обмана, чтоб по незнанию не сделать несправедного решения, и побудит его отказаться, от своей должности. Ежели бы все судьи захотели заслужить истинное название честного человека, то сколько бы присутственных мест оставалось порожними! И если бы для занятия сих мест допускались только люди, совершенно достойные, то число искателей гораздо бы поуменилось.

Чтоб быть совершенно достойным названия честного человека и чтоб заслужить истинные похвалы, потребно сохранять все добродетели. И самый низкий хлебопашец, исполняющий рачительно должности своего состояния, более заслуживает быть назван честным человеком, нежели гордый вельможа и несмысленный судья. Тот, кого называют честным человеком, должен не только стараться делать добро, по и при делании оногo приемлет надежнейшие меры: он прилежно себя испытывает, переменяет свои поступки, ежели хотя немного что приметит в них предосудительного, и слагает с себя все знатные и важные должности, сколько б ни были они для него драгоценны, как скоро приметит, что он не имеет в себе потребных к тому способностей и не может возложенных на него должностей исполнять с пользою.

Итак, видя, сколь немногие люди заслуживают истинное название честного человека,

и критическая переписка арабского философа Маликульмульк с водяными, воздушными и подземными духами надлежит не только удивляться, но и соболезновать о всем роде человеческом, который по природе поработен столь великим слабостям. Люди должны бы стыдиться бедственного своего состояния, что в свете между ними столь мало находится истинно добродетельных и достойных заслуживать от философов название честных людей. По справедливости надлежит сказать, почтенный Маликульмульк, что гораздо более таковых можно найти в простых людях, не прилепленных ни к придворной, ни к статской, ни к военной службам, ибо, будучи обременены немногими должностями, гораздо менее имеют они затруднения учиниться истинно честными людьми. Сколько благополучен тот, кто подобно тебе, почтенный Маликульмульк, затворясь в своем кабинете, беседует с искренними своими друзьями, коих у него весьма мало; живет доволен своею участию и не завидует знатным чинам, кои редко бывают сопряжены с истинным достоинством и в коих почти невозможно совершенно исполнять всех нужных добродетелей, потому что в знатных чинах требуется оных великое множество.

Конец первой части

Часть вторая

Письмо XXV

От сильфа Дальновида к волшебнику Маликульмульку

О некоторой болезни, подобной меланхолии, в которую всякого состояния люди часто впадают; как узнавать в них сию болезнь по разным их поступкам и какие потребны лекарства для разогнания их задумчивости. О истинных любомудрах, для которых сие лекарство совсем не годится, ибо они поступками своими от обыкновенных людей отличаются. Что ученые избирают для своей забавы совсем другие предметы, нежели какие бывают избираемы невеждами, коими наполнены города и другие селения. О каббаллистике иудейской и о небесной азбуке, в которой каждая звезда представляет буквы, посредством коих можно узнать о всем, что делается на земле, что происходит в кабинетах вельмож и что бывает у запертых в комнатах вертопрашек, на улицах и даже в самых глухих переулках и пр. Часто случается, почтенный Маликульмульк, что люди всякого состояния имеют в жизни своей такие часы, когда бывает им очень скучно; они приходят в задумчивость и впадают так как бы в некоторую болезнь, подобную меланхолии; тогда нужно им какое-нибудь лекарство или какой-нибудь способ к разогнанию их задумчивости.

Величайшее искусство в знании сего лекарства состоит в том, чтоб знать совершенно нрав и склонности страждущих сего болезнию. Есть люди, которые почти не имеют в себе души и, кажется, составлены из одной только вещественности. О таковых, ежели бы спросили моего мнения в случае их задумчивой болезни, то я посоветовал бы возить их в карете или в каком-нибудь другом экипаже на разные гуляния. Петиметру подал бы я совет, чтоб он скакал во весь опор по улицам, обрыскал бы все публичные собрания и как можно больше вертелся бы и прыгал; молодой девушке, чтоб приманила она к себе побольше волокит и выслушала бы их любовные изъяснения; старухе, чтоб ворчала она на молодых и бранила бы все их веселости; госпоже, чтоб дралась с своею служанкою, а придворному, чтоб шаркал подолее во дворце.

Все искусство докторов над больными такого рода состоит только в том, чтобы уметь различать их склонности, по которым в одну минуту можно узнать причину их болезней. Вместо того, что доктора, следующие правилам Иппократа и Галиена, щупают у своих больных пульс и смотрят язык, оные доктора, умеющие пользоваться сих скучных и задумчивых, узнавали бы их болезнь по разным их поступкам; то есть у мужчин, каким образом на ком падет парик, как кто причесан, какую имеет выступку, какие ужимки, как изгибается в поклонах, каким манером открывает табакерку и нюхает табак; а у женщин, как у которой приколена ленточка, каким образом надет головной убор, какое движение делает она головою, как покусывает себе губы, прищуривает глаза и повертывает опахалом. Они в одну минуту проникли бы, от какого источника проистекает их болезнь и какие предписать им лекарства. Ежели бы в большом городе увидели они какую красавицу в скуке и задумчивости, то узнали бы тотчас, что она скучает быть вместе с своим мужем и что ей непременно нужно предписать частые прогулки. А если бы увидели другую красавицу в деревне, худеющую и почти умирающую от скуки, то одного на нее взгляда довольно бы было, чтоб узнать, что ей надобно предписать городской воздух и частые посещения театральных позорищ, маскарадов и всех публичных собраний. Вот каким образом должно поступать с этими бездушными машинами, которых в людских сообществах находится великое множество. Но употребление сего способа совсем не годится для людей, одаренных разумом и здравым рассудком, для таких, например, каков ты,

я и критическая переписка арабского философа Маликульмульк с водяными, воздушными и подземными духами. Почтенный Маликульмульк, то есть для истинных Любомудров, прилепляющихся к полезным наукам, которые сходятся с обыкновенными людьми одним только телесным составом, из коего дух их, подобно как из темницы, не мог еще освободиться. Люди сего свойства, будучи редкими во всех своих чувствах, состоят на земле совсем в особенной от других степени. Они кажутся другим людям во всем чудными, потому что весьма отличаются от них как в образе мыслей и в разговорах, так во всех своих поступках и даже в одежде. Они и в самых обыкновенных человеческих действиях поступают совсем иначе, нежели как то делают простые люди; и потому-то невежды ввели в поговорку о таких людях говорить, что «нет никакого высокого разума, который бы не имел в себе какой-нибудь глупости». Но можно ли безумцам судить о мудрецах? Сии мудрые люди были бы почтены во всем им подобными, ежели бы поступками своими не отличались.

Различие сих мудрецов от обыкновенных людей простирается даже до самых увеселений, нужных для сохранения их здоровья. Ученые избирают для своей забавы совсем другие предметы, нежели какие бывают избираемы невеждами, коими наполнены города и другие селения. Они смертельно скучают тем, что других чрезвычайно увеселяет; зевают при слышании наилучших музыкальных концертов; засыпают от пустых и ничего не значащих разговоров; и внутренне терзаются, увидя играющих в карты или в другие какие игры. Все сии забавы нимало их не утешают потому, что оные кажутся им низкими и недостойными того, чтоб занимались ими разумные создания; а они, для разогнания своей скуки, обыкновенно избирают такие предметы, которые могут доставить приятное упражнение их разуму. Мудрая их душа находит себе забаву и получает свое отдохновение только тогда, когда они от вышних наук обращаются к посредственным.

Мудрецов, углубляющихся в таинственные науки, в перемене их упражнений можно уподобить пьяницам в перемене их напитков. Сии последние, приобихши всегда пить водку и другие самые крепкие напитки, думают о себе, что они тогда очень воздержны, когда вместо крепких напитков употребляют виноградное вино или какую-нибудь наливку. Так точно и мудрецы, сделав привычку углубляться в рассматривание стихийного мира и иметь сообщение с силами и гномами, почитают всякую низшую пред сею науку невиннейшею своею забавою.

Я сам, почтенный Маликульмульк, имею такой же вкус, те же самые употребляю способы для возбуждения в себе веселости. Вместо философической каббалистики, которая бывает обыкновенною нашею пищею, прилеплюсь я к каббалистике иудейской. Для нас она совершенная игрушка: тут нужно только выучить четыре или пять таинственных азбук. Как скоро узнаешь все находящиеся в них буквы и будешь уметь складывать и переворачивать их разными способами, – одним словом, как скоро научишься посредством сих азбук порядочно читать составленное из их букв, тогда никакие тайны в природе не могут быть сокрыты.

Но я тебе признаюсь, почтенный Маликульмульк, что из всех азбук иудейской каббалистики есть самая любопытнейшая и забавнейшая азбука небесная: в ней каждая звезда представляет букву, сии звезды различными своими положениями составляют слова, из коих каждое означает в небе какое-нибудь определение или оракул, дающий решение всему тому, что делается на земле. Итак, если кто умеет читать сию прекрасную книгу, тот может познать все человеческие деяния и проникать даже в самые сокровеннейшие тайны. Тут можно видеть, что происходит в кабинетах вельмож; что делается у запертых в комнатах вертопрашек; что бывает на улицах и даже в самых глухих переулках. Какие иногда представляются чудные и смешные зрелища! Как люди счастливы, что немногие знают сию таинственную небесную азбуку и не могут ее читать открытыми глазами.

А как я очень искусен в этой науке, то для меня нет никакого другого приятнее сего упражнения. Поелику каждое созвездие управляет различными странами света, то я с помощью их часто прогуливаюсь из Европы в Азию, из Китая в Гишнанию, и нередко случается, что в одну светлую ночь я вижу все то, чем может удовлетворено быть мое любопытство. В одном месте я вижу философа, который, ежедневно преподавая людям наставления о презрении богатств, сам внутренне терзается завистию, видя у соседа своего, богатого откупщика, огромный дом и великолепный сад. В другом месте усматриваю я знатного вельможу, который, гордясь пред всеми пышными своими титулами и знатным происхождением, обращается с подлыми потаскушками в сластолюбии и проводит время с хитрыми обманщиками в игре. Чрез минуту потом рассматриваю я состояние Парнаса и смеюсь над некоторыми марателями бумаг, которые жалуются на дурной вкус в чтении нынешнего века людей и думают о себе, что они очень умны и что все сочинения их прекрасны. Таким-то

и критическая переписка арабского философа Маликульмульк с водяными, воздушными и подземными духами образуются моим взорам различные зрелища; предо мною предстоит огромный театр с великолепнейшими украшениями, на котором действующие лица всякого состояния: и цари, и придворные, и статские, и военные, и пастухи, и крестьяне играют различные роли во всем совершенстве, очень сходно с природою.

Я знаю, что многие невежды будут насмехаться над сей каббалическою наукою и станут уверять, что это одна только выдумка; что из звезд можно сделать всякие буквы, какие захочешь, и составлять из них такие слова, какие вздумается; но им в ответ можно бы было бы сказать, что они то думают потому, что некоторые из них очень часто, основывая мнения свои на одних только догадках, наверное утверждают о таких делах, которые совсем неверны. Например: в одном собрании, в разговорах решительно располагают войною и миром, выводят войска в поле, поражают неприятелей, одерживают страшные победы и, наконец, предсказывают, что чрез год случится, и чего совсем быть невозможно. В другом собрании делают утвердительное решение о добродетелях и пороках всех людей; уверяют, что такой-то купец сделался банкротом дурным своим поведением, что такой-то получил чин чрез разные хитрости и обманы и подлый угождением министру; или что такая-то госпожа ласкает своего мужа притворно; но если спросить: известны ли первым мысли государя, предприятия министра и кабинетские расположения о войне или о мире? а вторые рассматривали ли счета обанкротившегося купца, точно ли знают все хитрости произведенного в чин господина и входили ли во внутренность сердца той госпожи? – Совсем нет!.. главные причины того, о чем они делают решительные утверждения, совершенно им неизвестны; но выводимые ими из оногo следствия почитаются самою истиною.

Сие привело мне на память, почтенный Маликульмульк, что некогда между учеными предложена была на решение задача: которая наука всех нужнее в свете и которую люди более уважают? Одни говорили, что то богословие; другие, что – юриспруденция; большая же часть утверждали, что всех важнее медицина. Все они думали иметь на своей стороне справедливость. Повсюду люди хотят, чтоб другие следовали их мыслям; или в самых сомнительных делах подают свои советы тогда, когда о том совсем их не просят; или думают, что имеют верные лекарства от всякой болезни. Что до меня, почтенный Маликульмульк, то я мог бы утвердительно сказать, что иудейская каббалистика пред всеми другими науками имеет преимущество. Но в нынешнем свете почти нет ни одного человека, который не был бы каббалистом в суждении о своем ближнем. Ныне почти каждый, располагая по собственному своему пристрастию, о всяком делает утвердительные решения, и хотя дела его и поступки совершенно ему неизвестны, однако ж он всех уверяет, что говорит самую истину.

Письмо XXVI

От гнома Буристана к волшебнику Маликульмульку

О перелетении его в другой остров, где входил он в прихожую и во внутренние комнаты знатного вельможи; что там видел и какие делал замечания о поступках того вельможи и пр.

Третьего дня, любезный Маликульмульк, перелетел я в ближний остров из старого, в котором был прежде. Нетерпеливость удовольствоваться странное желание Плутона принудила меня сделать немалый скачок; но я думаю, что и еще триста таких скачков не наведут меня на желаемую находку.

Со всем тем, не совершенно отчаяваясь, на сих днях утром прохаживался я по одной из знатнейших улиц здешнего города и вдруг увидел перед собою великолепный дом, у коего было многочисленное собрание народа, желающего туда войти. Множество изуродованных стариков старались перегнуть здоровых, и хромые, припрыгивая на своих костылях, завидовали безруким, которые их выпереживали. Между тем, полдюжины сильных лошадей привезли небольшой ящик, в котором, как показалось мне, положена была человеческая фигура из разных цветов мрамора.

«Боже мой! – сказал я моему хозяину (он делал мне честь, прохаживаясь со мною), – или ваши лошади очень слабы, или жители здешнего острова безрасчетны, что впрягают шесть таких сильных тварей под одну каменную статую, в которой весу не более двадцати пяти пуд».

О какой статуе изволите вы говорить? – спросил у меня хозяин: – здесь не вижу я никакой статуи, – продолжал он, – а этот табун лошадей привел сухощавого человека, в два аршина и два вершка ростом, в коем весу не более сорока шести или осьми фунтов». После сего еще другие табуны лошадей, подвозя таких же чудных

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами творений, пылили своим топотом глаза нескольким бедным людям, кои тащили на себе превеличайший камень к строению какого-то публичного здания.

«Государь мой! – сказал я моему хозяину: – пожалуйста, растолкуйте мне это странное обыкновение: для чего здесь множество лошадей возят на себе одного человека, который, как я вижу, сам очень изрядно ходит; а, напротив того, тяжелый камень тащат столько людей, сколько числом и лошадей поднять его едва в силах? И не лучше ли бы было, чтобы, отпрягши от этих ящиков хотя по нескольку бесполезно припряженных лошадей, употребить их на вспоможение этим беднякам везти камень?» – «Я не знаю, сударь, – отвечал хозяин, – почему здесь десять человек тянут часто ста по два пуд и почему шесть лошадей тащат машину с руками и с ногами в шестьдесят фунтов; но то знаю, что всякий из сих надутых тварей почтет себе величайшим оскорблением, если отпречь хотя одну лошадь от его ящика, и что многие из здешних жителей мучатся по пятидесяти лет и более только для того, чтобы нажить шестерку лошадей, которая бы таскала их истощившуюся мумию». – «Но какая выгода сих господ, – спрашивал я, – перед теми, коих возит одна пара?» – «Та, – отвечал он, – что они нередко, пользуясь своей шестернею, сминают их на дороге; а притом и все пешеходцы отдают всякой шестерне всевозможное уважение и уступают скорее дорогу для того, что она одна, проезжая мимо их, может вдруг десятерых забрызгать грязью с ног до головы. Посмотрите, как все прохожие у этого дома теснятся и мнут друг друга, чтобы не быть задавленным прискакивающими ежеминутно табунами».

«Вижу, – отвечал я: – но скажите мне, какое здесь собрание и что это за дом?.. Не храм ли?» – «Нет». – «Не театр ли?» – «Нет». – «Так не аукционная ли комната?» – «И то нет», – отвечал мне хозяин: – а все это вместе. Храмом можно назвать этот дом потому, что всякое утро бывает в нем поклонение живому, но глухому и слепому идолу; театром потому, что здесь нет ни одного лица, которое бы то говорило, что думало, не выключая и самого сего божества; а аукционную комнату потому, что тут продаются с молотка публичные достоинства. Итак, некоторые из сего народа, бродящего в комнатах и на крыльце, приехали сюда для того, чтобы сделать поклонение сему идолу и потом надуться гордостью, если он хотя нечаянно на них взглянет; другие затем, чтобы с улыбкою уверить его о своей дружбе тогда, когда стараются они ископать для него тысячу погибелей; а третьи прискакали с поспешностью, чтобы набивкою цепи перехватывать друг у друга публичные места, которые его секретарь и старшая любовница продают с молотка во внутренних своих комнатах. – Теперь вы видите, – продолжал он, – что это дом знатного барина; а правда ли то, что я вам говорил, то если вы туда войдете, вся эта толпа будет вам служить очевидным свидетелем». – «Но когда можно туда войти?» – спросил я. – «Вы еще и теперь успеете, – отвечал он, – на дворе очень рано, сюда только что начали съезжаться, вот еще восемнадцать скотов притащили трех бесполезных человек. Ступайте скорее, если вы любопытны: там сегодня прекрасное собрание». И я, не медля нимало, продрался в покои. Многочисленное общество здоровых и изуродованных бедняков наполняли переднюю комнату; бледные их лица и изодранные платья показывали, сколь пунша была им помощь; вольность и веселие были изгнаны из сих печальных стен; многие женщины плакали, рассказывая о своих несчастьях близ стоящим, но редкие им сострадали, а всякий занимался более своими собственными злополучиями. Отягченные усталостию в летах старики облокачивались своими седыми головами о холодные стены и в дремоте забывали и о вельможе и о своих бедствиях, доколе больные несчастливцы не разрушали слабого их забвения своим оханьем. Некоторые женщины приводили туда своих младенцев, конечно, для того, чтобы более возбудить о себе сожаление в вельможе. Бедные матери, чтобы утешить своих детей, которые просились домой, давали им куски черствого и засохлого хлеба, и множество голодных просителей с печальною завистию смотрели на ребенка, который, может быть, доедал последний кусок в своем доме. Словом, прихожая сего барина походила более на больницу убогого дома, нежели на комнату знатного господина; и в самых темницах, любезный Маликульмульк, едва ли можно найти более бедности и уныния.

«Не ошибкою ли я сюда вошел? – спрашивал я близ меня стоящего старика: – Мне сказали, что это комнаты, его превосходительства». – «Точно, сударь, – отвечал старик, – это его прихожая или, лучше сказать, прохожая, ибо он только через нее проходит к своей великолепной карете, не успевая и взглянуть на множество бедных просителей, которых обманчивая надежда не замедливает опять приводить в его дом». – «Как, – вскричал я, – и его окаменелое сердце не трогается воплем сих несчастных женщин, сих стариков и изуродованных просителей! Он имеет жестокость не внимать их стонам!» – «Внимать, сударь! – говорил печально старик: – они ими утешаются: множество просителей составляет великолепие вельмож, и они наперерыв

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами стараются накапливать их большее число, поманивая иногда пустыми обещаниями. Я сам, государь мой, я сам поседел на этой скамейке; целых 20 лет я был зрителем и действующим лицом сего плачевного театра; однако ж еще и ныне ничуть не надеюсь скорого решения моего дела, которого со всем тем оставить мне никак не можно. Я вижу, – продолжал он, – что вы еще новы в здешнем месте».

«Это правда, – отвечал я, – и я бы просил вас удовольствоваться в некоторых вопросах мое любопытство... Скажите мне, что это за бумаги, которые друг другу показывают многие находящиеся в сей комнате». – «Это бумаги, – говорил старик, – называемые просительными письмами; просители стараются как можно чище и красноречивее их написать: они самыми живыми красками доказывают в них свою бедность или несчастья, которые иногда столь ясно описаны, что могли бы иметь успех и у самого жестокосердого вельможи». – «Они, конечно, смягчают, – спросил я, – сих бояр?» – «Нимало, – отвечал старик, – знатные имеют предосторожность не заглядывать в сии письма, и потому-то красноречие самого лучшего писателя остается без действия».

В сие время услышал я позади себя оханье одного безногого, который сидел в углу комнаты, и я осмелился спросить у него о причине столь великой его горести. «Я вздыхаю, сударь, о том, – отвечал он мне, – что у меня оторвали ногу, а не голову: я бы вечно не знал, что такое есть прихожая знатных. Года с четыре назад, – продолжал он, – некоторый знатный господин предложил мне вступить в военную службу. Он описал мне самыми разительными словами, какую могу я сделать пользу своим землякам, сделавшись хорошим воином; сердце мое наполнилось тогда жаркою любовью к отечеству, и я, оставя торговлю, посвятил себя войне. Имея отважный дух, всячески старался я оказывать себя во всех сражениях, покуда пушечное ядро не наказало моего безумного бешенства: оно унесло мою ногу, а с нею вместе и покровительство моего начальника, которому нужны были любимцы с обеими ногами. Мне, однако ж, сказало, что я могу иметь пропитание от отечества, которому жертвовал собою. Наконец, я уволен от службы, нажив в оной тридцать ран и деревянную ногу. С таким-то прекрасным доказательством моей храбрости явился я к сему вельможе. Он очень учтиво меня принял и обещал мне выходить порядочное пропитание; с такою радостною надеждою таскаюсь я к нему уже четыре года на моей деревяшке; но он иногда изволит меня увещавать, чтоб я пообождал до случая, выхваляя передо мною самыми отборными словами терпение... Я верю, что его похвала прекрасна и красноречива; но верю также и тому, что и со временем, к его славе и к чести моего отечества, умру в этой прихожей с голоду...»

Едва dokonчил он свою повесть, как голосов в шесть закричали: «вот он! вот он!» и все зачали обступать какого-то толстого человека, который с довольною гордостью отвечал на низкие поклоны заслуженных стариков, которые гнулись перед ним до пояса... Я продирался, как мог, сквозь просителей, и не успел еще продраться, как они опять закричали: «он ушел!»

«Кто это был, – спрашивал я у них: – не сам ли его превосходительство?» – «Нет, – отвечал мне какой-то осиплый голос: – это его комнатный служитель, которого мы просили, чтобы он доложил об нас его превосходительству, но нам сказали, что он сам скоро выдет и что велено уже подавать карету». Тогда многие зачали вновь перечитывать и приготавливать свои письма, а я между тем пошел далее и, прошед комнаты через две, увидел совсем другое зрелище.

Я вошел в комнату, которая вся наполнена была чиновными и богатыми, которые с гордостью смотрели друг на друга. Там богатый откупщик стоял нерадиво у окошка и выслушивал повесть у чиновного; надутый гордостью судья зевал в креслах, между тем как перед ним молодой офицер рассказывал о своих двадцати победах: как он переколотил своєю рукою с 700 человек неприятелей и выломил городские ворота, не получа ни одной раны, за что, будучи одобрен свидетельством своего дядюшки и под покровительством своей бабушки, приехал просить богатого награждения. В другом месте стихотворец, надув щеки, читал с важностию ничего не значащие свои бредни, которые украсил он именем его превосходительства, прописывая, что он, не имея в виду никакой корысти, подносит ему свои труды, как покровителю наук, который никогда не оставляет дарования без награждения; или, лучше сказать, он начинал свое письмо хвалою своему некорыстолюбю, а оканчивал тем, что просил за свою книгу хорошей платы.

Сей последний сделал мне честь своими учтивостями и, подошед ко мне, показывал свое приношение. Это была книга о златом веке; я прочел в ней несколько строк, в которых автор, браня изо всей силы нынешние времена, выхвалял те годы, которые

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами были за 30 000 лет до нашего времени.

«Я сомневаюсь, – сказал я ему, – понравится ли ваша книга его превосходительству: вы в ней хвалите такой век, в котором не было ни бедных, ни богатых; ни знатных, ни просителей, – и подносите ее знатному вельможе». – «О, это ничего, сударь! – отвечал мне автор: – наши вельможи держат у себя в библиотеках самые прекрасные нравоучения и самые острые критики; но со всем тем никогда не жалуются на авторов, для того что их не читают. Здешнему вельможе можно, не опасаясь нимало, поднести на него самого три тома сатир, за которые иногда из тщеславия заплатит он деньги и отдаст своему библиотекарю». – «Как! – спросил я, – кто ж у вас читает Платоновы сочинения О должностях, Наставление политикам, О состоянии земледельцев и О звании вельмож?» – «Купцы и мещане, – отвечал автор, – а вельможи читают веселые сказки, детские выдумки и шуточные басни». – «Так, поэтому, – сказал я, – вы бы лучше сделали, если б поднесли ему какую-нибудь книгу такого содержания».

«О! как вы мало знаете свет! – вскричал автор: – поверьте мне, сколько бы ни веселила его такая детская книга, но он заплатил бы за нее одним презрением, и сколько бы, напротив того, ни скучна была книга под нравоучительным названием, но я, конечно, бы был изрядно за нее заплачен: наши вельможи совсем не таковы в свете, каковы в своих кабинетах; в публике часто они бранят то, что у себя жалуют, и часто наружно хвалят то, что внутренно ненавидят, спросите у всякого вельможи, каковы для него кажутся Юстиевы рассуждения и Примечания Ришелье? Он вам побожится всем, чем хотите, что он ничего вечно не читывал основательнее и умнее сих сочинений; но если вздумаете вы спросить о содержании этих книг, то редкого вельможу не приведете таким вопросом в смущение. Вот, – продолжал он, – каковы у нас многие вельможи. Со всем тем все почитают их счастливыми, и мелкочинные всячески ищут быть на их месте, которое получа, не один раз в сутки проклинаят; что до меня, то я лучше хочу доставать от них за подносимые мною книжки деньги, нежели, быв на их месте, платить за то, на что никогда взглянуть мне не удастся».

«Но скажите мне, знаете ли вы сего вельможу коротко? – спрашивал я моего оратора: – признаюсь вам, что я нахожу великую разницу в вашем письме с тем, что видел собственными моими глазами: вы выхваляете его добродетель, а я в его прихожей приметил несколько человек, которые в двадцать лет не испросили еще от него ни одной милости; вы превозносите его снисхождение, а он ничьих просьб не слушает, почитая уже и то важным, когда мимо своих просителей пробежит к своей карете; да и сего часто не делает, а выезжает со двора совсем с другого подъезда».

«О, сударь, – вскричал сочинитель, – конечно, вы очень мало обращались между людьми, когда не знаете, что это правило подносительных писем: в них почти всегда одними словами выхваляется тот, кому подносится книга, хотя подноситель не только его подробно, но и имя его мало знает: оттого-то вельможи с самого начала своей знатности, читая в письмах, сколь они добродетельны, думают о себе, что и в самом деле публика о них так заключает, и не стараются подтверждать своими делами то, что мы пишем в письмах». – «Но если каким-нибудь случаем не удастся вам получить от них награждение, – спрашивал я, – что вы тогда делаете?» – «Мы пишем на них сатиры, – отвечал он, – и хотя они их не читают, но мы делаем так, как маленькие ребятки, которые по привычке плюют на тот столб, о который ушиблись, и думают, что тем ему довольно отместили; мы...»

Вдруг отворилась дверь, и все расступились на две стороны, чтоб дать дорогу.

Вельможа, убранный великолепно, вышел из своего кабинета с веселым видом. Он очень учтиво кланялся на все стороны; со многими улыбался, а иным шептал на ухо, и они почитали себя счастливыми. После того принимал он письма со уверением, что через два дни все их рассмотрит; но я уже имел причину тому не верить.

Я приметил, что многие просительные письма были довольно толсто свернуты, и такие принимались с большею благосклонностью, а наполненные одним красноречием отдавались секретарям. Между тем продрался мой сочинитель и с нижайшими поклонами поднес ему свою книгу.

«Будьте уверены, – сказал ему вельможа, – что дарования ваши не останутся забыты: я не премину награждать вас при первом случае; я уже знаю, что книга ваша прекрасна. Возьмите, – сказал он одному из своих приближенных, – и отнесите ее

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами ко мне в кабинет; я надеюсь заняться ею через несколько дней».

Приближенный взял ее у него из рук и отдал ее секретарю, который, как я заметил, вошед в кабинет, бросил ее под стол, наполненный старыми бумагами. Между тем вельможа продолжал степенно шествовать к прихожей, кланяясь на обе стороны всем и ни на кого не смотря; он делал внимательное лицо ко многим словесным просьбам, из которых, однако ж, ни одного слова не выслушивал, а был занят, как я заметил, совсем другими рассуждениями. При приближении ж к дверям пустился он, как молния, чрез прихожую, закутавшись в свой плащ и не внимая тысяче голосов относящих к нему просьбы несчастных и едва успел сказать им всем, чтобы побывали они завтра, как, севши в карету, пропал из вида и оставил в отчаянии бедных просителей.

«Что до меня, – сказал толстый судья, – то я всего вернее надеюсь получить обещанное место: красноречие золота никогда не обманет. Пусть бедные стонут, что их не выслушивают; но мы, у которых кошельки плотны, мы, право, не имеем причины жаловаться на вельмож: правда, что мы дорого им платим, по наши челобитчики после заплатят нам то с выгодою, что мы отдаем вельможе за то, чтобы высасывать из кошельков у просителей.»

«И я, – сказал молодой повеса, который хвалился, что побил 700 человек, – не меньше вашего надеюсь получить награждение: бабушка моя родня комнатной девушке его любовницы; а предстательство сей нимфы дороже всяких свидетельств; если бы я, и совсем не показываясь к сражению, всклепал на себя, что перебил три тысячи человек, то и тогда бы мне поверили и наградили бы мою храбрость; пускай трудятся бедняки, не имеющие предстательств; нашу братью нередко более награждают за храбрый язык, нежели их за храбрые дела».

Вот, любезный Маликульмульк, какого я нашел вельможу: говорят, что здесь есть много из них добродетельных; но и один порочный делает пятно правительству, лишая счастья многих достойнейших себя людей.

Письмо XXVII

От сильфа Выспрепара к волшебнику Маликульмульку
О искании в воздушной области тени одного секретаря, которого не мог там найти. Разговор его с тенью некоторого судьи и пр.
При последнем нашем с тобою свидании, премудрый Маликульмульк, просил ты меня разведать, где находится точное пребывание некоторых известных тебе теней. Исполняя сие твое желание, облетал я все пределы обширной воздушной области; однако ж не мог получить об них никакого сведения. Клянусь тебе честию сильфа, что нет между счастливыми воздушными обитателями души того секретаря, о участии которого ты более, нежели о прочих, узнать любопытствовал. Едва во время моего о том разведывания мог я отыскать несколько и судейских теней; ибо люди, отправляющие на земле правосудие, редко бывают столь чисты, чтоб могли прожить в воздухе до того страшного и великого дня, когда все твари предстанут к подножию престола всемогущего судии всего света, дабы услышать приговор некончаемого своего блаженства или вечного ничтожества.

Для меня весьма казалось удивительно, что когда спрашивал я о сем секретаре у некоторых встречающихся со мною теней, то, при одном его названии, содрогались они от негодования и мгновенно прочь от меня отлетали. Молчание их служило мне вместо ответа, и я потерял было совсем надежду узнать, отчего происходило сие их неудовольствие, как предстала пред меня тень некоторого судьи, которая, казалось, не столько удивлялась моим вопросам, как прочие.

«Здесь нет той тени, которой ты ищешь, – сказала она мне, – а старайся отыскать ее у гномов или у ондинов. Конечно, неизвестно тебе, какую жизнь проводила она на земле, когда думаешь найти ее между счастливыми воздушными обитателями. Ты должен знать, что никогда душа корыстолюбивого секретаря не заражала сих прелестных мест несносным своим присутствием». – «Ты мне кажешься, – отвечал я судье, – не столь гневлив, как прочие попадавшие мне тени; итак, пожалуй, скажи мне, отчего происходит, что название секретаря не столько для тебя отвратительно, как для прочих?» – «Причина тому та, – отвечал мне судья, – что я таким людям, каков был тот секретарь, о котором ты спрашиваешь, обязан великою благодарностию; без них не был бы я, может быть, никогда в блаженном сем жилище». – «Слова твои, – отвечал я ему, – кажутся мне очень странны. Как можешь ты считать себя обязанным за полученное тобою

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами. Благополучие таким людям, которых все почитают столь злыми и ненавистными?»

«Ты не станешь сему удивляться, – отвечал судья, – когда узнаешь, что во время моей жизни ни о чем я столько не старался, как выводить наружу все плутни приказных крючкотворцев. Я наказывал их жесточайшим образом, и посредством моей строгости имущество многих бедных вдов и несчастных сирот избавлено было от хищных рук сих гнусных корыстолюбцев. Я хочу, – продолжал судья, – рассказать тебе, что случилось со мною по выходе из того света. Лишь только я умер, то душа моя вознеслась мгновенно даже за пределы огненной атмосферы; тут предстали пред меня два духа, из коих один должен был меня защищать, а другой обвинять. Последний, возвыся свой голос, приносил к подножию престола всемогущего судии все соделанные мною погрешности и утверждал, что по причине беспорядков моих во время молодости недостоин я наслаждаться счастливою жизнью между воздушными обитателями. Он упрекал меня, что с неистовством предавался я постыдным забавам, что долгое время пребывал в оковах у женщин и что был подвержен многим другим порокам, как-то: гневу, гордости и тщеславию. Слыша сие обвинение, я полагал уже наверное, что буду помещен в жилище гномов или по малой мере у ондинов, как дух, долженствующий меня защищать, представлял в оправдание мое следующее. «Правда, – говорил он, – что в молодости своей был он подвержен слабостям, свойственным всем человекам; однако ж ревность, с каковою отправлял он потом возложенную на него должность, заглаживает все его погрешности. Во время своей жизни наказал он жесточайшим образом более ста корыстолюбивых секретарей и чрез то избавил от конечного разорения с три тысячи бедных вдов и с четыре тысячи беспомощных сирот. Но почто исчислять, сколько несчастных защитил он от ненасытного их корыстолюбия? Всем известно, что не только многие, но и один крючкотворец, если б только было в его власти, не посовестился бы для своего прибытка разорить целое государство. Итак, – продолжал он, – что может быть полезнее для общественного благосостояния, как обуздывать пагубное стремление сих лютых исчадиев ябеды и крючкотворства? Если б в каком государстве было двести таких судей, которые старались бы искоренять сих извергов, то, без сомнения, златой век в скором времени там паки бы возобновился; и таким образом, сообразя ревность сей обвиняемой души к оказанию правосудия и добрый пример, оставленный ею на земле прочим судьям, возможно ли воспрещать ей наслаждаться счастливою жизнью в сообществе воздушных обитателей?»

Сим окончил он свою речь. Обвиняющий меня дух начал было опровергать то, что говорил он в мое оправдание, но в самое то время раздался по небесным сводам величественный глас правосудного божества: «Да вселится, – вещал он, – душа, представленная на суд пред моим престолом, в жилище сильфов. Милосердие мое в воздаяние за то, что сей судья защищал вдов и сирот от грабительства корыстолюбивых секретарей, прощает ему все его погрешности, и да промчится весть сия повсюду, что все судьи, поступающие таким образом, как он, найдут во мне краткого и снисходительного судию».

При сих словах пал я ниц, воссылая хвалу милосердию всемогущего, и после сего защитник мой проводил меня сам в сии счастливые места, где пробуду я до самого того времени, когда все праведники призовутся в недра всеблагого бога».

Окончав свое повествование, тень сего мудрого судьи советовали мне не искать более в тех местах души того секретаря, о котором желал ты получить известие; и после того отлетела она за несколько тысяч миль для свидания с некоторым надзирателем над больницами, который, как тебе известно, от всех воздушных теней весьма уважается.

Мне очень досадно, премудрый Маликульмульк, что, невзирая на все мое старание, не мог я исполнить твоего повеления: может быть, узнаешь ты о том скорее от водяных или подземных обитателей; но, по моему мнению, гораздо будет лучше, если потребуешь ты о том сведения от адского какого духа, ибо души столь злых людей, каковы крючкотворцы, мало бы были наказаны, если б определено им было жить во глубине моря или в недрах земли: ад должен быть настоящим их жилищем, а в сем мнении наиболее удостоверяюсь я тем, что как гномы сохраняют в земле богатые металлы и драгоценные каменья, а ондины соблюдают великие сокровища, потерянные смертными, то корыстолюбивые секретари почли бы их жилища весьма для себя выгодными. Без сомнения, завели бы они и там ябеднические свои крючки, посредством которых учинились бы, может быть, со временем совершенными обладателями всех хранимых ими сокровищ.

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духа
Письмо XXVIII

От волшебника Маликульмулька к сильфу Дальновиду

О том, что лучший способ сделаться мудрым и добродетельным есть тот, чтоб размышлять о глупостях и странных нравах людей. Что свет есть обширное училище и что лучше быть зрителем, а не действующим лицом в тех комедиях, которые играютя на земле. Описание нравов некоторых народов, которые он видел в своем путешествии, и пр.

Все получаемые мною от тебя письма, любезный Дальновид, приносят мне великое удовольствие, и я всегда со утешением усматриваю в них основательные твои рассуждения о многих поступках людей, чрез которые заслуживают они осуждение. Ты очень хорошо делаешь, что входишь во все их состояния и примечаешь их слабости и пороки; ибо чтоб сделаться мудрым и добродетельным, наилучший способ есть тот, чтоб размышлять о глупостях и о странных нравах людей. Рассматривая прилежно непостоянство разума человеческого, непременно будешь остерегаться, чтоб самому не впасть в такие же пороки, какие в других осуждаешь.

Сколько есть таких людей, кои, от нестарания познавать нравы и обычаи своих сограждан, без всякого размышления предаются безумной ветрености и перенимают самые смешные и вздорные обыкновения, нимало не примечая своего заблуждения? Ежели бы они хотя один раз обратили примечательные взоры на различные поведения всех людей и не захотели бы принимать никакого другого правила, никакой моды и никакого обычая, кроме тех, кои сообразовались бы с здравым рассудком, тогда защитили бы себя от заблуждения, ибо глупость, примечаемая ими в других, заставила бы их узнать и свое безумие.

Свет есть обширное училище, открытое для всех желающих научиться; нужно только входить в подробное рассмотрение разных случающихся в нем происшествии в совсем противных оным введенных людьми обычаев, тогда будешь иметь все желаемые способы, чтоб сделаться совершенным философом.

Пороки, примечаемые нами в других людях, могут служить для нас всегдашними наставлениями, и можно очень справедливо сказать, что для научения мудрости ничего нет лучше, как входить в рассмотрение всех слабостей человеческих. Глупости вертопраха, бесчинства нахала и безумие невежды достойны быть наставлениями философа, желающего употреблять с пользою природные свои дарования. Во все времена истинные мудрецы учинились таковыми единственно от презрения и отвращения к людям, примечая в них нелепые и с разумом несходные поступки. Глупости и дурачества греков были причиною тому, что Гераклит непрестанно плакал, а Демокрит смеялся.

Дабы получить успех в изучении мудрости, надлежит лучше быть зрителем, а не действующим лицом в тех комедиях, которые играютя на земле. Я всегда, любезный Дальновид, держусь сего правила, и живши столько лет на свете, довольно всего насмотрелся; я очень много путешествовал в намерении, чтоб получить пользу от обозрения различных странных действий, которым был я простым только зрителем и ты, без всякого сомнения, можешь поверить, что я находил тут обширное поле к размышлению. Например, агличане представляли мне тысячу блистательных добродетелей, смешанных со множеством свойственных им пороков, и чрез сие смешение добра и зла я познавал, что участь человеческая столь несчастна, что люди сами собою ничего не в силах сделать кроме того, что могут извинять свои слабости несколькими хорошими качествами. Вообще кажется, что им совсем невозможно учиниться истинно мудрыми и совершенно добродетельными, а это предоставлено некоторым только философам, возвысившим себя выше человечества; что ж принадлежит до простых людей, то между ими разумнейшим и лучшим может почитаться только тот, кто менее других имеет в себе глупости и злости. Щедрость, великодушие, мужество и бесстрашие агличанина помрачатся его гордостью, высокомерием, самолюбием и хорошим о себе мнением.

Во всех землях философ находит истинную причину сожалеть о людях и чувствовать к ним презрение. Путешественник страшится быть жертвою: в Италии – ревности, в Гишпании – суеврия, а в Англии – гордости и высокомерия тех людей, с которыми живет вместе. Однако же я лучше бы согласился попасть в руки жестокому инквизитору, нежели агличанину, который непрестанно будет давать мне чувствовать, сколько он почитает себя во всем лучшим предо мною, и который, если удостоит меня своими разговорами, то не о другом чем будет со мною говорить, как бранить всех других народов и скучать рассказыванием о великих добродетелях своих соотечественников.

и критическая переписка арабского философа Маликульмульк с водяными, воздушными и подземными духами. Ежели же иностранец в Лондоне бывает жертвою высокомерия, то в Париже не менее того мучится от глупости и от наглости. Там его обременяют учтивостями, разоряют почти ежедневным выдумыванием новых мод и оглушают глупыми и вздорными разговорами, а в награждение за сие мучение стараются его уверять, что он во всем подобен тем людям, с которыми живет, и так же глуп, как они. Из всех глупостей французов всего несноснее то, что они всякого живущего у них иностранца хотят преобразить во француза. Ежели кто из иностранцев говорит что-нибудь такое, что им нравится, то они скажут о нем, что он говорит так, как француз, а ежели кто имеет в себе приятный вид и в поступках своих учтив, то о таком говорят, что он совершенный француз. Мне кажется, что ничего нет глупее таких мыслей, кои столько же оскорбительны для путешественников, сколько несносно высокомерие агличан: сии последние говорят о себе, что они только одни в свете почтения достойны; но французы хотя не так грубо изъясняются, однако ж дают ясно разуметь, что всякий человек тогда только может что-нибудь значить, когда бывает им подобен. Обе сии мысли одинаков имеют основание, и обе равно несправедливы и безумны.

Во всех пародах можно видеть одинакие пороки, совсем противные хорошим чувствам и здравому рассудку. В немцах примечал я смешную и мечтательную их любовь к древним титулам и старинным грамотам, и сколь мало уважают они тех, кто не были герцогами, графами, маркизами и баронами. Я удивлялся, что отличным добродетелям и великим дарованиям оказывают они очень малое уважение в сравнении тех почестей, каковые агличанами воздаются истинному достоинству. Глубокомысленный философ, ученый математик и искусный физик не заслуживали ни малой благосклонности от почтенных господ немцев; агличане же, напротив того, воздали памяти Невтоной равномерные почести, каковые должны бы были воздаваться государю, завоевавшему многие владения или чрез мудрое заключение мира доставившему блаженное спокойство своим подданным.

Желательно бы было, чтоб все народы подражали агличанам в оказании почтения и уважения великим людям, родившимся у них, которых природа одарила отличными дарованиями. Я уверен, что если Англия с давнего уже времени славится многими высокими умами, то это не от чего другого, как от того одобрения и поощрения, которое дается там ученым людям; но чтоб сие столь похвальное обыкновение учинилось общественным во всей Европе, то не видно еще к тому большой надежды.

Итак, обратившись опять к первому моему предмету, любезный Дальновид, я еще повторяю, что для избежания того, чтоб не впасть самому в те пороки, которым люди часто бывают подвержены, наилучший способ есть тот, чтоб примечать прилежно все их поступки; ибо всякий обыкновенно гораздо строже судит поступки других, нежели свои собственные, и часто случается, что в тех же самых пороках, которые в других осуждает и почитает нимало неизвинительными, себя самого прощает и для оправдания своего находит разные извинения.

Письмо ХХІХ

От сильфа Дальновида к волшебнику Маликульмульку
О праздности, которой всякого состояния люди безумно предаются и какие бывают от того следствия и пр.
Сколь должно сожалеть, почтенный Маликульмульк, о таких людях, кои провождают всю свою жизнь в безумной и постыдной праздности; если бы таким образом прожил кто и шестьдесят лет, то едва ли бы можно было сказать, что он жил восемь лет; ибо можно ли то назвать жизнью, чтоб в молодости заниматься ветреностию, а в старости ничего не значащими безделками; это можно почесть совершенным безумием и незнанием того, на что человек премудрым творцом на свет создан. Такою бесполезною жизнью люди уподобляют себя несмысленным скотам, которые без всякого размышления предаются одним только чувственным удовольствиям.

Ничего не может быть гнуснее праздности: она часто бывает источником всех пороков и причиною величайших злодеяний. Если войти в подробное исследование, то можно представить многие доказательства, что все пороки, которым бывают подвержены люди, находящиеся в различных состояниях, не от чего другого происходят, как от праздности. Я хочу тебе описать, почтенный Маликульмульк, некоторые мои замечания, кои делал я о людях разного состояния, которые нерачительно исполняют препорученные им должности единственно оттого, что любят жить в праздности.

Судья, который волочится за женщинами, который не пропускает ни одного

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами театрального зрелища и ни одного гулянья и который один только раз в целый год вспоминает о исполнении препорученной ему должности, не был бы таковым, ежели бы меньше любил праздность и если бы употреблял большую часть дни на обучение гражданских прав и законов и на рассмотрение тех дел, которые требуют скорого его решения. От таких важных упражнений не доставало бы ему времени часто ездить в театр и волочиться за театральными девками или показывать себя на гуляньях разряженным, как кукла. Ежели бы не было ни одного судьи праздного, то не было бы ни одного петиметра и ни одного беспутного расточителя.

Придворный, старающийся нравиться своему государю и добивающийся первых чинов в государстве, кажется, должен бы быть удален от всякой праздности; но такова есть участь двора, что люди, к нему прилепленные, тогда только рачительно стараются оказывать ему свои услуги, когда есть какой удобный случай к их возвышению; а коль скоро не имеют они надежды к достижению знатных чинов, тогда живут в совершенной беспечности; и как много бывает в году таких минут, а иногда и целых дней, в которые придворный не имеет при дворе никакого дела, то сие праздное время по большей части употребляется им на роскоши и забавы; он предается тогда многим порокам и старается удовлетворять страстям своим.

Сколь жалостна должна казаться участь придворного в глазах философа! Он не иначе может себя воздерживать, чтоб не быть игралищем гнусных страстей, как предаваясь одной из всех жесточайшей и мучительнейшей страсти, то есть для избежания праздности он должен отдать себя во власть пылкому честолюбию.

Во всех различных состояниях жизни человек может находить полезные упражнения. Духовный старается о наставлении людей в душевном их спасении. Судья разбирает их тяжбы и делает им правосудие. Воин хранит их спокойствие и защищает от неприятелей. Купец доставляет им пищу и все нужное для их жизни. Один только придворный ни о чем больше не трудится, как об удовольствии собственного своего честолюбия. Еще б было лучше, когда бы он непрестанно помышлял о сей мечтательной химере, которая тогда исчезает, когда думает он держать ее в руках своих, нежели пребывал бы в праздности без всякого упражнения. Если бы возможно было изгнать от двора честолюбие или праздность, то, по моему мнению, полезнее бы было оставить первый порок, нежели последний.

Воин часто бывает подобен придворному, ибо он занимается своею должностию в некоторое только на то определенное время, а тогда, когда стоит на зимних квартирах, ежели охотник он до праздности, то может быть без всякого дела и предаваться разным порокам. Очень много таких офицеров, которые нимало не радят ни о добродетели, ни о благопристойном обхождении, весьма нужном в общежитии, и оттого-то нередко бывают случаи к распутству, в которое они очень жадно бросаются. Пороки и дурные склонности ежедневно укореняются в душе их, и они часто делают, наконец, совсем бесполезными как для государя, так и для отечества, ибо от того становятся неспособными к мужественным военным действиям, всякий труд кажется им несносным, и от праздности полученные ими дурные привычки никогда не могут из них истребиться. Сколько есть таких молодых людей, которые при вступлении в службу показывали в себе хорошую надежду; но после сделались порочными и достойными презрения, ибо праздная препровождаемая ими жизнь погашает в сердцах их все те хорошие чувства, которые с самого младенчества при воспитании их вперить в них старались!

Ежели праздность у военнотружущих бывает источником их распутств, то она же бывает у них и побуждением к ссорам, которые гораздо чаще между ими случаются во время стояния их на квартирах, нежели тогда, когда бывают они против неприятеля в поле. В то время, когда занимаются они службою, некогда им думать о непристойных друг над другом шутках, о игре, о пьянстве и о перебивании любовниц; от сего-то обыкновенно бывают поединки, происходящие по большей части от какого-нибудь вздорного и бесчестного начала. Итак, праздность только одна бывает причиною сих гнусных сражений, которые противны общественному благоденствию и запрещаются богом и государем.

Праздность не менее причиняет вреда людям низшего состояния. Купец праздностию и нерадением в короткое время расстроивает дела свои; ежедневный убыток бывает наградю за его беспечность, и он, наконец, всего лишившись, делается банкротом. Еще было бы ему простительнее, ежели бы он тем разорял одного только себя, но, при его разорении, претерпевают убыток многие честные люди, которые оттого только делаются несчастными, что поверили в долг деньги человеку беспечному и нерадивому, который вместо того, чтоб иметь попечение о своем торге, проводил

и критическая переписка арабского философа Маликульмульк с водяными, воздушными и подземными духами. Жизнь роскошную и праздную, не желая принимать на себя никакого труда и беспокойства.

Ежели бы люди прилежнее о том размышляли, почтенный Маликульмульк, что они рождаются для труда и что с самого начала света бог повелел им трудиться в поте лица своего, доколе паки возвратятся они в недра земли, из которой они созданы, то, без всякого сомнения, не захотели бы сопротивляться воле своего создателя и, размышляя о казнях, определенных преступившим заповеди его, они бы сами себе сказали: «Какое право имеем мы исключать себя из сего всеобщего закона? Не потому ли, что мы благородны, богаты, знатны, молоды или стары? Но поелику бог никого не исключил, то ничто нас извинить не может: итак, или будем убегать праздности, или предадимся казни, определенной преступникам». Но, по несчастью, очень немногие рассуждают таким образом, потому что немногие входят в прилежное размышление о тех должностях, которые должны они исполнять на земле, и о том, для чего бог произвел их на свет.

Итак, если люди должны трудиться во всю свою жизнь и если сам бог им оное повелел, то, без сомнения, еще больше обязаны они то делать во время юности, нежели при старости; ибо в первые лета жизни их надлежит им помышлять о приобретении тех познаний, которые должны быть для них полезными во все продолжение их жизни. Праздность, будучи матерью всех пороков, рождает также невежество и высокомерие: сии три порока обыкновенно бывают вместе, и непременно один влечет за собою другой. Человек, удаляющийся от всякого упражнения и убегающий труда, мыслит о себе с надменностию, что он довольно уже во всем знает; его самолюбие и тщеславие, соединяясь с ленностию и беспечием, заставляют его с презрением отвергать всякую науку, которая для изучения требовала бы какого-либо труда: следственно, ежели кто с юных лет предается обманчивым прелестям праздной жизни, тому никак будет невозможно впредь исправить потерянное время; во-первых, потому, что оно никогда назад не возвращается; а, во-вторых, потому, что полученные злые привычки тогда уже истреблены быть не могут.

Письмо XXX

От гнома Зора к волшебнику Маликульмульку
О книжных лавках, в которые он заходил. Рассуждения о книгах Бабушкины выдумки. Бродящий мещанин и о сочинениях Рифмокрада. Разговор о сем сочинителе. Сказка стихами. Ссора некоторого случившегося тут покупателя книг с племянником Рифмокрадовым, и жестокое между ими сражение бросанием друг в друга книг и пр. Недавно, прогуливаясь по городу, любезный Маликульмульк, вздумалось мне осмотреть здешние книжные лавки. Увидя, что они завалены книгами, я удивлялся просвещению нынешнего века; радовался тому, что и в здешней земле есть книги, и сравнивал нынешний век с старыми. «Какая разница, – думал я сам в себе, – между тем временем, в которое книг почти было не видно, и между нынешним, когда лею поверхность обитаемой земли можно укласть книгами». Но и то правда, любезный Маликульмульк, что тогда не приносили стыда ученому свету Бабушкины выдумки, Бредящий мещанин изданные в четвертку без правил краденые сочинения Рифмокрада, которыми завалены ныне все книжные лавки и которые продаются нередко на всю для разносчиков на обертку овощей.

Когда я рассуждал таким образом над увесистыми сочинениями сего прилежного автора, тогда подошел ко мне малорослый и сухощавый человек. «Что вы думаете, – сказал он мне, – о сем великом авторе?» – «А я думал, – отвечал я ему, – что я держу в руках не хорошие сочинения, а худые переводы». – «О, государь мой! Так вы, конечно, не слышали, как его хвалят за его столом, чему я сам бывал очевидным свидетелем; я слышал, что он недавно очень хорошо написал трагедию, в которой разругал прекрасно не помню какого-то святого».

«Эту трагедию больше делал Расин, нежели он, – сказал, подошедши к нам, один из покупателей старых книг. – Возьмите, – продолжал он, – Расинову Андромаху: вы увидите, что здешняя не иное что, как слабый перевод, с тою притом разницею, что почтенный Расин не бранил святых так, как то делает наш неугомонный автор, и я удивляюсь, как такая безбожная брань пропущена тогда, когда, кажется, можно печатать одни только сказки и небывальщины в лицах». – «Вы очень злы, государь мой! – возразил защитник бранчивого автора, – когда поносите сочинителя, привлекающего дарованиями своими к себе в дом множество обожателей своего пера».

«О, этому я охотно верю, – говорил противник Рифмокрада, – что у него бывает

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами много гостей, но кто захочет, тот может видеть, что сему не дарования его, а его повар и гостеприимная жена причиною. Приметьте, что обожатели его всегда собираются в его дом к обеду а похвалы сему Аполлону обыкновенно начинаются со второго или с третьего блюда и раздаются не далее, как в четырех углах комнаты; но за два шага от его дому слава его исчезает, и те самые, которые за обед платили ему похвалою, позабывают, что он есть на свете. Итак, по моему мнению, не можно ставить себя в числе первых писателей тому, о ком это говорят такие люди, которые, не имея чем заплатить трактирщику за обед, ищут оного у вельможи или у стихотворца и расплачиваются обыкновенно за него пустыми восклицаниями и похвалами хозяину. С другой стороны, и жена его расплачивается, как может, с гостями, которые, имея гибкий язык, ищут на счет его всем на свете пользоваться, но, отними у сего парнасского идола его жену, то треть обожателей его исчезнет, отними повара, тогда и достальные две трети пропадут».

«Но вы не можете не признаться, – сказал защитник, – что в театре ему всегда бьют в ладоши». – «Я в половине этого признаюсь, – отвечал другой, – то есть что в театре хлопают, однако ж, не ему, а актерам, которые подлинно достойны великой похвалы за то, что имеют терпение обременять свою память такими вздорными сочинениями, которые более наносят труда живописцам и машинисту, нежели сколько делают театру прибыли; впрочем, нередко сих хлопальщиков привозит он в своей карете, чему свидетельством может вам служить, – сказал он, оборотись ко мне, – сочинение одного моего приятеля», – и при сем начал мне читать следующие стихи:

Ко славе множество имеем мы путей.
Гомер хвалить себя умел весь свет заставить;
А Рифмокрад, чтобы верней себя прославить,
Нажил себе жену, а женушка детей,
Которы в зрелищах, и кстате и не кстате,
В ладони хлопя, кричат согласно: тятя!
Но сколь немного жен есть верных, знает свет;
Не на Лукрецию и наш нашел поэт.
Он видит это сам. Поступки Тараторы
Между приятелей ее заводят ссоры.
Чтоб отомстить за то, чего не мог сберечь,
Хоть одного из них он хочет подстеречь.
Желанны дни пришли, он видит очень ясно,
Что он себя считал в рогатых не напрасно.
«Изменница! – кричит, – того ль достоин я!
Увы! где делась честь! где слава вся моя!»
Жена в ответ ему. «Для этой самой славы
Немного рушу я супружески уставы;
С партером перервать я твой хотела спор,
Где вечно на тебя всемирный заговор;
Завистников тебе, ты знаешь, там немало,
Но ныне тщанием моим их мене стало.
Я многие тебе достала голоса». –
«Любезная жена! ты строишь чудеса! –

Вскричал поэт: – так будь моим ты Аполлоном
И лавры мне плети; в рогах я не с уроном;
В них выгоды себе я вижу лишь одни;
Тем боле голосов, чем боле мне родни»...

«Государь мой! – вскричал защитник Рифмокрада: – если вы не перестанете читать свои пакостные стихи, то я вам дядюшкиными сочинениями проломаю голову», и в то же самое время вооружился он всеми четырьмя томами сочинений Рифмокрада, которые искусный книгопродавец переплел в одну крышу, чтобы придать им более величественного вида. Такой, заряд не мог не ужаснуть его противника, который спрятался за три кипы сих сочинений, назначенных к продаже на вес, и уверткою своею сделал сей четверной заряд бесполезным: с него сшибло одну только шляпу, а голова его получила спасение от тех же самых сочинений, на которые так сильно он восставал. Племянник Аполлонов, ободренный его побегом, ругал его всячески и ожидал храбро вылазки, а между тем, несмотря на просьбы лавочника, бомбардировал его крепость связками новых комедий и трагедий. Гарнизон не трусил с своей стороны и уже, перебросав все огромные переводы, принимался за 16 том сочинений здешней Академии, как лавочник остановил их, обещая привести полицейских; тогда руки наших рыцарей остановились, но языки их были неутомимы, и они наговорили друг другу столько колкого, сколько могли выдумать.

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духа

Защитник Рифмокрада подошел под самые кипы дядюшкиных сочинений, чтобы сделать себя тем слышнее своему противнику, который наблюдал из-за стены набросанной им прозы и стихов все его движения, и когда сей меньше всего ожидал, он, собрав все свои силы, повалил на него все те кипы одним разом. Бедный защитник думал, что на него весь мир обрушился, хотя не более на нем было, как 1192 экземпляра четырехтомного издания. Он визжал, как собака, у которой пришибло лапу, и самым жалким голосом просил себе помощи; хозяин же Сказки, между тем, скрылся, оставя ее у меня в руках. После сего вытащили кое-как бедного племянника, проклипающего сатирика, себя и дядюшкины сочинения, которые едва не задавили его до смерти, и он насилу поплелся из лавки, закаиваясь во весь свой век заглядывать к книгопродавцам. Бедный лавочник укладывал опять разбросанные книги, которые в первый раз увидели было свет, и божился мне, что многим из них никогда такого разбору не было, как во время сего сражения. «Для чего ж здесь мало хороших книг?» – спросил я у него. «Для того, сударь, – отвечал он мне, – что здесь множество авторов, как кажется, более занимаются не тем, чтобы что-нибудь написать, но чтобы что-нибудь напечатать и поспешить всенародно объявить, что они невежи. Страсть к стихотворству здесь сильнее, нежели в других местах, но страсти к истине и к красотам очень мало в сочинителях, оттого-то здесь нет хороших книг, по множество лавок завалены бреднями худых стихотворцев».

Письмо XXXI

От сильфа Дальновида к волшебнику Маликульмульку

О ревности женщин и какое мучение мужья от них претерпевают и пр.

Размышляя о многих страстях, обладающих сердцами человеческими, я почитаю из всех гнуснейшею ревность. Подумай, почтенный Маликульмульк, сколько мучений должен сносить муж от ревности своей жены! По справедливости можно заключать, что между мужьями, бывающими жертвою ревнивого нрава своих жен, большая часть должны приписывать претерпеваемое ими от того мучение больше надменности женского пола, нежели их любви, верности и постоянству; и ежели рассмотрим, что женщины самые распутные часто бывают самыми ревнивейшими, то нетрудно будет увериться в сей истине. Сколько знатных и почтенных мужей всем жертвовали своим женам, которые за то платили им неверностию и вероломством и предпочитали им солюбовников, гораздо хуже их и рождением и достоинством. Сии женщины, будучи от природы ветрены и непостоянны, последовали движениям различных страстей, над сердцами их владычествующих; а потому и не должно удивляться таковым их поступкам. Любовь, делающая всех людей равными, часто побуждает ветреных женщин жертвовать знатными и достойными людьми любовникам, ничего не значащим; но тщеславие приводит их в мучительное терзание, когда они, усмотря их измену, захотят свергнуть с себя их оковы и освободиться от их рабства.

Несчастлив тот муж, который женат на жене богатой и знатной фамилии: она, думая, что составила все его благополучие, непрестанно желает над ним господствовать: не дает ему никакой власти в своем имении, и он часто принужден бывает сносить ее упреки. Если когда употребит он хотя самую малость из ее денег на необходимые свои нужды, то она с досадою и бешенством ему говорит: «Ты мот! Ты хочешь расточить все мое имение; я с тобою разведусь; я принужу тебя заплатить мне все, что взял ты за мною в приданое, и ежели ты не согласишься добровольно со мною развестись, то я буду на тебя просить правосудия; моя родня за меня вступится и не допустит до того, чтоб такой муж, который должен бы был почитать себя очень счастливым, женясь на столь богатой и знатной жене, какова я, ее разорял и расточал ее имение».

Таким образом, почтенный Маликульмульк, говорят очень многие жены, давая чувствовать по несколько раз в каждый день своим мужьям то несчастное преимущество, которое они им доставили знатностию своего рода, и принося с собою богатое приданое. Без сомнения, многие мужья, для избежания таких несносных упреков, пожелали бы от всего сердца взять за себя жену в одной рубашке, а может быть, согласились бы взять и в таком состоянии, в каком предстала Ева пред Адама. «По крайней мере, – сказали бы они, – такая жена не станет нас упрекать своим богатством, которое ни к чему больше служить нам не может, как сделает жертвою своенравной и гордой жены, желающей над нами господствовать».

Но сколь ни бедственна участь сих несчастных мужей, однако ж гораздо меньше сожаления достойна, как судьба тех жалких супругов, которых порок совсем противной гнусной скупости в короткое время повергает в совершенную нищету. Каково должно быть мучение мужа, который, будучи обременен многочисленною

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами, видит все свое имение, расточаемое на увеселительные пиры, на разные забавы и на великолепные модные уборы; ежели он осмелится напомянуть жене, что таковые издержки могут, наконец, истощить все их имение, и если захочет употребить какие средства к прекращению сего злоупотребления, то каким подвергнет себя жестоким браням и ругательствам? Тогда упрекают его в скупости; ему причитается в вину разумная его бережливость и приводят в пример многих других слабых и беспечных мужей, которые, спокойно и не говоря ни слова позволяют женам себя разорять. Итак, что должен он в таком случае предпринять для освобождения себя от сего мучительного беспокойства? Без сомнения, не найдет он никакого к тому способа. Если согласится дать волю своей жене, то сделается совсем разоренным; а ежели будет продолжать делать ей всевозможные сопротивления, то какому мучению чрез то себя подвергнет! Следственно, против воли своей принужден бывает определить себя к сношению несносных терзаний он должен жить с такою фуриєю, которая удобно может найти разные способы получать то, в чем ей отказывают. Сей бедный муж почитает еще особливим для себя счастьем, если она будет довольствоваться одним только расточением его имения и не постарается сыскать себе какого щедрого любовника, который снабжал бы ее всем тем, что нужно ей на ее забавы и на драгоценные наряды.

Целомудрие есть такая добродетель, которую многие худых склонностей женщины почитают пустою мечтою; а те, которые рождены в лучшем состоянии и воспитаны по правилам нынешнего света, первые презирают благопристойность. Они нечувствительно привыкают слышать забавные шутки о неверности и вероломстве и думают, что на оные они и сами должны отвечать такими же шутками. Сие правило хотя довольно легко, однако ж нимало не служит к исправлению нравов. Есть такие вещи в свете, о которых никогда не надлежало бы говорить иначе, как с благопристойностию; ибо без того рано или поздно войдет в обычай, что не будет никакого порочного поступка, который не был бы извиняем, и всякая насмешка принимаема будет с похвалою. Удивительно, что и самые нынешнего века писатели одобряют сей вредный обычай: многие знаменитые авторы часто давали приятный оборот делам самым распутнейшим, и хотя их забавные сочинения не совсем заглаживают гнусность порока, однако ж по крайней мере представляют его не столь омерзительным; а тем самым поощряют женщин принимать охотно сии правила, которые укореняют в них пороки и распространяют их своеволие.

Письмо XXXII

От Астарота к волшебнику Маликульмульку

О вылетении его на землю для спасения от виселицы одного крючкотворца. О прилетении в публичный сад, где видел он многих разного состояния людей прогуливающихся; рассуждение его о них. Чародейством своим велел он вдруг восстать жестокой буре и пустил на всех превеликий дождь; щеголихи бежали и падали в обморок при каждом громовом ударе, и никто из щеголей не хотел им подать ни какой помощи потому, что они сами старались спасти от испорчения свои модные кафтаны и хорошую на головах прическу. Найденное в потерянной записной книжке письмо от Евстрата Хапкина к его милостивцу Строгое приказание моих начальников, премудрый Маликульмульк, принудило меня, оставя мрачное наше жилище, вылететь на поверхность земли. Мне велено было со всевозможною поспешностию лететь на помощь к некоторому приказному крючкотворцу, который приговорен был к виселице. Соблюдая выгоды адской нашей политики, непременно должно было стараться, чтоб сей человек более прожил на свете, ибо, наслаждаясь приобретениями своих плутней и утопая в изобилии, побуждал он чрез то и прочих людей следовать своему примеру. По счастью, нашел я его еще неповешенного; итак, с помощью золота, которым запасся я при отправлении моем из ада, нетрудно мне было весы правосудия преклонить на свою сторону. Могуществом сего прелестного и ослепляющего глаза смертных металла сделал я то, что бедняк не только освобожден был от всякого наказания, но и остался при своей должности, где, надеюсь, по старой привычке, не преминет он грабить и разорять своих ближних так, как и прежде.

После сего, зная, что возвратное мое в ад путешествие не требовало уже никакой поспешности, вздумалось мне побывать в публичном саду того города, в котором я тогда находился. Сделавшись невидимым, забрался я в стоящую на конце большой аллеи беседку, откуда свободно мог все видеть.

Разнообразие как в одежде, так и в поступках прохаживающихся там людей представляло весьма странное для глаз моих зрелище. Множество разнополосых петиметров, собравшись толпою, бегали, припрыгивая, по всем дорогам, толкали

я и критическая переписка арабского философа Маликульмульк с водяными, воздушными и подземными духами всех, кто им ни попадался, заглядывали бесстыдным образом в лицо каждой женщине и произносили во все горло решительные свои приговоры о их пригожестве. Добренькие старушки, желая сбуть поскорее с рук своих дочерей и племянниц, привозили их туда на показ мужчинам. Модные вертопрашки, истощив все свое искусство в щегольских нарядах и протвердив заранее перед зеркалом все новоизобретенные ими ужимки и коверканье, съезжались туда с тем намерением, чтобы весь свет воздвигал жертвенники подделанным их прелестям. Нововыезжий Дон-Кишот, останавливая с грозным видом всех с ним встречающихся, рассказывал с восторгом, каким образом, посредством сильных своих мышц, выломил он один городские ворота и находящийся там гарнизон принужден был весь побить кулаком без всякой пощады, потому что в запальчивости позабыл свое оружие в лагере. Он воспевал сам себе похвалы с таким восхитительным красноречием, что все удивлялись его бесстыдству.

Бесконечно бы было, премудрый Маликульмульк, если б начал я описывать различные глупости многих попадавшихся мне тогда шалунов, ибо пристрастия и пороки, коим поработены большая часть земных обитателей, не могут быть исчислены, а скажу только, что сделанное мною замечание о всех вообще прогуливающих там людях привело меня в крайнее удивление. Все они, пришед в сие место, принимали на себя веселый вид, и всякий, судя по наружности, мог бы их почесть счастливыми, по как мы имеем способность проницать во внутренность сердец человеческих, то мне нетрудно было приметить, что петиметр, невзирая на все свои веселые прыжки, ощущает во внутренности своей души адское мучение, воображая страшную ту минуту, когда безжалостные заимодавцы, потеряв терпение, заграбят последние остатки промотанного им имения и, для благонадежности в уплате достальных долгов, посадят его, может быть, на всю его жизнь в тюрьму. Престарелые кокетки, украсившие себя притворным видом кротости, набожности и душевного спокойствия, терзаются внутренно, вспоминая то счастливое время своей молодости, в которое окружены они были толпою воздыхателей; они с прискорбием взирают на пригожество взрослых своих дочерей и, почитая их соперницами, которые ничем другим, как только одною своею молодостию затмевают созрелые их прелести, всеми силами стараются, чтоб, сбыв их поскорее с рук, приняться опять за старое свое волокитство. Новонапечатанный герой, по уверению которого, кажется, нет ничего такого в свете, чего бы он мог утрашиться, предузнавая, что в следующий поход должен он будет показывать храбрость свою не на словах только, но в самом действии, трепещет от всего сердца, воображая ужасный для трусости своей вид кровопролитного сражения, где не всегда можно найти безопасное убежище за каменьями или под фурманом, и для того мыслит беспрестанно, как бы, употребя посредство своего дядюшки, у коего находится он под особым покровительством, от того отделаться. Ему кажется гораздо безопаснее, пребывая внутри своего отечества, удостоверять свет о своей неустрашимости, делая разные шалости в домах у публичных красавиц или разбивая ночью фонари по улицам, нежели итти за границы сражаться с свирепым неприятелем.

Вот, почтенный Маликульмульк, малая картина тех людских беспокойств и печалей, которые стараются они под притворным видом веселости скрывать друг от друга. Теперь расскажу тебе, что, находясь в сем месте, не преминул я, по обыкновению моему, сыграть со всеми находящимися там людьми небольшую шутку. Ты знаешь, то для нас нет ничего приятнее, как возмущать и причинять всякое зло земным обитателям.

Могуществом моего чародейства повелел я восстать вдруг жестокой буре. В одну минуту небо покрылось мрачными облаками, и сильный дождь, как река, полился из оных. Представь себе, премудрый Маликульмульк, каково было тогда смятение всех, кто там ни был, а особливо ничто не могло сравняться с досадою и беспокойством тех высокопарных и вертлявых существ, которые все достоинство человека поставляют только в прическе волос и в богатых уборах: они нарочно приехали было на сие гулянье с тем намерением, чтоб блеснуть новомодными своими кафтанами, но вдруг увидели, что как оные, так и чудное здание, воздвигнутое на их головах французскими парикмахерами, от дождя и от пыли совершенно были испорчены! О великим удовольствием также смотрел я на некоторых женщин, которые, укрываясь от непогоды, бежали опроретью к своим каретам, но между тем, поражены будучи звуком сильного громоваго удара, упали в обморок, а как всякий помышлял тогда о своей собственной безопасности, то за недостатком услужливых щеголей, которым, следуя обычаю нынешнего света надлежало бы в сем случае их поддерживать, принуждены они были валяться в грязи; однако ж подоспевшие к ним на помощь их служители, вытащив оттуда, развезли всех по домам.

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами. Таким-то образом, восхищаясь моею шуткою, посредством которой причинил я столько зла людям, а особливо щеголям и щеголихам, и видя, что все они в страхе и в превеликом неудовольствии на неудачное свое гулянье разбежались, утишил я бурю и дню возвратил прежнее его сияние.

Между множеством сорванных с голов ветром женских шляпок и растерянных ими в беспамятстве опахалов и проч. попалась мне потерянная записная книжка. Судя по содержанию находящихся в ней бумаг, принадлежала она, без сомнения, какому-нибудь не беззатному человеку. Я препровождаю к тебе, почтенный Маликульмульк, одно вынутое мною из оной письмо, которое, кажется мне, достойно твоего любопытства, и надеюсь, что оно тебе понравится:

«Милосердый Государь, Отец, Милостивец и Благодетель!

С неизглаголанною и неудобьяясненною радостью получил я низжайший от Вашего Превосходительства известие, что милостию всещедрого Творца все учиненные на знаменитую особу вашу представления, удостоверяющие якобы о предосудительных ваших для совести и чести поступках, совершенно вами опровержены, и что могущество Вашего Превосходительства, яко гора Сион, пребудет непоколебимо и во веки не подвижится. Сие не точию мне, но и всем тем, кои состоят под высоким покровительством Вашего Превосходительства, вельми приятно, понеже по благоутробию вашему не только вы сами, но и клеветы, вам порабощенные, со избытком насыщаются от крупниц, падающих с богатой и никогда не оскудевающей трапезы Вашего Превосходительства.

При сем, уповая на премногое множество и яко из неисчерпаемого кладезя излианных на меня вами благодеяний, осмеливаюсь представить благорассмотрительному оку Вашего Превосходительства следующий воспоследовавший со мною казус.

В недавно прошедшем времени некоторые мои недоброты, под руководством судьи Правдива и секретаря Честона (я думаю, что над именами их давно уже в записной книжке Вашего Превосходительства поставлены нолики), учинив меж собою скопище и заговор, представили на меня Правительству, якобы я, имея пристрастие к акциденции, решу все дела противно государственным узаконениям, и будто бы жадность моя к гнусному обогащению столь велика, что заставляю челобитчиков платить себе с числа людей и земли особо учрежденную от меня подать. Вследствие сего их донесения получен в главном здешнем Правительстве указ, коим наистрожайше предписывается, дабы учинить по сему делу подробное разбирательство, и буде окажется, что вышереченное показание моих доносчиков справедливо, то бы без малейшего упущения, в страх другим, велеть начертать на хребте и на ланитах моих знаки беззакония и отослать после в вечное заточение.

А понеже, по слабости, свойственной всем человекам, беззакония превзыдоша главу мою, и поелику не нахожу я за нужное делать в чем-либо пред Вашим Превосходительством укрывательство, того ради, страшась, да не наполнятся лядвия мои велиего и всенародного поругания, возымел я смелость прибегнуть под высокое ваше покровительство. Сию дерзость восприял я более потому, что все мною учиненное происходило не от других каких причин, но единственно от чрезмерного усердия к приумножению собственных интересов Вашего Превосходительства. Чего ради ласкаю себя надеждою, что сильным вашим предстательством донос моих враждебников отослан будет так же, как и все неоднократно уже бывшие на меня показания, в архив, для предания вечному забвению, злодеи же мои, искавшие моей погибели, да падут в яму, юже мне ископать хотели. Сим вяще возбужден я буду к дальнейшему продолжению всевозможных моих стараний о доходах Вашего Превосходительства, На сей же раз Осмелился к нам, Милосердый Отец, вручителем сего копиистом Грошевиковым послать 2000 рублей. Прошу милостивого принятия, да и впредь, аще только изволением вашим оставлен буду при прежнем моем месте, то с помощью всех благ Подателя не премину стараться о таковых же доставлениях. Впрочем, со всераболепнейшим почтением, дондеже грешная моя душа пребудет в изможденном деннонощными трудами телеси, есмь.

Премногомилосердый Отец!

Ваш низжайший, преданнейший и усерднейший слуга

Евстрат Хапкин».

я и критическая переписка арабского философа Маликульмульк с водяными, воздушными и подземными духа

Письмо XXXIII

От сиффа Дальновида к волшебнику Маликульмульку

О том, что глупые люди часто в свете бывают счастливее ученых и что в науках упражняющиеся изнуряют себя многими трудами единственно для того, чтобы имя свое сделать бессмертным

Во время странствования моего по различным землям, когда я вижу, почтенный Маликульмульк, что по большей части счастливыми бывают многие люди такие, которые совсем глупы, не имеют нимало здравого рассудка и почти уподобляются несмысленным скотам, тогда с крайним прискорбием размышляю о тех трудах и попечениях, которым предаются люди, в науках упражняющиеся, единственно для того, чтобы имя свое сделать бессмертным. Сколько горестей и скорбей большая часть из них претерпевает? Надобно думать, что желание проникнуть в глубокий мрак стольких протекших веков имеет в себе нечто чрезмеру лестное для побуждения их жертвовать оному без всякого сожаления тем драгоценнейшим временем, которым надлежало бы с удовольствием наслаждаться.

Из числа немногих лет, которые природа предназначила для продолжения жизни человеческой, надлежит исключить первые пятнадцать, кои проходят или в незрелом младенчестве, или в изнурительных трудах, употребляемых при воспитании; когда же человек достигает свыше шестидесяти лет, тогда уже жизнь его бывает для него тягостна, ибо разум вместе с телом в то время ослабевают и подвергаются различным немощам и болезням. Итак, в настоящей жизни человеческой, считая от пятнадцати лет до шестидесяти, не более можно полагать, как сорок пять лет, и сие-то столь краткое и столь драгоценное время учеными людьми провождается в наитруднейших упражнениях, за кои часто весьма малую получают они награду и кои не подают им никакого другого утешения, кроме единой надежды, что имя их предано будет незабвенной памяти будущим потомкам.

Надлежит признаться, любезный Маликульмульк, что науки, когда кто в них достигнет до того, что преодолет все затруднения, во оных находящиеся, имеют в себе нечто чрезвычайно лестное и что геометр и физик, трудясь двадцать лет сряду с неуспынными попечениями, почитают себе великою наградою открытие некоторых истин, дотоле им неизвестных; но ежели бы они проникли во внутренность сердец своих, то сами бы усмотрели, что побуждает их изыскивать с толикою прилежностью сии новые истины более надежда прославить свое имя, нежели то удовольствие, что трудами своими извлекли они их из той мрачной неизвестности, в коей они до того времени оставались погруженными. Если бы они совершенно были уверены, что им только одним оные их изыскания будут известны и что никогда не будет им позволено никому открыть сию тайну, то сомневаюсь, чтоб пожелали купить сие познание несносными своими трудами, продолжающимися несколько лет сряду.

Хотя философы и ученые говорят непрестанно о презрении славы, о мудрости и о спокойствии душевном, однако ж, невзирая на все их прекрасные и высокопарные изречения, утвердительно можно сказать, что если бы они не были к тому подстрекаемы тщеславием, то невежество и поныне господствовало бы над всем родом человеческим, и что единое токмо желание отличиться от простых и неученых людей, превзойти знанием своих современников и заставить всех взирать на себя со удивлением было причиною, что древние веки прославлялись Аристотелями, Платонами, Софоклами, Еврипидами и Демосфенами. Сему единому желанию и нынешние времена одолжены произведением тех великих мужей, кои учинились знаменитыми чрез свои высокие и изящнейшие творения.

Ежели бы все различных родов ученые ничего более не имели своим предметом, как изучаться нравственным добродетелям и усовершенствовать себя в мудрости, то все их попечения ограничивался бы познанием самих себя. Они не старались бы измерять небеса, не исследовали бы течения планет, не углублялись бы в рассмотрение различных произведений природы, не вникали бы в раздробление их внутренних частей и не тщились бы проникать даже до познания тягости воздуха. «Все сие, – сказали бы они, – не нужно к нашему намерению, ибо к какому предмету стремимся мы нашим познанием? Не к тому ли, чтоб искать способов учиниться благополучными и быть полезными для блаженства других человек: итак, будем обучаться только тому, что может послужить к соделанию нас добродетельнейшими, и сообщим нашим собратиям и нашим согражданам наши мудрые размышления. Какую пользу приобретут они от познания того, что в природе нет пустоты и что земля обращается около солнца? Сие не учинит их ни кротчае, ни снисходительнее, ни добродетельнее, ни спокойнее, ниже блаженнее. И самые невежды, совсем не знающие, чему научает их природа, будучи вспомоществуемы некоторыми токмо слабыми и всеобщими понятиями, часто бывают гораздо благополучнее людей, в науки углубляющихся. Сколько есть

и критическая переписка арабского философа Маликульмульк с водяными, воздушными и подземными духами таких художников, кои, спокойно упражняясь в своих художествах, живут без всякого честолюбия посреди своих семейств с большею приятностию и удовольствием, нежели величайшие любомудры, затворенные в своих кабинетах и окладенные книгами, в коих писано о презрении славы? Итак, не наука делает людей благополучными, а честность и добрая совесть. Физика, метафизика, риторика – все сии науки не рождют истинной мудрости, ибо она иногда встречается и у низкого ремесленника, и у хлебопашца, почему и надлежит ее искать там, где она находится, и лучше чтить спокойное и кроткое невежество бедного художника, нежели тщетные и бесполезные познания тщеславного любомудра и высокопарного витии».

Поистине, любезный Маликульмульк, ежели бы ученые, трудящиеся с толикою прилежностью о сообщении людям приобретенных ими познаний, не иным чем были к тому побуждаемы, как единою любовью к мудрости, то, конечно, не преминавали бы они делать подобные сим размышления и, без всякого сомнения, уверились бы в том, что во сто раз полезнее научать людей способу стать благополучными и спокойными, нежели гоняться за открытием некоторых таких истин, коих познание совсем бесполезно, а притом и приобретается бесконечными трудами. Они бы им говорили просто: «Воспользуйтесь настоящими минутами вашей жизни, будьте добродетельны, исполняйте с рачением возложенные на вас должности и не теряйте бесплодно сих драгоценных минут, которых вы никогда возвратит не можете. Время протекает, и если сердце ваше не возмущается внутренними угрызениями от учинения каких-либо злодеяний и если следуете вы закону честности, то имеете в жизни вашей все, что потребно для приятнейшего услаждения. Упражнение в бесполезных науках ни к чему более вам не послужит, как похитит у вас настоящее благо, питая вас тщетною надеждою о приобретении будущего мечтательного блаженства. Истинные мудрецы ни в чем нужды не имеют, а тщеславные любомудры за все хватаются и во всем чувствуют недостаток. Ежели вы постараетесь спокойно наслаждаться теми благодеяниями, коими небо вас одарило, тогда ваше благополучие будет в руках ваших, и вы только должны будете делать из него полезнейшее употребление. Участь человеческая была бы весьма несчастна, когда бы благополучие каждого зависело от познания таких вещей, которые для него совсем чужды».

Напротив, любезный Маликульмульк, ученые совсем не таким образом подают людям свои наставления: они весьма от того отдалены, чтоб говорить им таковыми словами, и те, которые бы так говорили, подобны бы были купцам, осуждающим свои товары; а вместо того всякий ученый старается превозносить до небес ту науку, в которой он упражняется и желал бы при прославлении ее помрачить все другие науки.

Ритор хотя и хвалит, однако ж весьма слабо философию: по его мнению, наивеличайшее превосходство человеческого разума состоит в даровании уверять людей силою красноречия и трогать сердца благороднейшими выражениями. Философ, напротив того, почитает ритора пустословом, коего все речи ничего в себе не заключают, кроме пустого звука, по воздуху разносящегося, и никакой не приносят пользы тем слушателям, которым более потребен здравый рассудок, нежели блистательные выражения. Подобно физику, он даже совершенно осуждает и самое употребление риторской науки, которая, по его мнению, приносит более вреда, нежели пользы. Некто из знаменитых скептических философов, говоря о раторах, сказал: «Те, которые вымыслили намазывать лицо женщин разными притираниями и делать из него маску, не столько причинили зла в свете, как высокопарные витии, которые стараются обольщать не глаза наши, но наш рассудок, и тем переменяют, ослабляют и повреждают самую сущность вещей». Республики, учредившие у себя порядочное и благоустройственное правление, как-то: Кританская и Лакедемонская, немного уважали ораторами и витиями.

Сия страсть, столь свойственная ученым, чтоб не похвалить никакую другую науку, в которой они не упражняются, не служит ли явным доказательством, что тщеславие, желание приобрести себе от всех уважение и честолюбие бывают главнейшим побуждением в неусыпных их трудах, нежели любовь к истинной мудрости. Ежели бы они трудились только для того, чтоб подавать наставление людям, или если бы упражнялись в науках совершенно полезных или в таких, которые рождют собою более любопытства, нежели приносят прибытка, тогда хвалили бы равно все науки и не давали бы ни малого преимущества той, в которой почитают себя больше других людей знающими. По поелику думают они, что если люди более будут уважать ту науку, в которой они себя отличили, то чрез то и к ним самим будут иметь больше почтения, ибо тогда самолюбие побудит людей пользы их соединять с собственными своими пользами; а потому философ думает, что чем более философия будет в почтении, тем и он более будет уважаем. Историк, стихотворец и ритор такие же

я и критическая переписка арабского философа Маликульмульк с водяными, воздушными и подземными духами имеют мысли: каждый из них друг пред другом с вящим напряжением своих сил старается выхвалять, один историю, другой стихотворство, а третий риторичу.

Любовь к мудрости, почтенный Маликульмульк, не желает быть превозносима похвалами. Человек, который хочет только быть полезным своим согражданам, не показывает в себе нималого пристрастия к отличным почестям и уважениям, каковые обыкновенно оказываются тем, кои подают людям свои наставления, служащие к украшению их разума и к исправлению их сердца. Суетное тщеславие, желание блистать своими дарованиями и быть предпочтенными своим совместникам никогда не возбуждают в них таких бескорыстных чувств; а вместо оных рождат самолюбие и зависть, которые хотя и бывают сокрыты, однако ж не менее жестоки. Сии-то страсти по большей части бывають причиною той малой справедливости, которую ученые обыкновенно отдають одному другому, ибо они всегда страшатся того, чтоб слава другого не умалила их славы и не заградила бы пред ними путь к достижению того бессмертия, которого они с толикою алчностью желают. Некоторые из числа оных, для приобретения имени своему бессмертной славы, делали дела столь же нелепые и почти, можно сказать, столь же безумные и порочные, каковое учинил Ерострат. Была ли чья смерть страннее Аристотелевой? Не можно ли оную причесть безумному его тщеславию, когда он хотел показать людям, что лишает себя жизни единственно для того, что не мог совершенно познать таинство природы? А сей другой философ Эмпедокл не должен ли так же почитаться безумным, который бросился в пучину горы Этны, оставя свои туфли, для того чтоб люди были известны о сем отважном его поступке и имя бы его сделали бессмертным? Он был бы несчастною жертвою своего бешенства, когда бы ты, почтенный Маликульмульк, над ним не сжалился, не спас бы его от сгорания и не принял бы в свой дом, находящийся под Этною, где он живет спокойно, смотрит за твоим домом и между тем забавляется чтением книг в обширной твоей библиотеке и выписывает из них некоторые полезные замечания.

Многие ученые, которые хотя не простирали столь далеко своего тщеславия, как те, о которых я тебе упомянул, однакож поступки их ясно доказывали, что они не менее сего старались возмущать свое спокойствие, в надежде учинить имена свои бессмертными. Сколько было таковых, которые ссылаемы были в ссылку, заключалися в темницы и лишались всего своего имения, чего могли бы они легко избежать, отрекшись от пагубных своих сочинений; но они лучше хотели лишиться всего и стенать под тягостными оковами или быть изгнанными из своего отечества, нежели истребить о себе память.

Но сколь ни было бы бедственно упорное желание о приобретении славы большей части ученых, однако ж, любезный Маликульмульк, люди должны их в том извинить, в рассуждении получаемой от них пользы: ибо соревнование, которое они один против другого чувствуют, поощряет их производить многие прекраснейшие творения. Надлежит о них более соболезновать, что они не делают того единственно из мудрости, что делают по честолюбию: люди должны благодарить и самый сей порок, который заслуживает осуждение, ибо без него науки донныне были бы погружены во мрачной неизвестности.

Ежели какие погрешности могут быть извинительны, то без всякого сомнения те, которые столь искусно приемлют на себя вид мудрости и в коих не иначе, как по самом прилежном рассмотрении, приметить можно их несовершенство. А притом надлежит сказать и то, что не все ученые без изъятия любовь к славе и страдное желание, чтоб с похвалою о них говорили, простирают до крайности. Во всех различных состояниях и во всех званиях находится много таких людей, которые в поступках своих достигают до совершенства; равным образом есть много и ученых, которые, обуздывая свои желания, полагают им некоторые границы и не позволяют себе преступать оные. Хотя то совершенная правда, что все жаждут бессмертия, однако ж не все к достижению оного употребляют одинакие способы и не все желают его купить за одинакую цену.

Письмо XXXIV

От гнома Вестодава к волшебнику Маликульмульку

О том, что Плутон и Прозерпина препоручили Фурбинию составить их штат и сделали его по себе первым начальником ада. Объявление, разосланное по всему аду, о сем новом его достоинстве

Наконец, любезный Маликульмульк, и наш двор не уступает многим европейским дворам, а всему этому причиною Фурбиний, который управляет Прозерпиною, а Прозерпина Плутоном, дозволившим, по просьбе жены, сему италиянцу составить свой

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами. Он истощил весь свой разум, чтобы Прозерпина не имела никакой причины завидовать Европе. Угадывая, что ты любопытен слышать, каким образом происходил сей странный набор, опишу я тебе все это происшествие.

Прозерпина, желая скорее видеть ад в новом виде, докучала Плутону ежеминутно о пользе, какую в сей перемене может сделать фурбиний. «Он, – говорила богиня, – плясывал при многих европейских дворах и был вхож ко всем придворным женщинам, которые с ним короткие имели знакомства, а женщины играют в политике немалое лицо: они движут всеми пружинами правления, и чрез них делаются самые большие и малые дела. Хотя ты с первого взгляду и подумаешь, что мужчины всем правят, а женщины ничего не значат, но очень ошибешься и, посмотря хорошенько, увидишь, что мужчины не иное что, как ходатаи и правители их дел и исполнители их предприятий. Посему ты видишь, что фурбиний, быв знаком с придворными женщинами, должен наизусть знать политику, что такое есть двор, и уметь его составить; но для исполнения сего он должен иметь полную власть; итак, душа моя, когда ты хочешь видеть ад в лучшем состоянии, то уполномочь его и объяви по себе и по мне первым начальником ада...»

«Перестань, богиня, – вскричал Плутон, – разве ты забыла, что у нас в аде множество воинов и философов, которые сочтут меня дураком за такое объявление и не захотят признать над собою начальником фурбиния!» – «Ах, какой ты трус! – сказала богиня, – можно ли тебе бояться кого-нибудь, быв здесь самовластным? Спроси у тех же самых воинов, каковы были Александр, Юлий Кесарь и Дионисий во время их царствования на земле: разве не было в их владениях мудрецов, однако, несмотря на то, делали они по-своему все, что хотели».

«Какая разница! – отвечал Плутон, – там своенравный государь имеет тысячу способов усмирять неугомонных мудрецов и в случае нужды сбывать их с рук, отправляя сюда, как то сделано с Цицероном, с Сенекою и со многими другими; но мне куда их отсюда девать? Бывши всегда с ними, я должен буду терпеть вечные их роптания...»

«Роптания против своего повелителя! – вскричала с негодованием Прозерпина, – перестань, Плутон, ты ужась как низко мыслишь! Если ты не знаешь, как от сего отвязаться, то заведи только хороший присмотр в аде, и первого, кто хотя одно слово скажет против твоих заведений, отдай на исправление Алектоне; ты увидишь после, как весь ад будет доволен и все тени будут превозносить тебя похвалами. Что нужды, будут ли согласны их мысли с лицом: это такая мелочь, в которую непристойно входить величеству. Отними только свободу и смелость у теней: после того, хотя переодень весь ад в шутовские платья, заставь философов писать негодные песенки, весталок их петь, а героев плясать, и ты увидишь, что они все с таким усердием то будут исполнять, как будто бы родились для сего. Нужно ли, чтобы владетель угождал желанию, хотя бы и очень разумному, нескольких миллионов тварей и был бы их слугою: не гораздо ли пристойнее, чтобы все его подданные последовали его дурачествам? Тот один, по моему мнению, истинный владетель, кто может по своей воле целый народ философов заставить дурачиться. Будь уверен, что фурбиний нам в этом поможет».

«Прозерпина! – сказал Плутон, – положим, что я сделаю фурбиния по себе здесь первым, но будет ли он столько умен, чтобы поддержать свое достоинство; впрочем, ты знаешь, что глупый вельможа в глазах народа во сто раз смешнее глупого простолюдина, и если тени увидят в числе моих приближенных десять дураков, то большая половина ада сочтет и меня полоумным».

«О! так ты не знаешь всей обширности твоей власти, – отвечала Прозерпина, – что же может льстить более владетелю, как не то, чтоб заставить весь народ почитать умною такую тварь, в которой нет и золотника мозга, а плутом человека, посвятившего себя добродетели? Хотя многие потихоньку тому смеются, но те же самые в обществе последуют усердно мнению своего владетеля и уважают или презирают ту особу, смотря по его объявлению. Калигула сделал свою лошадь сенатором, и все римляне оказывали ей наивозможнейшее уважение. Ныне сему смеются, не примечая того, что потомки Калигулина коня, не теряя своей знатности, размножаются по свету. Может быть, будущие веки будут так же смеяться нынешнему веку, как сей прошедшему: обыкновенно, таким образом, новые веки хохочут над дурачествами старых, получая оные от них себе в наследство; последний век только один может похвалиться, что не будет осмеян. Но какая разница, любезный Плутон, между тобою и Калигулою: тот хотя, пользуясь своим нравом, мог заставить свой народ молчать и уважать свои дурачества; но он,

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами конечно, знал, что потомки положат истинную цену его делам; а мы с тобою, любезный супруг, не можем опасаться потомков: мы бессмертны и, исполняя маленькие свои прихоти, всегда будем в силах принудить теней почитать наши шалости. Если бы нам вздумалось кого-нибудь взять из бешеного дома и сделать нашим первым министром, то и тогда имели бы мы способ весь ад заставить почитать его первым мудрецом во всей подсолнечной».

После таких убедительных доказательств Плутон не мог более противиться своей жене. Они удалились в кабинет и с помощью фурбиния сочинили объявление о его новом достоинстве, которое немедленно отдано было Харону, чтобы он объявлял его всем новоприезжающим теням; прибили его подле Цербера, который подкусывал голени всем, кто осмеливался хотя улыбнуться при чтении столь премудрого сочинения, и потом разослали по всему аду. Трем фуриям дали также по одному экземпляру, и вид сих сестриц, вооруженных бичами, немало придавал силу красноречию Плутона. Ты, я думаю, любопытен узнать, любезный Маликульмульк, сию грамоту; прочти, вот ее список:

«По изволению судеб, Мы, повелители непобедимого ада, обладатели всех померших я имеющих помереть племен земных, Нашему аду спокойствие.

Известно во всем свете, с каким благоволением принимали и принимаем Мы в Наше покровительство оставляющих оный свет людей по разным обстоятельствам. Миллионы храбрых героев, перерезавших друг друга, здесь нашли себе общее и мирное пристанище; погубившие себя от невоздержания болезнями обрели здравие и не опасаются более врачей; гонимые счастьем не ждут более здесь перемен непостоянной фортуны; лишенные жизни несправедливо своими государями имеют удовольствие жить с ними здесь в братском согласии, и сами государи не боятся здесь ежечасно возмущений, бунтов и народных роптаний, и живут спокойно от нападения зависти; полуученые безумцы не терзаются досадою видеть свет, почитающий их глупее их сверстников. Смерть сравнивает все умы и познания: здесь нет ни богатых, ни бедных, ни знатных, ни подлых; нет ни зависти, ни презрения.

Радуюсь сему и желая еще тверже оградить спокойство наших подданных, благоизволяем Мы учредить некоторые Перемены в аде, кои произвести поручаем римлянину фурбинию. А как для произведения сих перемен нужен добросовестный и умный человек, того для во всех обширных пределах Нашего пространного владения повелеваем почитать его, фурбиния, честным и разумным человеком, потребным для адского благосостояния, и признавать его главным надзирателем всех теней.

Повелеваем всему аду верить, что он, фурбиний, совершеннее других теней и потому имеет неоспоримое право называть безумным всякого, кого будет ему угодно, выключая Нашего Величества. Ассирийские, египетские и греческие мудрецы должны уступать ему в премудрости. Сверх того, хотя он, фурбиний, в своей жизни не сделал никакого храброго дела и предпочитал пляску военному искусству, но Мы чрез сие объявляемое Наше соизволение признаем его, фурбиния, первым героем из смертных, Александр. Кир, Ганнибал, Сципион и прочие победители света и искусные полководцы да не дерзают с ним спорить в преимуществе военного звания, под опасением за всякий спор по семидесяти ударов бичом Алектоны.

Если же кто из философов дерзнет сказать, что тени все равны и что фурбиний не умнее Сократа или других мудрецов, таковых возмутителей общей тишины подвергать жесточайшему штрафу; ибо благоугодно Нам, дабы всякий, не входя в дальнейшее рассмотрение фурбиниева ума и храбрости, признавал его храбрее и умнее себя, и чтобы все другие тени повиновались его повелениям; и хотя бы оные возбуждали народный плач, но со всем тем повелеваем признавать их справедливыми; если же они касаться будут до опасности собственной Нашей особы, тогда докладывать Нам, однако ж под опасением вечной муки доносчику, если фурбиниево красноречие победит его доказательства.

В заключение ж сего повелеваем трем фуриям принять в начальство семьдесят тысяч адских духов и стараться соблюдать народное спокойство; если же кто дерзнет сим объявлением быть недоволен, такого возмутителя, для общего благосостояния, бросать в Тартар на сто тысяч лет».

После сего убедительного объявления ни одна тень не осмелилась признавать в фурбинии бесполезного плясуна, но весь ад принял твердое мнение о его достоинствах, и фурбиний так был сим доволен, как будто бы получил Плутоновым указом геройство, ум и добродетель.

я и критическая переписка арабского философа Маликульмульк с водяными, воздушными и подземными духа

Пожалованный в мудрецы таким новым для ада образом, не умедлил он пользоваться своею властью, дал почувствовать ее всему аду и потом начал набирать двор.

Он пошел... Но я слышу шум во всем аде, все бегают и суетятся: конечно, случилась еще какая новая перемена. Прости, любезный Маликульмульк, я скоро уведомя тебя и о причине сего смятения и о конце Фурбиниева набора.

Письмо XXXV

От сильфа Выспрепара к волшебнику Маликульмульку

О том, что, пролетая мимо одного города, видел он свадьбу; выхваляет блаженство новобрачных. Чрез несколько времени, возвратившись опять в тот же город, услышал, что жестокая смерть молодого супруга все счастье их прекратила; рассуждение, сколь мало люди, могут полагаться на блаженство здешней их жизни я не буду тебе ничего говорить, почтенный Маликульмульк, о тех упражнениях, которые были причиною, что я давно к тебе не писал, а скажу только, что в сие время облетал я большую часть обширных воздушных пределов и сегодня хочу тебя уведомить о некотором происшествии, которое сколь ни есть обыкновенно, но произвело во мне глубочайшие впечатления.

Следуя по воздушному пути, для исполнения некоторой препорученной мне комиссии, должен был я пролетать посверх одного города, достойного примечания как по прекрасному своему местоположению и по великолепию находящихся в нем зданий, так и по богатству своих жителей. Хотя я бывал в нем много раз, однако ж не мог утерпеть, чтоб не побывать еще в таком месте, которое приятностию своею всегда меня утешало. Итак, спустившись на землю и приняв на себя вид человека, вошел я в сей город, надеясь найти в нем такое же утешение, какое находил прежде, и в том не обманулся; ибо, вошед туда, увидел я всех тамошних жителей в превеликом движении. Я спрашивал тому причины, и тот, кому я делал сей вопрос, отвечивал мне с великим удивлением: «Как! конечно, вы иностранец и, видно, теперь только прибыли в сей город, что ничего не знаете и делаете мне такой вопрос. Знайте, – продолжал он, – что один здешний знатный и богатый господин сегодня женится на богатой невесте; весь этот народ, который вы здесь видите, сбегается сюда со всех сторон для того, чтоб быть зрителем радости и удовольствия сей счастливой четы, которая скоро поедет мимо сего места из церкви, где они венчались». В самом деле, лишь только успел он окончить сии слова, как увидел я проезжающие великолепные экипажи, в которых сидели новобрачные, богато одетые и оказывающие на лицах синих радость и удовольствие; таковая же радость была видна и во всех находящихся при сей церемонии. Великая толпа народа обоего пола следовала за их каретами, и восклицаниями своими желали всякого благополучия счастливым супругам.

Ничего не доставало к блаженству сих новобрачных; они видели исполнение своих желаний, достигали уже до той минуты, о которой столь долго воздыхали и ожидали оной с нетерпеливостию. С каким восхищением повергнутся они друг другу в объятия и каким удовольствием будут наслаждаться! Ежели бы дела мои позволили мне пробыть долее в сем городе, то я бы вошел ночью невидимкою в их спальню, чтобы быть зрителем любовного их восторга; но как я должен был непременно в ту же самую минуту опять отправиться в свой путь, то для того предпочел должностю мою тому удовольствию, которое бы мог чувствовать, взирая на совершеннейшее утешение сих счастливых любовников; ибо тебе известно, мудрый Маликульмульк, что радость и утешение смертных не могут быть нечувствительны сильфам.

Чрез две недели после того, отправя препорученные мне дела и возвращаясь тем же путем для отдания в том отчета, вошел я опять в тот город, в котором был свидетелем счастливого брака; но сколь велико было мое удивление, как при осведомлении моем о новобрачных, надеясь, что наслаждаются они совершенным блаженством, услышал я, что жестокая смерть все счастье их прекратила. Мне сказали, что чрез несколько дней после брака молодой супруг получил болезнь, от которой никакое искусство докторов не могло его избавить. Тщетно употребляли они всю свою науку, дабы сохранить его жизнь для дражайшей его супруги: все старания их были бесполезны. Ни слезы родителей, ни стенание супруги, ни молодость и крепость умирающего, ни уважение к его чинам и богатству, одним словом, ничто не могло убедить жестокою смертью, которая без жалости прервала нить дней его, кои надеялся он препроводить в приятнейшем удовольствии.

Дела, препорученные мне, столь много меня занимали, что мне казалось, будто бы

я и критическая переписка арабского философа Маликульмульк с водяными, воздушными и подземными духами прошло не более одной минуты между тем временем, когда я был свидетелем благополучия сих новобрачных и когда оное смертию счастливого супруга прекратилось. Признаюсь, мудрый Маликульмульк, что сие жалостное происшествие много меня опечалило и произвело во мне прискорбнейшие размышления о тех бедствиях, коим люди бывают подвержены. Возможно ли в самом деле быть нечувствительну, видя отчаяние двух фамилий и печальное и жалостное состояние, в которое повержена молодая и любви достойная вдова, лишившаяся того, кто был для нее на свете всего драгоценнее? Ей представлялся брак только с хорошей стороны; она вкушала все его приятности и льстила себя, что сие блаженное состояние продолжится вечно; но вдруг утешительные ее мысли прервались смертию того человека, которого любила она более самой себя, и вдруг исчезла вся ее надежда наслаждаться ожидаемым счастьем. И самая мужественная твердость возмозет ли устоять против столь страшного удара? Сердце совсем нечувствительное могло ли бы воспротивиться, чтоб не почувствовать сожаления к ее несчастному положению?

Я был столько тронут сим печальным приключением, что в ту же минуту оставил тот город, в котором происходило сие жалостное позорище. Все приятнейшие в оном предметы, которые в другое время могли бы принести мне величайшее удовольствие, тогда напоминали мне только о том мечтательном блаженстве, которым сии супруги наслаждались одну только минуту. Вот сколь мало, любезный Маликульмульк, люди могут полагаться на блаженство здешней их жизни! Если иногда достигают они в оном и до самого совершенства, то никогда, однако ж, не могут надеяться долго им наслаждаться, ибо минута, в которую почитают они себя благополучнейшими, часто наносит им величайшее несчастье. Стремительное прехождение от одного состояния к другому бывает в жизни человеческой столь легко и обычайно, что должно почитать великим безумием, когда кто возгордится своим благоденствием, которое в одно мгновение может исчезнуть.

Если бы было в здешнем свете такое благо, которое никаким случаем у людей не могло бы быть похищено и в обладании которого ничто бы им не воспрепятствовало, тогда, обладая оным, люди могли бы назваться благополучными. Но где есть такое благо? и мог ли кто когда-нибудь похвалиться, чтоб обладал им совершенно? Известно мне, что были такие философы, которые мнили быть обладателями сего драгоценного сокровища, но они после сами удостоверились собственными своими опытами, что сие мнение их было мечтательное, так что, наконец, принуждены были признаться, что совершенное благо была такая вещь, до обладания которой никакой смертный никогда в свете не мог достигнуть, а к достижению до оного ближе всех бывает только тот, кто имеет непорочную совесть, не чувствует нимало го угрызения о прошедшем и не страшится будущего. Однако ж и такой человек не может себя защищать от ударов счастья, ниже быть ко оному нечувствительным: для него остается только величайшим утешением то истинное уверение, что он добрыми своими делами может быть угоден высочайшему судии вселенной и что не имеет никакого страха явиться пред его судилище, столь ужасное для тех, кои не тщилися так, как он, исполнять его волю.

Мудрость, которою ты обладаешь, почтенный Маликульмульк, подала мне смелость сообщить тебе сии мои размышления: я сие делал не для научения тебя, ибо, без всякого сомнения, ты и сам часто о сем размышляешь; но при описании оных не имел я другого намерения, кроме собственного моего удовольствия, и чтоб тем ты паче утвердился в науке мудрости и в прилеплении к добродетели, которая может почитаться величайшим блаженством, до коего ты со временем достигнуть можешь.

Письмо XXXVI

От гнома Буристана к волшебнику Маликульмульку
О вдове, встретившейся с ним в одном суде, которая рассказывала ему о своем деле; он входит невидимкою в дом судьи и находит у него письмо, писанное к его сыну
Очень опасно, по моему мнению, любезный Маликульмульк, иметь худого советника, но ничего нет опаснее, как иметь его в своем отце. Есть, однако ж, изверги, недостойные почтенного имени родителя, которые вместо наставления развращают своих детей. Ты узнаешь из письма, которое я при сем к тебе прилагаю, справедливы ли мои слова; но надобно прежде уведомить тебя, каким образом досталось мне это письмо.

На сих днях, бегая из суда в суд, наконец, отчаявался я сыскать преемников трем нашим судьям: в иных местах видел я, что судьи были больны одною болезнью с Заком, то есть были глухи и не слушали слов челобитчиков; а другие, у которых

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами. Мозг был не в лучшем состоянии, как у Миноса, не понимали, что им читали подьячие, и подписывали все то, что угодно было их секретарям, которые употребляли их, как некоторое орудие, к своему обогащению. Хотя и были между ими разумные, но они более занимались происками, чтоб возвысить себя и унижить своих противников, нежели челобитчиковыми делами; и таким образом бедным челобитчикам не было иного утешения, кроме добрых судей, которым не дают никакой воли, и которые толь робки, что, боясь истинною прогневать знатных господ, потакают несправедливости их любимцев.

Прохаживаясь таким образом, остановился я в прихожей одного суда, чтобы несколько отдохнуть, и лишь только присел, как вдруг вошла в комнату некоторая бедная женщина, которая, дожидаясь случая увидеть судей, села подле меня. Как я представлял челобитчика, а она действительно в суде имела иск, то и ничего не было легче нам, как разговориться о наших делах: я рассказал ей мнимую повесть с своих, а она открыла мне свои.

«Три рода женщин знаю только я несчастливых, сударь, – сказала она мне: – первые из них – немые спорщицы, которые лишены удовольствия обыкновенным своим орудием отгонять от себя досадчиков, вторые – молодые щеголихи, которые принуждены жить в деревне; а третьи – те женщины, которые, перешед за сорок лет своей жизни, имеют тяжёбые дела. Ах! – продолжала она со слезами, – я претерпела все сии злосчастия. Желая отвязаться от строгих моих родителей, я вышла замуж в молодых летах за одного бедняка; я была красавица, сударь, и могла сделать его счастливым; но этот негодяй увез меня в свою деревню, где я должна была проводить лучшие мои лета, не видя никого, кроме рогатого скота и нескольких мужиков, которые еще отвратительнее были моего мужа. В такой горести одно утешение оставалось мне, чтобы всякий день перебранить всех, начиная с него и до последнего скотника: да и подлинно, не проходило ни одной минуты, чтобы кто из них, к моему утешению, не сделал какого дурачества. Таким-то образом всегда для меня было некоторое упражнение, и мой язык умолкал только тогда, когда я засыпала; но – о несчастье! – кричавши шесть недель сряду, я охрипла, и мой язычок упал (при сих словах бедная женщина еще больше заплакала). Вообразите, сударь, мое состояние! Всякий день открытыми глазами я видела все дурачества моего мужа, моих девок и наших дворовых и принуждена была все это сносить, не выговоря ни одного слова! Всякий день брюзгливый мой муж, делал мне свои вздорные поучения; а я не могла заглушить его своими словами и, вытараща глаза, принуждена была слушать его вранье. Таким мучением наказывал меня бог семь лет. Жестокий муж мой старался как можно отдалять от меня всех лекарей, чтобы продолжить навсегда приятную для него мою болезнь; но, наконец, небо сжалилось на мое мучение: я занемогла зубами; призвали лекаря, и он ошибкою вместо зубов вылечил мой язычок, который поднялся попрежнему. Я была вне себя от радости, и сколь ни велика была моя боль в зубах, но я в ту же минуту пошла браниться с моим мужем, и, думаю, точно этим криком прогнала я от себя зубную болезнь; но как бы то ни было, только я твердо вознамерилась наградить несносные для меня семь лет моей немоты. Уже я чувствовала приятнейшее удовольствие слышать, что мой голос раздавался по комнатам; уже ничьих речей в доме, кроме моих, не было слышно, как дьявол позавидовал моему счастью. Спустя три недели после выздоровления, после обеда вошла я в комнату, где муж мой имел привычку в это время спать. Я нашла его закутанного в одеяле, хотя уже на дворе было семь часов пополудни. Скажите, приличен ли был этот час, чтоб спать? Вы можете догадаться, что я в ту ж минуту начала браниться; по крайней мере на сей раз я была справедлива. Я села против его у окошка и кричала ему, что хозяйство требовало, чтоб не быть так сонливым. «Разве позабыл ты, – говорила я ему, – что мы еще сегодня не были в прядильной и не бранили баб? Разве ты не вспомнишь, что уже скоро будет время итти ко всенощной, а тебе прежде еще этого надобно мужиков пересечь за то, что они сегодня не успели до ненастья в город съездить и убраться с поля. И разве вышло у тебя из головы, негодяй, – продолжала я, – что у тебя есть жена, от которой ты и так всегда бегаешь и делаешь ее пустынною? Ведь здесь не город, где бы я могла найти тысячу человек, кем и без тебя заняться!» Словом, кричала я ему, сколько могла, и, наконец, скуча его терпением, сдержала с него одеяло, но, о небо! он уже был холоден, – мой муж умер! Представьте, каково было мое мучение! Он не слышал ни одного слова, что я ему ни говорила (бедная женщина опять заплакала). Уже этого-то перенести не было у меня сил; я зарыдала, как могла громче, по уже ничто не помогло; одним словом сказать, я его похоронила, проживши с ним только три недели после моей немоты.

Как покойник меня любил и был, впрочем, добрый человек – царство ему небесное! – то он еще заживо укрепил мне свою деревнишку. Я нашла его крепость и, вступая во

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами. Владение сего поместья, думала спокойно провести остаток своей жизни; но проклятый ябедник, мой сосед, узнавши, что мой муж умер, сыскивает какое-то право на мою деревню и зачинает со мною тяжбу, когда я еще не успела оглядеться. Как он богатый человек, то с самого начала выгоняет меня из деревни и после того подает прошение, чтобы судьи подписали приговор, который он прежде уже рассмотрел и исполнил.

Это принудило меня приехать сюда в город; но уже судьи подписали то, что он сделал. Я их просила и доказывала мою справедливость; они обо мне сожалели, но не переделали моего дела: может быть, для того, что уже издержали деньги, которые им заплачены за сей приговор, а мне нечем было надбавить цену моего соперника; итак, я осталась в проигрыше. После сего перенесла я мое дело в другой суд и услышала, что тут судья не любил брать взятки. Это несколько меня обнадежило, но, к несчастью, узнала, что он любил пить с своими челобитчиками. Мой соперник напивался с ним всякий день допьяна, и я опять потеряла свой иск. Наконец я перенесла дело в сей суд, и везде с радостью слышала, что здесь главный судья не пьет и не берет взятков; но несчастье не перестает меня гнать. Вчерась уведомила я, что хотя он действительно правосуден, но что один взгляд молодой женщины в состоянии испортить его весы; а у моего соперника жена жеманница двадцати двух лет. Не несчастливая ли я женщина! Если б за двадцать лет назад была эта проклятая тяжба, то я, нимало не заботясь, надеялась бы на свою справедливость; но, быв обременена сорока двумя годами, могу ли я надеяться победить соперника, женатого на двадцатилетней красавице? Ах! сударь, пригожая женщина всякую ложь может сделать истиной: у нашего судьи, конечно, есть глаза и сердце». – «Но, сударыня, – отвечал я, – если бы не было у него глаз, то он не рассмотрел бы истины; а ежели бы не было сердца, то бы он не трогался ею». – «Ах, сударь, – вскричала огорченная вдова, – я не на то жалуюсь, что у него есть сердце и глаза; но на то, для чего эта проклятая тяжба не за двадцать лет пред сим случилась».

Едва окончила она свою речь, как вдруг вышел судья, человек весьма набожного вида. «Кто здесь госпожа Безумолкова, урожденная Златоискова?» – спросил он. «Я, сударь!» – отвечала вдова. – «А! сударыня, я читал ваше дело и, несмотря на решение двух судов, вижу вашу справедливость: итак, будьте уверены, что оно кончится в вашу пользу в самом скором времени; а между тем, чтоб узнать решительный приговор, вы можете пожаловать ко мне сегодня в четвертом часу пополудни». После сего он поговорил еще с несколькими челобитчиками и пошел в судейскую, оставя и вдову и меня в величайшем удивлении о его столь редком добродушии.

«Видите ли, сударыня, – сказал я вдове, – как вы прежде времени несправедливо жаловались на сего судью; он, не брав с вас денег, не напиваясь с вами пьян и не из уважения к вашим прелестям, коих, конечно, рассмотреть ему было некогда, может решить дело в вашу пользу». – «Это меня восхищает, – ответила она, – и я ныне же отпишу о сем старшей моей сестре Златоисковой». – «Как, сударыня, – спросил я, – у вас есть старшая сестрица, которая еще и о замужем?» – «Чему же вы дивитесь, – отвечала ветренная вдова, – ей еще не более двадцати семи лет: она может еще иметь в свое время женихов!» После сего ветренная Безумолкова пошла от меня в восхищении, позабыв о том, что она за две минуты пред тем проболталась мне в своей печали, что ей сорок два года, а я отправился домой.

«Вот, наконец, нашел я хотя одного честного судью!» – думал я сам в себе: – теперь мне есть чем обрадовать Плутона, который уже, думаю, на меня сердится, что я до сих пор не сыщу для него доброго блюстителя законов, и приписывает, может быть, моему нерадению то, что должно приписывать нерадению больших господ: докажем же адским жителям, что и здесь есть судьи, которых перо свободно и не управляется ни деньгами, ни вином, ни женщинами, и поспешим похитить у света человека, который, конечно, или развратится, или будет гоним».

Узнавши дом сего судьи, в три часа пополудни торопился я к нему, чтоб уговорить его заступить место Эака. Дом его не показывал в себе ничего великолепного и тем более уверял меня в некорыстолюбии хозяина. Я не видал ни одной бутылки во всем доме, почему имел причину думать, что он очень воздержен, также не сыскал я там ни одной женщины, кроме семидесятилетней старухи, которая перемывала посуду и ворчала, что она достальные зубы переломала о черствые корки хлеба, не находя ничего другого к столу, – и это подтвердило мои мысли, что у него женщины не много выиграют своей несправедливою просьбою. Я позабыл тебе сказать, что, желая его посмотреть, я сделался невидимым.

Таким образом прошел я до самой той комнаты, в которой он писал письма. Между прочими изготовленными лежало одно к его сыну. Я его тихонько взял и читал с великим удивлением; думаю, что и тыне меньше моего удивишься, когда его рассмотрим; вот оно:

Приятное твое мне письмо я в сем месяце получил и радуюсь, что ты в приказе набил руку так твердо, что своим четким письмом и самому слепому судье можешь поправиться. Только заметил я, что ты ять пишешь очень часто и ставишь двоеточии, запятые и точки. Пожалуй, повоздержись, Лентулушка, а то еще скажут, что ты некстати умничаешь. Заметь, мой друг, что судья, который не употребляет ятей и занятых, никогда не бывает дружен с секретарем, который пишет по форографии. Да мне и еще есть нуждица кое о чем с тобою поизъяснитца.

Ты пишешь, что тебе несносна приказная служба, и просишь дозволения ее оставить. С чего ты это забрал себе в голову, друг мой! Да знаешь ли ты, что твой дед нажил в этой службе больше сорока тысяч рублей, твой отец приобрел большой каменный дом в четыре этажа; да и ты, мой свет, доколе не наживешь хотя посредственной деревнишки, дотоле я тебя из этой службы не выпущу, или не будь над тобою мое благословение; а ты знаешь, что этим шутить дурно.

«Низко ходить на поклон к своему судье!» – вот какой вздор! Да я, брат, и вырос в прихожей у своих командиров, зато ныне и у себя в прихожей людей выращиваю. Учивость, друг мой, шеи не вывихнет, а гордым и бог противится. Будто велика беда в праздник сходить к судье на поклон! Ведь нечего же делать! «К обедни», – скажешь ты мне. – К обедни, друг мой, успеешь и от начальника, а если и некогда будет, то бог не взыщет: он до нас милостив и не прогневаается, если иногда прогуляешь обедню; а советник станет сердиться, если не пойдешь к нему в праздник поутру, и может за это отомстить. Бог по великой своей благодати, конечно, простит, когда покаешься; а бояре ведь и покаяния не принимают.

Я здесь знаю одного молодого упряма, который также, как и ты, определяясь в штатскую службу, думал, что совсем не нужно ходить на поклон, и хотел лучше угодить своему начальнику прилежностью к своей должности; но он тем сделался несчастлив. Лучше бы было, если бы он прогулял, не бывши в приказе сто дней, нежели пропустить шесть воскресеньев, не постояв в передней у своего покровителя, который за то лишил его места и принял к себе в прихожую на жалованье другого, который и донныне за триста рублей в год и за два чина в три года ходит к нему в прихожую исправно по всем табельным праздникам. Берегись, чтоб и с тобою не случилось такого же изгнания: ведь и пенять не на кого будет; ты тем немало себя в людях обесчестишь, для того, что с стороны не всякий догадается, голова ли, или ноги твои были причиною, что тебя отставили.

Еще ты пишешь, что он тебе иногда несправедливые делает выговоры и что ты при первом случае сам скажешь ему, что он неправильно тебе выговаривает: берегись этого делать, сынок! Командир долго помнит, если ему подчиненный скажет, что он соврал; а это может иметь очень худые следствия. Впрочем, ты хотя человек благородный, но еще очень молод: для чего бы не вытерпеть тебе от начальника грубого словца? Я слышал, как вашу братью благородных дураками скотами называют, а иногда и палкою по лбу заедут: да кто больше сносит, того больше и жалуют, и для того-то многие благородные терпеливо сносят от своих командиров название глупца, разини и проч., помня пословицу: «Где гнев, тут и милость».

А если ты вздумаешь ему итти вопреки, то тебе же будет хуже: я тебе пророчествую, что он хотя и перестанет тебя бранить, но зато подкопает под тобою такую вину, что ты и места не сыщешь. Ты опять мне скажешь, что ты постарайся быть исправным в должности, следственно, и будешь безопасен от всех подысков. – Пустое, друг мой! да знаешь ли ты пословицу: «Господин сыщет вину, если захочет ударить палкою свою собаку». Притом ты должен знать и то, что всякий начальник представляет в себе особу государя; и мы так же его слуги, как и государевы; а слугу-то, ты ведь знаешь, что можно бить, как собаку. Итак, все мы собаки, Лентулушка, и всех нас можно бить палками: хотя ныне и запрещено это делать, но всякий ли подчиненный имеет случай и предстательство, чтобы получить удовольствие на своего начальника. Довольно нам и того утешения, что и у наших-то командиров есть свои командиры, у которых они такими нее бывают слугами, как мы у них.

Итак, оставь, пожалуй, твой строптивый нрав и покорись лучше необходимости. Как

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами
ты в твои лета и с твоим умом не можешь сыскать счастья в начальнике! Сколько раз учил я тебя, как надобно поступать в таком случае; а ты все позабываешь мои наставления и одно утямил себе в голову, что ты благородный! благородный! В службе, друг мой, надобно только это помнить перед своими подчиненными, а перед командирами должно совсем это из головы выкинуть. Каков бы глуп командир ни был, но кто захочет к нему подбиться, тот позабывает свое благородство, старается подражать всем его дурачествам, хвалит его поступки, потакает его словам и чрез то хочет сделаться первым его любимцем, а часто и получает в том успех, хотя, впрочем, совсем не смыслит своей должности. Приметь, любезный сын, что это не в одном вашем суде наблюдается: неужели ты хочешь быть выродком из приказных?

Но если ты так ленив, то ищи хотя другою дорогою своего счастья. Ты знаешь у твоего судьи ключницу Златоискову: постарайся к ней подбиться, избегая, однако ж, всяких греховных помышлений. Впрочем, любезный Лентул, если бы ты так счастлив был, чтобы сыскал в ней благополучие, то бы чинка два верных схватил, для того, что у этих ключниц и от чинов часто бывают ключи; а ежели бы хотя и греховное что случилось, то бы ты еще в свой век умел покаяться, а чинов-то бы с тебя не сняли. Я сам грешный человек, Лентулушка! У моего советника была кухарка, то правда, хотя я от нее чинов и не получал, но раза два от солдатчины набавлялся. Да, полно, я и не лепив был, не так, как ты, Лентулушка!.. Только слушай, Лентул! я тебе шутя это пишу, а в самом деле, что ты ни сделаешь, я греха на себя не принимаю, по пословице: «Ты в грехе, ты и в ответе», но ежели ты не боишься эпитимии, то, пожалуй, себе залезь этой дорогой в чинок, другой; я же, с своей стороны, любезный друг! никогда не оставлю тебя своими отцовскими молитвами.

Я так о тебе более думаю, нежели ты сам: мне недавно попался случай, который может послужить к твоему благополучию, и я за него ухватился обеими руками.

У меня недавно случилось дело какого-то богача по прозванию Кривопроева со вдовою Безумолковою, которая по отце Златоисковых. Я тотчас представил, что она сестра ключницы твоего судьи, и, несмотря на богатые подарки Кривопроева, решил дело в ее пользу. Я хочу с нею свести знакомство, чтобы посредством ее упробить ключницу о ее на тебя предстательстве. Видишь ли, друг мой, чем я тебе пожертвовал! по крайней мере тремя тысячами рублями. Да если б только ты был порачительнее, то я бы был в состоянии сделать и еще более: я бы женился на этой вдове, чтобы тем породниться с ключницею твоего начальника и придать тебя у него в милость; но сердце мое слышит, что ты не поддержишь моего намерения, и для того на старости я намерен только за нею примахнуть.

Что же ты пишешь об отставке, то еще повторяю, что это совсем пустое, мой друг! Чем ты жить станешь, разве с своим секретарским чином по миру пойдешь? Что принадлежит до меня, то ты сам знаешь, что я человек не слишком достаточный и прежде смерти ничего дать тебе не в состоянии; если же ты, как говоришь, надеешься на своих приятелей, то, любезный сын, не надейся ни на князи, ни на сыны человеческие, а лучше наживи сам тысяч пятьдесят, да тогда с божьей помощью и ступай в отставку. Тогда, если тебе приказная служба и не будет нравиться, то с такими большими деньгами можешь и в военной службе сыскать себе счастье. Хотя ты не будешь греметь храбростию и не напечатать тебя во всех европейских ведомостях, но что до этого нужды? И без того наживешь хороших покровителей и будешь получать чины: ведь ведомости не животная книга, в них не одни праведные вписываются.

Я заглянул еще в твое письмо; ты пишешь, чтобы прислать к тебе хотя несколько денег: только, право, мой друг Лентулушка, у меня нет ни копейки, а посылаю к тебе мое родительское благословение и остаюсь навсегда

Отец твой

Авдей Частобралов.

Письмо XXXVII

От сильфа Дальновида к волшебнику Маликульмульку
О дворянстве и о дворянах. Какое должно к ним оказывать уважение
Рассматривая с великим прилежанием, почтенный Маликульмульк, различные склонности людей и не последую предрассудкам, никогда не верю тем обманчивым видам, кой подобно мишурным позументам издали блещут, как настоящее золото, но

и критическая переписка арабского философа Маликульмульк с водяными, воздушными и подземными духами. Коль скоро станешь его рассматривать вблизи, то оное совсем теряет свою цену и достоинство. Я почитаю в людях одну только мудрость и добродетель, и под какими бы видами оные мне ни представлялись, я всегда равно имею к ним уважение. Мещанин добродетельный и честный крестьянин, преисполненный добросердечием, для меня во сто раз драгоценнее дворянина, счисляющего в своем роде до 30 дворянских колен, но не имеющего никаких достоинств, кроме того счастья, что родился от благородных родителей, которые так же, может быть, не более его принесли пользы своему отечеству, как только умножали число бесплодных ветвей своего родословного дерева.

Ежели бы кто захотел рассматривать начало многих фамилий, славящихся своей древностию, то увидел бы с удивлением, что сия знаменитость, столь много в них уважаемая, не имеет других себе оснований, как токмо благосклонность министра или его любовницы, или иногда заплачение за пергаментовый лист великой суммы денег, приобретенной чрез грабление вдов и сирот, и тем учинилась блистательною, так что пользующиеся оною не более в том имели участия, как и в славе великого Могола или в победах царя Пегуского.

Может ли что быть страннее, почтенный Маликульмульк, как приписывать фамилиям таковые же свойства, каковые имеют растущие деревья, кои произрастают и возвышаются, на каков бы земле ни были посажены, не имея ни малой нужды им и чьей помощи? Коль скоро один раз честный человек учинил фамилию свою благородною, то может несомненно быть уверен, что наследники его, лишь только были бы богаты, час от часу будут нечто присовокуплять к достоинствам, предком их приобретенным. Такова есть участь дворянства. На какой бы земле ни было оное насаждено, но сколь долго какой род будет иметь непрерывное свое продолжение, то от времени до времени делается почтеннее и знаменитее; ибо истинное его достоинство почитается токмо в древности.

Какие бы добродетели и великие достоинства ни имел новый дворянин, однако ж его почитают дворянином новой фабрики, но глупец и невежда, происходящий от древнего рода, почитается человеком знаменитого происхождения, и его называют древним дворянином.

Взирая иногда, почтенный Маликульмульк, на таковые предрассудки, кои имеют некоторые дворяне о древности своего рода, кажутся они мне столь же смешными, как пустые мнения некоторых ученых, которые тогда только изъясляют почтение к наилучшим творениям Фукидида, Тацита, Цицерона и проч., и тогда только оные читают, когда находят их в рукописях древних, совсем истасканных, измаранных и изодранных. Сколько бы кто ни старался им предлагать те же самые сочинения исправленные и со всяким рачением преданные тиснению и сколько бы их кто ни уверял, что в тех рукописях великое множество погрешностей, – что многие слова стерты и совсем почти непонятны, однако ж они никого бы не послушали, ибо прилепляются к единой токмо древности: Цицерон кажется уже им не Цицероном, Фукидид теряет для них все свои достоинства, коль скоро не нужно надевать на нос очков, дабы с глубочайшим вниманием рассматривать, с потерянной своего зрения, древние рукописи, восемь или девять сот лет назад писанные. Я думаю, почтенный Маликульмульк, что сие беспримерное почтение и уважение к древнему дворянству, не имеющему другого достоинства, кроме единой токмо древности, можно почесть столь же безумным мечтанием, как и ту страсть и привязанность к древним рукописям; а иногда уподобляю я оные тому безумному уважению, которое имеют голландцы к старой фарфоровой или глиняной посуде: простой глиняный горшок, который почли бы они за ничто, ежели бы он был сделан не более года, поставляется у них в числе драгоценностей, когда он сделан за пятьдесят или за шестьдесят лет назад.

Но когда я столь явно осуждаю людские предрассудки о дворянстве, то, однако ж, не желаю сим утверждать, будто бы оно должно быть презираемо. Я совсем не имею таковых мыслей; а только бы хотел, чтоб оно тогда токмо было почитаемо и уважаемо, когда украшается многими почтенными качествами: я желал бы, чтоб оно имело те же самые преимущества, каковые имеет добродетель, всегда сопровождающая его должествующая, и чтоб к нему не было оказываемо нималого уважения, коль скоро оно не заключает в себе сих достоинств. Последователи Эпикура полагали основанием всех вещей пустоту и атомы, но и оные одна без другой не имели у них никакой силы. Не можно ли бы было, подобно сему, постановить начальнейшими правилами почестям благородного дворянства, кои приписываются людям без всякого личного достоинства, благородное рождение и благородные чувства, так чтоб без сих последних первое совсем ничего не значило и было бы подобно совершенной

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами в эпикурианской пустоте.

Сие установление сначала покажется относящим все вещи к первому их началу, а некоторые, может быть, подумают, что чрез оное желаю я, чтоб почти совсем не было других дворян, кроме тех, кои приобретают сие знаменитое достоинство одною своею особою, чрез отличные свои дела; однако жнамерение мое совсем состоит не в том; ибо ежели бы я совершенно опровергал все различия, находящиеся между некоторыми фамилиями по их древности, то тем мог бы заслужить такое же осуждение, какое делаю сам безумным в людях предрассудком. Я полагаю, что в государстве благоустроенном непременно нужно, чтоб были различные чины и достоинства, из коих некоторые должны быть даваемы людям, имеющим хорошее воспитание, приводящее их в состояние и способность исполнять вверяемые им должности. Весьма естественно, что особы, рожденные от таких фамилий, кои с давнего уже времени почтены знаменитейшими чинами, бывают гораздо способнее других исполнять важные должности, со оными сопряженные, будучи, так сказать, во оных воспитаны; нежели такие, которые нимало к тому необыкновенны и коим сии должности часто совсем бывают неизвестны.

Итак, еще я повторяю, что нужно бы было учредить сие правило: ибо дворянство тогда только может быть полезно и всякого уважения достойно, когда сопровождается бывает добродетелию; оно не должно и не может приписывать себе никакого права к оказанию наглого порока: невежества, безумия, бесчестия и проч., ибо все сии гнусные поступки почитаются в очах философа столь же предосудительными в благородном дворянине, как и в самом низком гражданине.

Вот еще другое правило, которое казалось бы мне столь же справедливо, как и первое. Надлежит, чтоб между двумя дворянами по единому токмо достоинству давали одному перед другим преимущество; а ежели при таковых случаях будут предпочитать одного другому единственно потому, что род его имеет свое происхождение древнее, то сие предпочтение также можно будет уподобить тому уважению, которое делают голландцы старой посуде или той смешной привязанности к древним рукописям, и тогда я буду утверждать то же самое, что говорил с начала моего письма, и думаю; что сие будет не без основания, ежели я сделаю справедливое заключение, что из почтения к дворянству никогда не должно, без точного исследования, оказывать достойные почести и преимущества благородному вертопраху.

Я нимало не удивляюсь, почтенный Маликульмульк, что многие знаменитые писатели толико вооружались против сильных предрассудков в пользу благородного дворянства: они тем старались защищать собственное свое, хотя простое, но честное рождение; и поелику природа, одарив их отличным преимуществом в разуме и добротою сердца, не дала им оного со стороны их породы, то потому не было ли весьма естественно, что они едва могли сносить, что предпочитали им таких людей, пред коими во всем прочем, кроме рождения, имели они великое преимущество? Поистине я прощаю всем ученым в делаемых ими жестоких возражениях против дворянства, ибо они имели неоспоримое право нападать на сию мечтательную химеру, пред кою на жертвеннике возжигали постыдную жертву, которая долженствовала бы быть приносима единой токмо добродетели.

Если бы сии писатели, писавшие против раболепнейшего почтения, оказываемого к старым бумагам, к древним похвальным грамотам и к пышным титулам и чинам, были в состоянии сами собою познать внутренность тех, кои рождением своим надмеру превозносятся; то тем могли бы они с большим успехом нападать на сие ужасное страшилище, с которым непрестанно желали сражаться. Но, по несчастию, большая часть из них известны были о единых токмо слабостях и пороках, усматриваемых в дворянстве, и о некоторых поступках, достойных смеха, а не уважения многих дворян; а по тому самому делали они против их жестокие возражения и укоризны и поставляли добродетель выше рождения. Хотя и имели они к тому справедливейшую причину, однако ж гораздо более находили бы способов к сему осуждению, когда бы, вошед в обстоятельное исследование, могли открыть многие странные и всякого презрения достойные поступки большей части дворян, носящих на себе сие достоинство по единому токмо названию. Весьма мало ученых поступали таким образом; ибо немногие из них находились в таких положениях, чтоб могли точно быть сведомы о всем том, что происходит в большом свете. Поелику некоторые из сих ученых проводили всю жизнь свою в своих кабинетах или с крайнею чувствительностию несли на себе иго учиненной с ними несправедливости, на которую непрестанно приносили жалобу, то низкость их рождения не позволяла им приближаться к особам высоким чинов и достоинств; некоторые же хотя и могли бы быть более сведомы о слабостях знаменитых вельмож, но они поставляли себе долгом

и критическая переписка арабского философа Маликульмульк с водяными, воздушными и подземными духами употребляют свое свободное время на другое полезнейшее упражнение, нежели на исследование глупостей и коловратностей многих людей, думающих о себе, что чрез благородное свое рождение приобрели они право делать разные смеха достойные нелепости и что никто не имеет права им в том противоречить. Однако ж я думаю, почтенный Маликульмульк, что время, употребляемое на примечание различных склонностей человеческих, сколь ни были бы оные порочны, всегда употребляется с пользою; ибо чрез то можно научить ненавидеть пороки, рассматривая всю его гнусность.

Письмо XXXVIII

От Астарота к волшебнику Маликульмульку

Разговор двух теней: откупщика Золотосора и театральной танцовщицы Всемирады
Исполняя данное мне от тебя повеление, почтенный Маликульмульк, чтоб уведомлять о всех случающихся новостях в подземных наших жилищах, препровождаю к тебе описание происшедшего здесь спора между тенями некоторого богатого откупщика и недавно прибывшей сюда театральной танцовщицы. Разговор их показался мне очень забавен, и я надеюсь, что он и тебе понравится.

РАЗГОВОР между тенями Золотосора и Всемирады

Золотосор.

Как! ты ли это, любезная Всемирада? Кто бы подумал, что в таких цветущих летах и наслаждаясь притом, как мне известно, совершенным здоровьем, переселилась ты столь безвременно в здешние места! Я думаю, что г. Промоталов после твоей смерти сошел непременно с ума, потому что он любил тебя до безумия.

Всемирада.

Это правда, что бедняк чувствовал ко мне сильную горячность, однако ж гораздо было для меня лучше, если б я никогда не имела с ним знакомства, потому что любовь его ко мне причиною была моей смерти.

Золотосор.

Слова твои меня очень удивляют. Как! неужели родственники Промоталова, озлобясь, что ты издержками своими совершенно его разоряла, приказали дать тебе потихоньку лекарство, употребляемое нередко в таковых случаях в Италии? Без сомнения, подговорили они на свою сторону какого-нибудь снисходительного эскулапия, который посредством своих предписаний отправил тебя на сей свет без малейшего шума?

Всемирада.

Нет, родственники Промоталова поступали со мной гораздо человеколюбивее; и хотя, как тебе известно, все они смертельно меня ненавидели, Однако ж никакого не имели участия в моей кончине: одна только любовь или, лучше сказать, те пагубные следствия, которые часто влечет она за собою, были причиною моей смерти. Будучи беременна более уже шести месяцев, вздумалось мне, невзирая на тяжесть, кою я была обременена, танцевать в новом балете. Ты знаешь, г. Золотосор, что подобные мне театральные девки нередко принуждены бывают жертвовать собою для удовольствия публики. Таким-то образом узкое шнурование, которым я была стянута, и высокие прыжки, которые я тогда делала, довершили мою погибель. По выходе из театра почувствовала я жестокое мучение, и на третий после того день умерла родами.

Золотосор.

Я очень сожалею, любезная Всемирада, о твоём несчастье: по справедливости, нет ничего несноснее для пригожей женщины, как в цветущей юности лишиться жизни; однако ж ты отменно была несчастлива при таковых случаях, ибо, как помнится мне, это уже не в первый раз с тобою случилось.

Всемирада.

Это правда: первого случившегося со мною несчастья причиною был некоторый знатный господин, а в другой раз музыкант, играющий на скрипке.

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духа

Золотосор.

Это очень забавно: ты избрала себе двух любовников совсем различных свойств и состояний. Я никогда бы не поверил, чтоб женщина столь нелепого вкуса, какова была ты, прельстилася глупою харею простого скрипача, и для меня очень удивительно, что, имея власть выбирать любовников и в ложах и в партере, унизила ты себя столько, что вытщила его из оркестра. Напротив того, я очень уверен, что госпожа Перелюба, прежняя моя любовница, никогда не избирала мне столь недостойных совместников.

Всемирада.

О, как же ты ошибаешься! Поверь мне, что и она всегда следовала моему примеру, и любовник, избранный ею тебе в помощники, не знаменитее был сего музыканта, которым ты меня упрекаешь. Она несколько только дней в неделе препровождала с тобою, а остальные с служителем некоторого машиниста. О! что касается до этого малого, то он в некоторых случаях превосходил всех, сколько ни есть откупщиков на свете: то правда, что не имел он ни золота, ни серебра, но природа вместо того одарила его другими совершенствами, которые у женщин более всего уважаются. Ты, будучи первым ее любовником, пользовался ее благосклонностями во все те блистательные дни в ее жизни, когда игрывала она на театре: то есть во вторник, в пятницу и в воскресенье; но слуга машинистов довольствовался оными в понедельник, четверг и субботу; что ж касается до среды, то этот день не принадлежал ни тебе, ни твоему сопернику, а госпожа Перелюба назначала его для театрального надзирателя, который, приходя к ней, делал ей иногда честь своим ночлегом.

Золотосор.

О, это сущая ложь и совершенная клевета! Ты, конечно, для оправдания своих поступков вздумала поносить мою любезную Перелюбу, которой примерное постоянство не было подвержено ни малейшему сомнению. Я слышал от многих переселившихся сюда моих знакомцев, что она чрезвычайно обо мне сожалела и несколько дней сряду беспрестанно плакала.

Всемирада.

Да, тебе это сказано было очень справедливо, но кто может знать лучше меня, отчего она так много огорчалась? Я была ее поверенною, и потому все ее тайны были мне открыты. «Я лишилась, – говорила она мне, – в особе г. Золотосора величайших сокровищ; хотя то правда, что никто не был столь глуп и несносен, как он, однако ж щедрость, с каковою расточал он для меня свои сокровища, вознаграждала все сии недостатки. О смерть! если из трех моих любовников надлежало тебе похитить у меня одного, то для чего не обратила ты смертоносное свое оружие на этого несносного надзирателя, от которого в целый год получаю я меньше, нежели от г. Золотосора получала в две недели. Нет, любезная Всемирада, – продолжала она, – никогда уже не возвращу я того, чего лишилась, и никогда не найду такого человека, которого бы с такой легкостью могла я водить за нос, как то делывала с этим глупым откупщиком». Вот, г. Золотосор, отчего происходила печаль твоей любовницы; я думаю, что очень неприятно для твоего самолюбия слышать такие вести, но что ж делать: не ты первый, не ты последний!

Золотосор.

Если б Промоталов знал тебя так же хорошо, как я, то, без сомнения, не столько бы печалился о твоей смерти, и если все твои рассказы о неверности ко мне прежней моей любовницы справедливы, то она, однако ж, не столько виновна, как ты. Помнишь ли ты того немца, который пользовался твоею благосклонностию в то же самое время, когда разоряла ты бедного Промоталова? Также, я думаю, не позабыла еще ты и того, что при воззрении на золото горячность твоя к нему, которою ты столь много превозносишься, совершенно исчезала: деньги производили над тобою такое же действие, какое стужа производит над термометром.

Всемирада.

Я могла бы сказать тебе в свое оправдание, что в этом случае делала я то же самое, что делают прочие мои подруги, и что совсем несходственно бы было с моим

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами. Промыслом поступать в том иначе; однако ж, оставя это, хочу я уведомить тебя, что ничто другое, как та же самая чрезмерная горячность, которую чувствовала я к Промоталову, побуждала меня быть иногда против него непостоянной. Я с сожалением примечала, что издержки, которые он для меня делал, приводили его в истощение: итак, чтоб сберечь его кошелек, почерпала я то у других, чего в нем не доставало: у агличан опорожняла я карманы от гвиней, которые были им в тягость, а у немцев вытаскивала червонцы, которые также были у них лишние. Поверь мне, любезный Золотосор, что я была бы меньше вероломна, если бы не столько любила Промоталова.

Золотосор.

Вот очень смешные оправдания! Право, мне кажется, ты еще не совсем отвыкла от тех любовных глупостей, которые часто болтаются на театре. «Я была бы меньше вероломна, если бы не столько любила Промоталова!» Да кто принуждал тебя любить излишнее великолепие и бесполезные издержки? Ты могла бы очень хорошо прожить теми деньгами, которые получала от своего любовника; однако ж тебе их не доставало и на полгода! Если бы ты в самом деле любила Промоталова, то, конечно им, проводила свою жизнь совсем другим образом. Двадцать богатых платьев! тридцать разных минеров чепчиков и шляпок! триста бутылок шампанского вина и пятьдесят или шестьдесят прогулок за городом, которые ты по любви своей к нему должна бы была отменить, избавили бы твое постоянство от всякого искушения. Оставя излишнее щегольство и наблюдая во всем бережливость, не была бы ты принуждена ежеминутно его обманывать.

Всемирада.

О! г. Золотосор, это давно уже вышло из моды и никогда между нами не исполняется: ну, можно ли требовать от театральной девки, а особливо от танцовщицы, чтоб была она порядочна в своих поступках? Это то же самое, как бы желать, чтоб откупщик сделался честным человеком и воздержался бы грабить народ тогда, когда имеет к тому способный случай, чтоб петиметр был скромн и чтоб крючкотворец перестал брать взятки! Я всегда видела, что все мои подруги ни о чем более не стараются, как о нарядах, и непостоянство почитают не иначе, как за невинную шутку; итак, могла ли я поставлять себе в порок то, о чем все они рассуждали с таким равнодушием? В этом случае подражала я дорогой твоей Перелюбе и обманывала так же Промоталова, как она тебя, с тем только различием, что его любила я чистосердечно, хотя и была ему неверна, а твоя любовница оказывала только наружную к тебе привязанность; вот какое различие в любовных делах между таким молодым и пригожим офицером, каков Промоталов, и между таким богатым и старым откупщиком, каков был ты: он в объятиях хотя неверной любовницы, однако ж вкушал утехи чистосердечной горячности, а ты был тем одолжен только своим сокровищам.

Золотосор.

Если б ты имела хотя искру честности, то должна бы была уведомить меня еще при моей жизни о том, что теперь мне рассказываешь: тогда не расточал бы я по-пустому своего богатства для такой вероломной и негодной женщины.

Всемирада.

Г. Золотосор! Ты желаешь совсем невозможного. – Как! ты требуешь, чтоб я уведомляла тебя о том, что могло бы причинить вред моей подруге! Неужели тебе неизвестно, какое царствует согласие между театральными красавицами, когда намеряются они ограбить какого-нибудь богатого откупщика? И самые те, которые бывают между собою смертельными неприятельницами, делают искренними друзьями, коль скоро дело дойдет до кошелька подобного тебе богача. Участь многих твоих товарищей должна была бы тебя научить и без моего уведомления, чтоб остерегаться тех хитрых обманов, которые мы очень искусно умеем употреблять против таких простяков, каков был ты и другие тебе подобные, расточившие для нас все свое имение и из любви к нам доведенные до совершенного разорения.

Письмо XXXIX

От гнома Зора к волшебнику Маликульмульку

О том, что жители той земли, в которой он, употребляют много денег на роскоши, проживают все свои доходы на разное щегольство и, не оставляя ничего на

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами содержание своего стола, жалуются, что хлеб дорог, и ищут обедов у своих приятелей; о французах, как они хитростью своею довели жителей до того, что они ежегодно относят в их модные лавки большую часть своих доходов; о модной торговке, ушедшей из смиренного дома, и о брате ее, бежавшем из Бастилии, которому она советует быть учителем и хочет ему доставить выгодное место. Если бы случилось тебе, любезный Маликульмульк, быть в здешней земле, ты очень бы удивился, услыша всенародное роптание на бедность. Здесь все жалуются, что нет денег, от нищего до миллионщика, и от сторожей у старых архивов даже до вельможей, приставленных у смотрения откупов и управления тяжкими делами. Все тоскуют, что жить нечем; у всех недостаток в необходимости, и все говорят, будто приближается последний век; а я так думаю, что свету преставление давно уже было и что люди все померли, а остались одни только машины, которые думают, будто они действуют, как между тем самая малейшая неодушевленная вещь приводит их в движение; но всего страннее, что они жалуются на судьбу в том, в чем сами виноваты; они ропщут на богатство прежних времен и негодуют на бедность настоящего. Каково бы тебе показалось, что есть здесь люди, которые почитают необходимостию прожить в год двести тысяч рублей, хотя знатные люди древних веков, каков был Публикола и прочие, проживали во сто раз меньше и не жаловались на свою бедность.

Говорят, будто здешние жители за 200 лет назад не жаловались на свою бедность и почитали себя богатыми, доколе французы не растолковали им, что у них нет ничего нужного, что они непохожи на людей, потому что ходят пешком, потому что у них волосы не засыпаны пылью и потому что они не платят по две тысячи рублей за вещь, стоящую не больше ста пятидесяти рублей, как то делают многие просвещенные народы. Жителя здешние, услыша это, устыдились, что они не просвещены, стали отдавать французам множество денег за безделицы, заставили себя возить в ящиках так, как возят на продажу деревенские мужики кур, засыпали головы свои мукой и теперь думают о себе, что они в просвещении перещеголяли всех европейцев.

Итак, здешний житель, который почитает себя важным в большом свете, желая сохранить сию важность, несет свой годовой доход, состоящий из трех тысяч рублей, в лавки, платя шестьсот рублей за кузов, в котором протаскают его не более одного года; тысячу двести рублей отдает за хорошие аглинские и французские материи на платье; на девятьсот рублей покупает пряжек, цепочек и других подобных сим необходимостей; а последние триста рублей отдаст парикмахеру французу и, не оставя денег на стол, жалуется, что хлеб дорог, и ищет обедов у своих приятелей. Таким-то образом богатый помещик преобращает свой хлеб и своих крестьян в модные товары, а французы имеют искусство делать сии товары такими, чтоб преобращались они через месяц в ничто: итак, мудрено ли, что здесь недостаток в хлебе, ибо надобно, по крайней мере, четыре куля муки, чтоб преобразить их в посредственную аглинскую шляпу, в надобно десять кулей, чтоб иметь простые серебряные на ногах пряжки.

Сначала хотя это и делало вред щеголям, однако ж тогда хлеб разделялся по народу, и господа недовольны были только тем, что надобно было много иметь труда и терпения, чтобы дожидаться нескольких тысяч кулей, дабы превратить их в пуговицы и кружева; французы наставили их, наконец, на ум, и научили не один только хлеб, но и людей превращать в модные товары. Последуя сему премудрому наставлению, молодой помещик мало-помалу убавляет у себя хлебопашцев, променивает их на модные товары или превращает в волосочёсов и портных, от которых надеется доставать более денег; итак, лучшие люди отнимаются с полей, на коих оставляются только старые и малолетные, меняются на разные безделки, а достальные, вместо того чтоб доставать хлеб из земли своими руками, за каретами и в передних у своих господ ждуют спокойно, пока их накормят. Просвещенные люди нынешнего века дивятся невежеству своих предков: к чему старались они наполнять свои житницы хлебом и содержать хорошо своих крестьян? Напротив, того, сами, стараясь загладить их погрешности, пекутся, только о том, чтоб иметь у себя более кафтанов, и не иным чем думают лучше доказать свое просвещение, как промотав в шесть лет то, что предки их в несколько десятков лет скопили. Французы удивляются их просвещенному вкусу, смеются им в глаза и собирают с них деньги. Сии французы очень хитры и довели, наконец, до того, что почти всякий из здешних жителей мучится совестью и почитает за стыд, если не отнесет ежегодно к французам три четверти своего дохода и пятую часть всего своего имения.

Тебе странно, может быть, покажется, каким образом принудили они здешних жителей, не объявляя им войны и не имея никаких к тому прав, платить себе столь тяжкую подать, какой никогда не собирал Рим с своих подвластных народов во время

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами корыстолюбивейших своих правителей. Но это политическое покорение здешних жителей французами толь хитро произведено в действо, что и я, бывши здесь, не могу сего разобрать подробно, некоторые, однако ж, случаи и обхождение с французами подают мне о том слабые мнения, и мне хочется только тебе, любезный Маликульмульк, представить их на рассуждение.

Желая закупить Прозерпине модных уборов, зашел я недавно во французскую лавку к славнейшей здешней обманщице. По обыкновению своему она хвалила мой вкус в выборе вещей, в которых, признаюсь, не находил я никакого толку; а я играл перед нею лицо деревенского дворянина, которым по большей части показываю я себя для того, чтоб люди, видя меня под таким покровом, менее остерегались, и я бы имел более случая их узнавать. «Каков этот тюрбан?» – спросил я у француженки. «Государь мой! – сказала она с восхищением: – вы ни на что дурное не покажете: вам все то нравится, что прекрасно; вы, конечно, недавно возвратились из Парижа, что имеете вкус, столь сходный со вкусом тамошних жителей». – «Нет – сказал я, – я недавно приехал из деревни и к родственницам моим хочу послать несколько уборов: мне хочется в этом случае попросить твоего совета».

Француженка сделала мне горделивый поклон и зачала передо мною вновь перебирать равные уборы. «Я, сударь, не знаю, – говорила она, – каких лет ваши родственницы; однако ж вы увидите, что моя лавка может наградить недостатки каждого возраста. Начнем по старшинству: вот, например, прекрасный покоевый чепец: он может быть подпорою вашей бабушке, если она у вас есть; пусть только наденет она его на себя, то сей чепец, закрывши половину ее лица и глаз, закроет половину ее лет. Прибавьте еще к сему несколько румян, хорошее шнурование и пышную косынку, то она может легко найти себе обожателей, а если еще прибавить, – сказала она, поклонясь, – пятьдесят тысяч рублей наличными деньгами, то и женихи к ней сыщутся... Вот, сударь, еще соломенная шляпка; красавицы, у которых, дурны глаза, а особливо те, которые под ними носят знаки своего усердия к питерской богине, разбирают у меня сотнями такие шляпки и, прикрывая ими глаза и нос, оставляют любопытным видеть один только подбородок, красотою коего, также и улыбкой прелестных своих уст, могут привлекать они к себе толпу обожателей.

За несколько лет пред сим было здесь варварское обыкновение, что женщины, вступая в собрание, не имели способов себя сокрыть: лица их были открыты, и они так плотно были оберчены в платье, что недостатки и погрешности в красавицах с первого на них взгляда усматривались; но, благодаря просвещению нынешнего века, они выдумали теперь способ, быв в собраниях, видеть там всех, а самим не быть никем видимыми, или показывать публике только то, что они у себя почитают совершеннее и чем более к себе стараются привлечь обожателей; однако ж со всем тем здешние женщины так неблагодарны, что нередко бранят нас, француженок, будто мы им такие способы продаем очень дорого: но посудите, сударь, справедливы ли их на нас роптания, и сколь много они нам обязаны.

Девушки, которые имеют справедливые свои расчеты скрывать свой стан, с коим иногда могут подозрительны показаться в собраниях, приходят к нам и берут у нас себе долгий салон, который, скрывая все их недостатки, оставляет видеть одно только прекрасное их лицо. Сами родители их не знают их состояния, и нередко та, которая прогуливается в таком салоне, потупя свои прекрасные глаза, почитается целомудренною и неприступною весталкою хотя она во всех собраниях ходит сам-друг или сам-третей. Итак, сударь, с нашею помощью старушки чепцами закрывают у себя половину лет, молодые женщины закрывают недостатки своих глаз и носов; а молодые девушки делаются невидимыми и сокрывают, что они столько же знающи, сколько их матушки. Вот, сударь, сколько мы нужны в самых необходимостях! Но что ж, если говорить о щегольстве, то я должна бы была вас задержать у себя три дни, когда бы захотела рассказывать обо всех вспомоществованиях, каких ищут у меня женщины, чтоб умножить красоту свою и придать молодым более пышности, а пожилым приятств! Мы поправляем несовершенства всех родов: волосы, зубы, хороший стан, прекрасную ножку, прелестную грудь; одним словом, все можно достать моею помощью; и, без честолюбия сказать, я вторая мать модных женщин, потому что я перерождаю изуродованных природою и своим поведением красавиц. Признаюсь, что, бывая на гуляньях, всегда с восхищением смотрю я на множество прелестных дочерей, которые мною живут в большом свете и каких никогда не удастся произвести природе; итак, не должны ли сии дочери мне, как матери своей, жертвовать своими деньгами и своею благодарностию? Я, сударь, говорила это для того, чтоб вы, познав свойства разного рода уборов, выбирали потому сходные для ваших родственниц».

Она хотела еще долее продолжать свои прекрасные описания, как вдруг вошел в

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами. Француз в изодранном платье и кинулся к ней на шею. «А! любезная сестрица, – вскричал он, – я еще тебя вижу!» – «А! любезный брат, вскричала французенка, – ты еще жив, небо обрадовало меня твоим присутствием; но ты весьма в худом состоянии!» – «Надобно мне с тобою о многом переговорить», – отвечал он. После сего французенка отложила мне с поспешностию свои уборы, и я, отдав ей деньги, обещал через час за ними зайти; но, вышедши за дверь, сделался невидимым и воротился в лавку, любопытствуя узнать о тех важностях, которые хотел рассказывать французенке ее брат.

«Любезная сестра! – говорил ей француз, – каким образом выплелась ты из смиренного дома?» – «Я удовольствую твое любопытство, – сказала ему сестра, – но скажи мне наперед, как ты выскочил из Бастилии и увернулся от виселицы, которую уже давно французская полиция приготавливала в награждение за твои добрые дела?» Наконец, по некотором споре, кому из них первому зачинать свое повествование, француз начал сими словами:

«Тебе известно, любезная сестра, что я за разные обманы и плутовства получил уже орден на плече и был очень худо отпотчеван полициею; однако ж, чувствуя в себе отважный дух, ибо по необходимости не мог я сделаться таким плутом, коего бы плутовство уважала полиция, решился я продолжать свое карманное ремесло и, наконец, как тебе известно, попался в Бастилию, в то самое время, как тебя отвели в смиренный дом. Правительство приговорило, чтобы я украсил собою парижские виселицы, но я, притворись больным, умел уговорить своего надзирателя, чтоб он дозволил мне с собою прогуляться на верхних площадках, где, проломав ему голову ключами, спустился вниз по тоненькой веревочке, и хотя, оборвавшись, лежал с полчаса мертвым, однако уплелся поскорее от толь опасного для меня места. После сего мне уже не было более никакого способа остаться в Париже, ибо я столь коротко познакомился с полициею, что многие в лицо меня знали. Я прибегнул в сем случае к моим товарищам, и они присоветовали мне бежать в сие государство, где многие честные люди нашего ремесла сыскивают себе хлеб и бывают в великом уважении. Следуя сему совету, я уплелся кое-как, не имея ни полушки денег, и для того, чтобы поддержать мое путешествие, на дороге бывал я в иных трактирах маркером, инде убирал волосы, а в иных местах делался искусным в физике и представлял опыты моего в ней познания; женщины мне покровительствовали, но поляки чуть меня не изрубили за сие искусство саблями, а германцы едва не застрелили из пистолета; однако ж, со всем тем, наконец, доплелся я сюда и, увидя первую французскую лавку, вошел, ожидая себе, как земляку, некоторой помощи, и небо дало мне тут увидеть тебя, любезную сестру! тебя, которую давно уже почитал я посланною правительством в Америку, чтобы стараться там о размножении человеческого рода. Я с радостию вижу, что ты здесь находишься в таком состоянии, которому бы и в Новом свете теперь позавидовали. Ах! если б и я не умер здесь с голоду... но что мне делать! я не знаю никакого ремесла, чем бы мог себя пропитать!»

«Не печалься об этом, любезный брат! – перехватила речь его добродушная сестра, – я приищу тебе выгодное место: вступи в учителя – это такое звание, которым многие из твоей братьи вечный хлеб себе нажили». – «Как! – сказал француз, – мне в учителя!.. сестра! ты знаешь, что я не только морали и науки преподавать, но даже и французские книги читать неспособен». – «Безделица, любезный друг, – вскричала французенка, – безделица, довольно, что ты француз, чтобы заставить здесь тебя почитать знающим. Послезавтра представлю я тебя к одной вдове, и ты будешь, верно, хорошо принят. Помни только мои наставления: будь важен, показывай отвращение ко всему, что увидишь в доме, сделанное не по французскому вкусу, и чаще наказывай детей за то, если они не почувствуют склонности к щегольству и к нашим уборам, что должен ты называть опрятством. Главное твое правило будет состоять в том, чтобы учить их лепетать и кланяться по-французски, и как скоро достигнешь ты до этого совершенства, то родители почтут тебя счастливыми, тебя назовут мудрецом, а детей своих станут возить напоказ по городу. Но пойдем ко мне в комнаты, переоденься и готовься вступить в такую прекрасную должность, от которой я, приехавши сюда, получила свое состояние, а достальные наставления дам тебе при вступлении твоём в сие звание». Вот в чем замыкались поучения французенки, и мы скоро увидим, любезный Маликульмульк, каким образом поступит наш учитель и какой чести будет удостоен бежавший из Бастилии француз.

Письмо XL

От Эмпедокла к волшебнику Маликульмульку

и критическая переписка арабского философа Маликульмульк с водяными, воздушными и подземными духа
О приятной провождаемой им уединенной жизни в увеселительном Маликульмульковом замке под горою Этною. Рассуждение его о слабости и непостоянстве человеческого разума

Признаюсь тебе, почтенный Маликульмульк, что безумное мое стремление о приобретении пустой славы не только не принесло бы мне никакой пользы, но обратилось бы к мучительнейшему наказанию за мое тщеславие, если бы дружба твоя мне не вспомоществовала и не избавила бы меня от совершенной погибели. Повергшись в огненную пучину, начинал уже я чувствовать жестокость сей стихии и проклинал свое безумие, как рука твоя, извлеки меня из оной, неожиданно преселила в приятнейшее жилище, где нашел я все нужные для себя выгоды, каких ожидать никогда бы не осмелился. Я чрезвычайно доволен уединенною моею жизнью в твоём увеселительном доме под горою Этною: здесь, удалясь от шумного и беспокойного света, препровождаю я блаженные дни. Чтение хороших книг в твоей библиотеке составляет первейшее мое упражнение, а прогулка по твоему саду наилучшая моя забава. Я удален от всего, что могло бы возмутить мое спокойство; никакая слава более уже меня не прельщает; насмехаясь всем человеческим глупостям, без всякого помешательства могу я прилагать попечение о изощрении моего разума и посвящать все часы моей жизни изучению полезной философии. Однако ж за долг поставляю признательно тебе сказать, почтенный Маликульмульк, что, читая многих древних и новых авторов, писавших о различных родах человеческого безумия, которое хотя и можно иногда извинить нравами и обычаями некоторых народов, часто я вхожу в размышление о странности разума человеческого: я почти начинаю думать, что нет на свете ни одного человека, выключая тебя, почтенный Маликульмульк, истинно мудрого. Когда я говорю истинно мудрого, то под сим словом разумею, что каждый почитающийся мудрым являл в себе нечто такое, что можно назвать глупостию. Многие ученые были уверены в сей истине и утверждали оную в своих сочинениях. Славный Деспро написал, что человек есть глупейший и достойнейший смеха из всех животных, [7] но мне кажется, что авторы, писавшие о странности и непостоянстве человеческого разума, входили в исследование сего предложения не довольно философически и судили об одной только поверхности, а желательно бы было, чтоб они входили в обстоятельную подробность.

Хотя бы и не хотели они исследовать все различные состояния людей, но вникали бы в одно только состояние ученых и философов, то и тогда могли бы заметить, сколь далеко простирается слабость человеческого разума, ибо оный часто бывает подвержен многим несовершенствам и в то время, когда кажется быть возвышенным до самой высочайшей степени. Когда открывается очень много порочных склонностей и непостоянств в Картезии, в Лейбнице и в других подобных им мужах, науками себя толико прославивших, то надлежит ли удивляться, находя сии пороки в людях, никакими познаниями не просвещенных, или в петиметрах и вертопрахах нынешнего века? Ежели ученые мужи, признаваемые из всех людей совершеннейшими, подвергаются многим достойным осмеяния погрешностям, то чего же должно требовать от тех, которые почитаются от всех достойными презрения? Итак, почтенный Маликульмульк, не без основания я полагаю, что, рассматривая непостоянство разума человеческого по поступкам двух или трех прославившихся ученых мужей, можно бы было приобрести более успеха в познании всех людей вообще, нежели без всякого рассмотрения прилепляться к описаниям бесчисленного множества глупостей и сумасбродств, которые хотя и справедливо писателями были осуждаемы, но собраны без точного исследования и доказательств.

Какого бы великого духа особу ни избрать, в каждой непременно усматривается довольно погрешностей, почему и можно смело утвердить, что разум человеческий достоин: более жалости, нежели удивления. Возьмем в пример двух знаменитых философов: одного древнего, а другого нового, и рассмотрим их главнейшие дела и поступки. Начнем прежде Аристотелем и потом обратимся к Лейбницу.

Сей знаменитый логик, будучи первым наставником людей в здравомыслии, между многими своими умословиями предлагал также пустые и вздорные басенки. Сколько нелепых, совсем ложных и бесполезных сказок поместил он в своих сочинениях! Итак, тот, кто принимал на себя столь много труда для научения людей здравому рассудку, требовал сам в тысячу раз более вспомоществования, которое надеялся предлагать другим, и погрешал непростительно против правил, самим им предписанных. Ежели же захотят видеть еще сего убедительнее пример слабости и непостоянства человеческого разума, то войдем в исследование природных свойств Аристотелевых. Он называл себя философом и был в самом деле таковым; однако ж не менее других любил богатство; и самый корыстолюбивый купец, который от утра до вечера непрестанно занимается попечением о своей торговле, не столько бы мог превозносить оное похвалами. По мнению Аристотеля, одно только богатство

и критическая переписка арабского философа Маликульмульк с водяными, воздушными и подземными духами составляет все то, что может назваться здесь совершенным благом. Лукиан справедливо насмехался столь ложному Аристотелеву умозаключению и правилу, столь противному не только истинной мудрости, но даже естественному рассудку. Он упрекает чрез Диогена сему философу, что он то говорил единственно для того, дабы иметь благовидный предлог удовольствоваться свое сребролюбие и просить себе у Александра всего того, чего получить от него надеялся.

Если Аристотель любил столько богатство, то не менее того прилеплен был к ложной славе: я называю ложною славою ту, которая не приобретается позволенными и честными способами. Дабы люди верили, что его мнения были основательнее и разумнее всех других философов, он предлагал им оные столь вздорно и нелепо, что тому надлежало бы быть столь же безумно, сколько он был лжив, если бы кто совершенно удостоверился, что сии философы действительно тем мнениям его последовали и сообразно им поступали. Вот какая была слабость в человеке столь великого и высокого духа!

Неблагодарность была так же свойственною и природною погрешностию в Аристотеле. Сей философ, долженствующий более других познавать всю гнусность сего порока, предавался оному совершенно. Он никогда не упустил случая оскорблять как сочинения, так и самого Платона, которому был обязан всеми своими познаниями, коими толико прославился. Итак, можно ли после сего удивляться, что в нынешнем свете многие, хотя довольный разум имеющие, люди, но в природных своих дарованиях далеко не равняющиеся с Аристотелем, и которых можно бы было почтить против его совершенными невеждами, оскорбляют своих благодетелей, позабывая все их прежние благодеяния; и что ныне всякое оказанное благодеяние помнится только несколько дней после его получения, и благодетель дотоле только уважается, доколе есть еще надежда иметь в нем впредь какую-либо нужду, но коль скоро в нем нужды никакой уже не будет, то не только престаешь оказывать к нему уважение, но даже и имя его предается забвению! В нынешние времена, почтенный Маликульмульк, есть много таких примеров. Можно ли, повторяю я, сему удивляться, когда Аристотель, будучи одарен всеми наилучшими дарами природы, предавался сему гнусному пороку до такой крайности и старался всячески оскорблять Платона и повреждать его славу! После сего не должно ли ожидать, что люди обыкновенные могут достигать в сем пороке до чрезвычайности, и не должно ли почувствовать некоего презрения к человеческому разуму, толико представляемому полуучеными, который кажется весьма жалким для тех, кои усматривают всю его слабость?

Всякий раз, когда размышляю я, почтенный Маликульмульк, о поведении многих великих мужей, не могу воздержаться, чтоб не почувствовать некоторого смутения, взирая на свое бедственное состояние, и едва не дохожу иногда до того, что желаю себе участи несмысленных животных, и согласился бы охотно променять свой разум, всегда колеблющийся и подверженный непреодолимым слабостям, на их врожденное побуждение, которое никогда не переменяется и управляется природою. Невежды или люди посредственного ума непрестанно превозносят друг друга в великих дарованиях, полученных ими от природы; но имеющие более просвещения мыслят о сем подобно Паскалю и почитают справедливым то, что он сказал: «Видя бедственное ослепление в человеке, удивительные противоположности, открывающиеся в его свойствах, и взирая на всю безмолвную природу и на человека, лишенного просвещения, преданного своим слабостям и как бы блуждающего в малом уголке вселенной, не ведая, кто его туда поставил? зачем он туда пришел? и что случится с ним по смерти? – я прихожу в ужас, подобно человеку, которого спящего принесли бы на пустой и страшный остров и который, пробудившись, не знал бы, где он, и не находил бы никакого способа из острова выйти. Рассуждая таким образом, весьма удивляюсь, как человек без содрогания может взирать на столь бедственное свое состояние!»

Вот, почтенный Маликульмульк, когда и самый высочайший разум последних веков не мог без ужаса взирать на свое бедственное состояние и был поражен удивлением, открывая противоположности, непостоянство и слабости в своей природе, почитая ее соборищем всех бедствий, то можно ли после оного людям обыкновенным взаимно друг друга превозносить похвалами в природных своих дарованиях, в превосходном разуме и просвещении? Такие люди что могли бы сделать со всеми своими посредственными дарованиями, которые ничего не значат в сравнении с Паскалем, когда и ему те высочайшие дары, моими он щедро был награжден от природы, казались достойными презрения? Сей ученый муж, почитая участь смертных столь бедственною и несчастною, полагал, что если бы не имели они в жизни своей других причин к скуке, то, конечно, соскучились бы собственным своим существованием.

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами

Теперь возвратимся опять к слабостям Аристотелевым. Удостоверяют, что он был изгнан из своего отечества зато, что принесил жертвы своей наложнице и в честь ее сочинил гимн. Можно ли далее сего простереть безумие? И самый глупейший вертопрах нынешнего века делал ли что-нибудь сему подобное? Я не нашел ни в одной книге на твоей библиотеки, чтоб и в Париже; делали такое боготворение бывшим там славнейшим кокеткам, и никто не сочинял в честь их гимна; может быть, сочиняли какие-нибудь любострастные песенки или мадригалы; но есть ли какое сравнение между гимном и мадригалом?

Итак, когда Аристотель воздал божескую честь своей наложнице и сочинил в честь ее священные стихи, то можно ли после сего удивляться, видя в нынешнем свете многих знатных вельмож, обожающих театральных девок и расточающих для них великие сокровища? Без всякого сомнения, будут осуждать такое безумие, но самое сие не доказывает ли, каким великим слабостям подвержен человеческий разум и каких следствий ожидать должно от его непостоянства? Если в прежние веки сие случилось в Греции, то не может ли то же самое случиться в Париже, в Лондоне, в... в... и в других местах? Неужели ныне люди сделались разумнее? – Конечно, нет! – Более ли они просвещены Аристотеля? – Без сомнения, гораздо меньше. – Умеют ли они лучше противоборствовать страстям своим? – Нет, почтенный Маликульмульк, они и ныне так же предаются им без всякого сопротивления. Свойство людей нимало не переменилось, и если ныне не видно, чтоб делали они такие же глупости, какие сделал Аристотель, то это, может быть, оттого, что никому не случилось быть в подобных положениях. И в нынешний так называемый просвещенный век люди так же безумцы, ветрены, непостоянны, сварливы, скупы, горды и тщеславны; каким бы высоким разумом они одарены ни были, никогда не могут себя защитить от многих пороков.

Посмотрим еще сему доказательство в небольшом исследовании свойств Лейбницевых.

Он имел столько же разума, как Аристотель, и преисполнен был толиким же тщеславием. Он говорил сам о себе такими выражениями, которые показывали в нем самую величайшую и, можно сказать, самую смешную гордость. «Мне не было еще пятнадцати лет от роду, – говорит он, – как препроводил я целые дни в изыскании случая, чтоб занять место между Аристотелем и Демокритом. Не более как двенадцать лет тому, как совершились мои желания и я достиг, наконец, до совершенного доказательства о действии веществ, которые, как казалось, прежде не являли к тому нималой способности. Опыты, делаемые мною совсем особливим образом, могут быть доказаны яснее, нежели то делано было другими в арифметических и геометрических задачах, хотя сие превосходит всякое воображение».

Можно ли распространить далее сего надменное о себе самом мнение? Может ли модный петиметр безумнее сего о себе мыслить, или полуученый более сего превозносить себя похвалами? После сего кто будет удивляться, что Пустовраль поставляет себя в числе лучших писателей, что Любокрас прельщается своею красотою и что сочинители Бредящего мещанина почитают прекраснейшими творениями глупые свои бредни, хотя многим довольно известно, что нет почти ни одного из их читателей, кто мог бы с удовольствием прочитать с начала до конца хотя одну их книжку. Все сии люди, рожденные с разумом, в тесных пределах заключенным, могут ли воспротивиться погрешностям, сродным вообще всем смертным, когда не мог оных избежать Лейбниц, будучи из числа величайших и славнейших философов в Европе? Ежели он по природному своему свойству принужден был впасть в столь смешное безумие и если в то самое время, когда осуждал человеческое высокомерие, предавался сам до чрезвычайности сему гнусному пороку, то каким чудом люди простые могли бы возвыситься выше пределов своего состояния и исправить свои несовершенства, присоединенные крепчайшими узами к существу их? Безумно бы было полагать возможность, столь противную как здравому рассудку, так и неоспоримому опыту.

Итак, погрешности великих мужей не только могут быть способны дать нам почувствовать недостатки всех людей вообще, но и доказать совершенно слабости и непостоянство человеческого разума. Поелику известно, что если кто захочет исследовать какую вещь, то всегда должно рассматривать ее с превосходнейшей степени; следственно, познавая глупости обыкновенных людей, узнаешь только то, что некоторые из них могут иметь погрешности, свойственные их природе, но, удостоверясь совершенно, что и самым высочайшим разумом одаренные часто бывают подвержены таковому же порокам, как и самые безумнейшие, должно непременно заключить, что нет никого из смертных истинно мудрого.

Ежели бы люди прилежно рассматривали, почтенный Маликульмульк, сколь бывает в них посредствен превозносимый ими столь великими похвалами их разум и сколь способен он принимать в себя различные впечатления предрассудков, самолюбия, гордости, тщеславия, а, наконец, и всех страстей вообще, то гораздо менее полагались бы они на сей, по мнению их, природный светильник, который почитают они надежнейшим себе путеводителем, ибо, ежели бы он был нечто действительно существующее и совершенно твердое и основательное, то надлежало бы, чтоб во всех людях был он одинаков, производил бы в них одинакие действия и показывал бы им все вещи в равном положении. Но отчего же происходит сие различие в чувствах? По какой причине один народ почитает какую-либо вещь правильною, а другой точно бывает уверен в ее неправильности? И для чего то, что называют добродетелию в Азии, почитается пороком в Европе? Который из сих двух есть истинный рассудок, европейский или азиатский? Если европейцы совершенно уверены в своих мнениях, то какую пользу приносит природный светильник большей части земных жителей? Тогда непременно надлежит признаться, что сей мнимый светильник, данный от природы людям для их путевождения, не более им полезен, как и само густейший мрак. Почто думают европейцы, что рассудок азиатцев несправедлив? И для чего бы таким не назвать рассудок европейцев? Каким образом можно решить столь трудную задачу? Не полезнее ли в сем случае придерживаться мнения святого Августина и верить, что грубость нашего тела причиною нашего малого познания и несовершенства нашего разума? «Разум человеческий, – говорит сей святой муж, – помрачается привычкою ко мраку, коим человек окружен во греховной нощи, и потому не может отверстыми очами взирать на свет, которого в нем недостает. Великое есть для него благополучие, когда он руководствуется к истине гласом и властью веры».

Приметь, почтенный Маликульмульк, что святой Августин, как кажется, совершенно был уверен, что человек никогда не был способен сам собою познавать истину и что потребно было для сего, чтоб он был к ней провождаем некоею высочайшею властью. Итак, следуя оному, какую надежду можно полагать на сей разум, толико превозносимый похвалами от философов и от многих ученых? Должно ли называть природным светильником такую вещь, которая неспособна подать нам ни малейшего просвещения? и какое действие может произвести философия, которая ничем другим не поддерживается, как властью сего обманчивого и мечтательного разума, который чаще приносит нам вред, нежели пользу?

Цицерон не без основания утверждал, что люди, может быть, были бы блаженнее, ежели бы не были одарены разумом. Он уподобляет его вину, которое хотя может иногда быть полезно для больных, но чаще делает им вред. И в самом деле, сколько глупостей извиняемы бывают посредством разума? Человек, который, не получивши от другого ни малейшего себе оскорбления проезжает двести или триста миль единственно для того, чтоб с ним резаться, основывает безумие свое на разуме. Пустосвят, который возмущает целое общество и который один делает более зла, нежели язва и голод, защищает свое злодеяние разумом. Мот, повергающийся в роскошь, извиняет свои поступки посредством разума. Философ вздорные свои умствования утверждает также на разуме, и, наконец, нет ни одной такой вещи, в которую люди не вмешивали бы разума: все думают обладать им в равной доле, но все равно заблуждаются.

Гораздо полезнее, почтенный Маликульмульк, усмирить сих разумников, превозносящихся столь много своим разумом, показав им всю его слабость и несовершенство. Таким способом можно научить надменных любомудров покорять их рассуждения под власть веры и никогда не спорить о некоторых вещах, в понятие их не вмещающихся, ибо сколько есть между ими таких, о коих можно сказать с святым Бернардом, что «в то самое время, когда стараются они достигать до познания вещей, им непостижимых, сами о себе не имеют нималого познания».

Письмо ХLI

От ондина Бореида к волшебнику Маликульмульку

О путешествии Нептуна со всем его водяным двором по морским степям. О беспокойстве, которое имел Нептун от мореплавателей. О великолепном пире, который жена Нептуна Фетида приготовила на новоселье. О морском сражении, случившемся над головами пирующих и как сверху попадали к ним на стол чалмоносцы. Разговор Нептуна с музульманами о причине их войны
Уже давно, любезный Маликульмульк, не имел я удовольствия беседовать с тобою письменно, и с того времени, как ты оставил свой кабинет редкостей, находящийся под Харибдою, и захотел несколько времени провести между жителями земными,

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами, непостоянными более, нежели морская вода; с того времени, как тебя, любезный мой сосед, не стало в нашей стихии, я также оставил свой дом, который мне одним только с тобою соседством нравился, и ныне путешествую по разным странам, покрытым морскими водами, занимаясь собиранием редкостей, коими умножаю твою кунсткамеру; иногда любопытно видеть различные наши селения и морских людей, из коих с некоторыми хочется мне и тебя в свое время познакомить: право, они очень добрые люди и от жителей земной поверхности тем только разнятся, что не умеют обманывать и убивать друг друга.

Путешествуя таким образом, иногда встречаюсь я с двором Нептуна, а ты знаешь, что все дворы очень любопытно видеть, особливо двор такого бога, которого владения обширнее всех земных владений, и в котором по его многолюдству никогда без новостей не бывает.

Наш водяной двор ныне в немалом беспокойстве и не знает, где сыскать себе для утверждения место: недавно Нептун выбрал было очень выгодное близ берегов древней Тавриды, и Фетида приготовила для новоселья превеликолепный пир. Все наши водяные жители были на оный приглашены и расположились на нескольких столах праздновать сие новоселье. Кораллы и жемчужные раковины украшали сосуды и умножали великолепие; гости пировали спокойно, и морской бог накатил уже изрядно лоб нектаром, который ему отпускается посуточно с Юпитерова двора.

«Вот, наконец, я выбрал себе очень спокойное жилище, – сказал он с восхищением, – теперь уже ничто меня более не потревожит, и неугомонные смертные перестанут, плавая над моею головою, сбрасывать ко мне всякий сор, как то они доньше дельвали. Вообразите, – продолжал он, – что некогда я должен был от них перенести свой двор к берегам Америки! Что ж вы думаете, оставили ли они меня там спокойно? Совсем нет: в день празднования моего брака с Фетидою, когда я меньше всего ожидал, вдруг ударили меня по голове якорем. Это был Колумб, которому вздумалось искать Нового света, богатства и славы. Представьте мое удивление, когда получил я шишку на лбу от якоря в таких местах, где меньше всего ожидал приезде корыстолюбивых смертных. Перевязав свою разбитую голову морскою травой, пустился я кочевать далее к северу, не оставляя, однако ж, берегов Америки, и после того был несколько времени спокоен, как вдруг упало на меня пушек с восемь, и если бы я не был бог, то переломало бы мне все кости. «Проклятые смертные! – вскричал я, – вы нигде мне не дадите покою!» С превеликим трудом вытащили меня всего изуродованного из-под пушек, и я узнал, что эти пушки, которыми меня чуть было не задавило, упали с корабля, потонувшего со многими другими кораблями серебряного флота, отправлявшегося в Гишпанию из Америки. Опасаясь, чтоб не быть опять таким образом когда-нибудь задавлену мореплавателями, решился я перенести свой двор под который-нибудь полюс, и в тот же час бросился к северному, где едва было не замерз со всем своим двором, и уже сбирался в скором времени оттуда выбраться, как вдруг побудила меня поспешить тем самая важная причина.

Одним днем, очень спокойно сидя, выпивал я для обогрения себя двадцать шестую бутылку нектара, как в ту самую минуту – о ужасное зрелище! – увидел, что мою любезную Фетиду волокли мимо меня, зацепив за шею веревкою с привязанною на одной гирею. Бедная моя жена хрипела и барахталась руками и ногами, но не могла никак освободиться от проклятой петли, в которую судьба ее всунула. «Кто такой дерзновенный, – вскричал я, – который осмеливается так бесчестно поступать с моею женою?» Мне донесли, что это были агличане, которые искали прохода к полюсу на своих кораблях, из коих с одного опущенный лот опутался около шеи моей дорогой Фетиды, чем давно бы ее удавило, если бы она не была бессмертна. Мы кое-как ее отпутали, и я побежал опрометью из этих проклятых мест, в которых думал было совсем избавиться от людей, и где они чуть не удавили мою любезную супругу.

Шествуя оттуда со всем моим двором по морским степям, озлился я на всех мореплавателей и вздумал одним разом отправить их к Плутону. Утвердясь в сем намерении, возволновал я море столь сильно, что надеялся потопить все корабли без изъятия, но вместо желанного успеха наделал только тем более себе беспокойства: волны, пронося мимо меня корабли, нередко задевали меня за голову и переброкидывали вверх ногами, с иных кораблей бросали наполненные золотом ящики и подбивали ими глаза моим придворным; две любимые мои кобылицы окривели от срубленных мачт, которых концами повыколото им по одному глазу; четверым из моих любимых тритонов переломало руки сброшенными с тех же кораблей пушками. Видя это, я опасался, чтобы, желая нанести беды мореплавателям, не претерпеть

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами более их мне самому и не превратить бы свой двор в больницу, ибо большая уже половина нежных моих придворных была перепятнана носящимися по морю обломками кораблей; итак, в предосторожность для себя и для оставшейся половины моего двора утишил я погоду и оставил людей на произвол самим себе, проклиная их жадность к богатству и к пустой славе.

Но не думаете ли вы, что эта буря их устрасила и заставила убежать моря? – Совсем нет: тотчас по утишении ее, – увидел я проезжающие полуобломанные корабли, на которых пьяные матросы были так же спокойны, как будто бы они были на твердой земле, и бранили друг друга для препровождения времени; а те, которые во время прошедшей бури принуждены были сбросить с корабля часть своих сокровищ, не столько радовались тому, что утишилась буря, сколько сожалели о потере оных и желали сердечно удвоить свои опасности на сей жидкой стихии, надеясь возвратить потерянное.

После сего не мог уже я нигде найти себе спокойное жилище; куда я ни уходил, везде, кажется, нарочно за мною гонялись земные жители и старались меня беспокоить; украшения дворца моего, уборы мои и моих придворных, ничего от них не оставалось в целости. Хотя многих из них буря наказывает на их дерзость, и хотя многие низвергаются с водяной поверхности на дно морское, со всем тем оставшиеся думают, что морские ветры вредить им не могут, и продолжают спокойно свое плавание, ожидая что природа из уважения к ним переменит свои законы и удержит в неподвижности моря. Итак, я, видя во всех странах непрестанно проходящие над моей головой корабли, перестал уже стараться искать мест, неизвестных смертным, и решился здесь основать свой двор, как для ясности погоды, так и для теплоты, которую я по своей старости очень жаую. Сверх чаяния, нашел я здесь себе спокойствие, которого столь давно желал; правда, хотя и здесь вижу я много кораблей, но это мне придает более осторожности, и я учредил часовых, чтобы они отводили от моего лба якоря, которые сверху иногда бросают; здесь во время непогоды корабли не задевают за мою голову, для того что отсюда очень близки берега, в которых они себе находят убежище, не кидая на мой двор своих пушек и сундуков».

В самое то время, как он таким образом любовался своим спокойствием, вдруг осветило все собрание, и раздался гром над нашими головами; фетида, как нежная богиня, упала в обморок, а у Нептуна выпала из рук бутылка с нектаром, которая была уже пуста, а иначе он, конечно, держал бы ее крепче в своих божеских руках. Все собрание устремило кверху глаза и увидело над собою целый плавающий город, который перестреливался с другим таким же городом.

«Хорошее место выбрали они для драки!» – вскричал Нептун. «Ваше величество, – сказал один из придворных, – конечно, они не знали, что вашему божескому произволению угодно было сделать пир на сем месте; ибо если бы смертные о сем знали, то никак не осмелились бы над вашею головою драться и тем беспокоить вас и все почтенное собрание». – «Ах! – вскричала фетида, которая лишь только что опомнилась: – я занемогу, если эта ужасная драка еще будет продолжаться! Любезный Нептун! – говорила она, обратись к своему мужу, – отведи отсюда скорее сии корабли». – «Ах! фетида, – вскричал Нептун, – ныне уже не старые времена, когда я, как хотел, так ворочал всеми морями и всеми плавателями; ныне ни одна живая душа из обоих флотов меня не послушает, и если бы мне вздумалось самому выйти их унимать, то, конечно, с обеих сторон ничего бы я не получил, кроме нескольких ударов веслами или, еще и того хуже, расквасила бы мне нос пушечным ядром; а вместе с носом я был бы в опасности потерять и твою любовь; ибо, не в огорчение сказать вам, женщинам, всякий мужчина, потеряв нос, всегда бывает в великой опасности лишиться обожания самой страстной своей любовницы. Итак, пускай они дерутся, мы здесь так глубоко, что нас мало должна трогать их ссора. Желал бы я только знать, какая причина понуждает их драться на воде, а не на земле? Со всем тем выпьем, однако ж, за здоровье будущих победителей; ибо политика требует, чтобы всегда приставать к сильной стороне, чему всегда последовали мои товарищи Олимпа как под Троею, так и в других сражениях».

В самую ту минуту, когда владетель океана подносил ко рту рюмку, и лишь только растворил было рот, вдруг расшибло ее в дребезги упавшим пушечным ядром, за коим последовал град других ядер, которые стучали в самые маковки всем присутствующим на сем почтенном собрании, и перебило всю на столе посуду.

Такие гостинцы могли бы отправить к Плутону большую половину нашего собрания, если бы все мы были не бессмертны; однако ж, со всем нашим бессмертием, такие

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами щелчки ни одному из пирующих не понравились. Сам Нептун, вышед из терпения, хотел взволновать все море и разнять воюющих так, как разнимают в некоторых местах кулачных бойцов заливными трубами.

«Провал их побери, – вскричал Нептун, – отобедаем поскорее и оставим здешние места. Господа! – кричал он, – прошу отвесть из этого блюда, приготовленного из плеска самого жирного кита». – Мы протянули было руки, как вдруг изуродованный чалмоносец упал в сие блюдо. Гости, видя такую дурную приправу, оставили охоту отвесть китова плеску и проклинали всех чалмоносцев на свете, которые мешают пировать на новоселье и прыгают так некстати в божеские соусы.

Не успели мы очистить блюдо от магометанца, как целые груды сверху попадали его одноземцев и на нас и на наш стол. Фетида вновь упала в обморок со страху от покойников, хотя Нептун доказывал ей как возможно красноречивее, что от мертвого тела, так же непристойно лишаться чувств, как от каменной статуи. «Ах! – кричала она Нептуну, – ты никогда меня не перестанешь мучить, и я вечно принуждена буду видеть здесь мертвецов и пискарен, которые всегда наводят мне обмороки».

Ты видишь, любезный Маликульмульк, что не одни ваши женщины от мышей и от пауков лишаются чувств, и наша богиня также пискарей боится.

Когда все находились в таком замешательстве, вдруг упало к нам несколько опаленных и половина еще живых рыцарей луны, и один из них попал прямо на колени к Нептуну. «О Магомет! – вскричал он, – теперь я верю, что янычару очень трудна дорога к твоим гуриям: пошли же ко мне из них поскорее хотя одну, чтобы я мог видеть, не по-пустому ли я лишился своих ног и своей головы».

«Дерзновенный! – вскричал Нептун, – ты не у Магомета в раю, но в недрах моря у обладателя жидкой стихии, и я скоро накажу тебя за твою дерзость, что ты осмелился обеспокоить мое величество». – «Как! – вскричал музульманин, – так я напрасно дрался и проливал кровь свою за Магомета, который не печется теперь избавить меня из воды и вместо посланий ко мне прекрасных гурий оставляет, может быть, на съедение морским чудовищам! Увы! если б я это знал, не оставил бы мою любезную Зюлиму и не променял я бы ее на гурий, которых, как видно, и на свете не бывало; я не стал бы драться с людьми, которые мне никакого зла не сделали, и не дал бы себя изуродовать и опалить, во ожидании зато себе награждения в третьем небе».

«Но скажи мне, – сказал Нептун, – какую причину имели вы драться и что понудило тебя, оставя спокойную жизнь, итти искать своей гибели на море». – «Увы! – отвечал обожатель Магомета, – мне сказано было от муфтия и от имана, что люди, живущие от меня за несколько тысяч верст, которых я от роду в глаза не видывал, ужасно обидели и меня и пророка Магомета, который уже несколько сот лет лежит спокойно в Мекке, и что я непременно должен итти драться с этими людьми, если не захочу быть лишен на бесчисленное множество веков райских гурий. Услыша это, оставил я жену и поехал посмотреть тех людей, которые обидели меня и давно уже умершего Магомета, будучи в твердой надежде всех их перебить, ибо в Алкоране нашем именно сказано, что нас никто не победит до последнего века; но наши неприятели, несмотря на такие сильные обещания Алкорана, в другой уже раз сожигают наш флот, и меня сегодня со всем моим усердием отмщать Магометову обиду, с доброю надеждою будущего рая и с моею галерою взорвало на воздух и бросило не на небеса, как бы должно было мне того ожидать, но на морское дно, где я вижу ясно, что наши муфтий и иманы обещают нам селения в таких местах, куда они сами никогда прибыть не надеются, и для того, не полагаясь на будущую жизнь, собирают с нас деньги, чтобы было им чем райски жить на земле».

«Но скоро ли, по крайней мере, – спросил Нептун, – кончится ваша драка?» – «Может быть, тогда, когда всех нас перебьют, ибо некоторые товарищи мои обнадежены, что всех, кого подымет на воздух, прямо порохом взбрасывает на небеса, и думают тем угодить пророку, своему защитнику, которого и самого так же бы взорвало, как и других, если бы он между нами случился. Однако ж большая часть из моих земляков мало верят сим пустым уверениям, и, видя, как повсюду бывают они поражаемы своими храбрыми неприятелями, имени их страшатся, и как на море, так и на земле недолго выдерживают с ними сражение; но всегда принуждены бывают или от них бежать без памяти, или, положи оружие, отдаваться в их волю».

Нептун, видя между тем умножающиеся кучи музульманов, поспешил со всем своим двором и с любезною своею супругою выбраться из столь беспокойного места; а я

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами продолжал мой путь, оставя глупых музульманов делать скачки по воздуху в честь своего Магомета, который у Плутона вместе с ними посмеется, может быть, над их дурачеством.

Письмо XLII

От гнома Зора к волшебнику Маликульмульку

От гнома Зора к волшебнику Маликульмульку. О французенке, какое она давала наставление своему брату о вступлении его в учительскую должность. Теперь хочу я уведомить тебя, любезный Маликульмульк, о том, чем кончилось предприятие французенки, желающей пристроить брата своего к месту.

Мне очень хотелось знать, кто будет тот несчастный, кому французский беглец с виселицы достанется в учителя, и найдутся ли столь глупые родители, которые бы поверили воспитание своих детей почти безграмотному плуту, который скорее может научить, как вытаскивать из карманов платки, нежели наставить в добродетели; и для того на другой день не умедлил я невидимкою притти к французенке, которую застал покупающую у здешних купцов гнилые товары и обертывающую их в бумаги, украшенные французскими надписями, чтобы после продавать за иностранные.

Едва отпустила она купцов, как вошла в лавку молодая девушка с своею учительницею и начала рассматривать некоторые товары. Минуту спустя вскочил в лавку молодой щеголь, который, между тем как девушка перебирала разные уборы, успел переговорить тихо с ее учительницею. «Говорила ли ты с нею обо мне?» – спросил он ее. «Надейтесь на успех, – отвечала спя плутовка, – она вас любит, и остается нам преодолеть один только ее страх. Но, господин Скотонрав, – продолжала она, – право, услуживая вам, я опасаясь лишиться места». – «Не бойся, – отвечал он, всунув ей в руку кошелек с деньгами, – если ты потеряешь сие место, то я представлю тебя моей матери в надзирательницы к моей сестре». Мадам отскочила от него, а он подошел к девице.

«Боже мой! – сказала красавица: – ни одного убору не могу выбрать по своему вкусу». – «Сударыня! – вскричал подлипало: – вам только стоит выбрать какой-нибудь: всякий на вас будет казаться прекрасным». Девушка присела перед ним и покраснела: в сем состоял весь ее ответ.

«Ваша стыдливость доказывает, будто вы мне не верите, – говорил щеголь: – Ах! сударыня, неужели почитаете вы меня лицемером? Ваша надзирательница, конечно, повторит вам мои мысли, и я клянусь вам сею прекрасною ручкою (при сем схватил он ее руку и поцеловал), клянусь всяким из сих нежных пальчиков, что я говорю правду». – «Государь мой, – отвечала ему девушка в смущении и почти заикаясь, – я не заслужила таких приветствий...» – «И, сударыня, – перехватила речь ее надзирательница, – учитесь лучше жить в свете: можно ли принимать так ласки молодого мужчины, который всеми способами столь уже давно старается сыскать случай доказать вам свою любовь и преданность? Можно, право, с первого на вас взгляда узнать, что вы недавно выехали из деревни; нет! воля ваша, я не допущу вас так сурово обходиться с мужчинами; вы ведь видели, как здешние девушки с ними ласковы: старайтесь подражать им в оставьте эту деревенскую застенчивость, которая делает нас смешною; я, как учительница, вам это говорю, и как друг ваш, вам это советую». – «Ах! боже мой, – вскричал щеголь надзирательнице, – ради бога оставьте свои выговоры; я в отчаянии, что сделался причиною оных. Но, сударыня, – продолжал он, оборотясь к девушке, – если ваша застенчивость происходит оттого, что я вам противен, то прикажите мне отсюда выйти». – «Я не говорю вам этого, сударь, – отвечала робкая красавица: – будьте спокойны здесь и дозвоьте только выбрать мне для себя несколько уборов, после чего должна я тотчас уехать: матушка уже, я думаю, давно меня дожидается». – «Выбирайте сударыня», – сказал подлипало и после того продолжал хвалить ее красоту и целовать ее руки; а она, боясь, чтоб опять не назвали ее деревенскою, допускала его это делать и только иногда ему кланялась.

«Что стоит эта шляпка и косынка?» – спросила она у торговки. «Шестьдесят рублей, – отвечала французенка: – да они уже куплены сим господином, – говорила она, указывая на Скотонрава, – но если он позволит, то я их продам вам, а ему сделаю другие». – «Позволю ли я! – вскричал сей негодяй: – ах, я за счастье сочту, если она выберет то, что мне понравилось». Девушка ему поклонилась и хотела заплатить торговке деньги, но он вдруг остановил ее руку, сказав ей, что деньги уже заплачены.

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духа

«Удостоите, сударыня, – говорил он с восхищением, – это взять, я счастливым себя почту, если могу вам услужить такою малостью». – «Ах! кстати ли, сударь, – отвечала красавица, – принимать мне от вас подарки: матушка будет на меня гневаться, когда об этом узнает». – «Вы еще не оставили своих деревенских правил, – сказала честная ее предводительница: – ну, все ли должно знать матушке, что делает дочка: довольно и того, если я это знаю, и неужели вы захотите сделать неучтивство, отказав сему господину в его просьбе, не находя в том ничего дурного. Поживите, сударыня, поболее в большом свете, вы узнаете, что нет никакого худа принимать девице от мужчины подарки: разве вы не помните, как в бытность нашу в доме у графини Беспутовой при вас подарил молодой человек дочь ее прекрасным склаважем; неужли вы позабыли, что тут же другой молодой человек проигрывал ей нарочно свои деньги, а это ведь те же подарки. Возьмите, сударыня, возьмите эту шляпку и косынку, а деньги свои поберегите для других веселостей: вы знаете, что вам очень нелегко выпросить у своей матушки и пятнадцать рублей. Если же вы скажете об этом вашей матушке, то она, верно, не зная правил большого света, вас забранит и заставит жить и думать так, как ей угодно, то есть почти не говорить с мужчинами, сидеть, потупя глаза в землю, и бояться сказать лишнего слова, чем вы сделаетесь смешны во всем здешнем городе, и на вас все благородные девицы будут указывать пальцами». После такого прекрасного нравоучения девица приняла подарки и накупила еще других уборов, за которые щеголь заплатил свои деньги, и за все это, прощаясь, поцеловал у красавицы ручку.

«Прощайте, сударыня, – сказал он, – я желаю вам скорее узнать большой свет». – «О! сударь, – перехватила речь его ее надзирательница, – девица имеет все дарования, чтоб его украшать собою: она поет, как ангел, и прелестно танцует». – «Ах! этому я верю, – вскричал Скотонрав: – голос, выходящий из ее прекрасной груди и прелестных уст, может ли не трогать сердце, а с такою прелестною талиею и с такими бесподобными ножками можно ли худо танцевать? О, сударыня, да мы сразимся с вами в этом искусстве! Меня ничему столь прилежно не учили, как танцевать: один танцмейстер за учение мое столько же брал от моей матушки денег, сколько все учителя вместе. После того я ездил в Париж, где и довершил сие искусство, хотя и в других полезных молодому человеку знаниях я не был ленив, ибо я могу похвалиться, что матушка моя не жалела ничего, чтобы сделать меня совершенным... Певец Брелляр (Braillard) обработал мою грудь; фехтмейстер и стрелец фанфарон (Fanfaron) обработал мои руки; а славный французский танцмейстер любезный мой Бук (Bouc) обработал мои ноги и сделал меня совершенным человеком. Я постараюсь доказать вам это при первом случае, когда вас увижу, если только удостоите сказать мне те счастливые места, которые украшаете вы своим присутствием». – «Я, сударь, в будущем маскараде надеюсь быть с моею матушкою», – отвечала скромница, из вида которой примечал уже я, что она ухватками сего господчика и наставлением своей французской надзирательницы начала спотыкаться на пути добродетели. «Мы нередко будем и сюда ездить для покупки уборов», – сказала ее учительница.

После сего они уехали, и я сожалел о неосторожности сей девушки, бранил ее мать, что поверила воспитание своей дочери такой плутовке, и проклинал сию бродяжку французенку, которая, недовольна тем, что нашла себе хлеб в честном доме, в благодарность вздумала развращать невинную девушку, в чем способствовала им и содержательница лавки, обещав Скотоправу, что она в своей лавке дозволит производить все старания для погубления добродетели сей девушки, которая, как кажется, очень скоро развратится, навидевшись примеров в большом свете.

Едва вышли все из лавки, как вошел к торговке ее брат. Они сели в карету, а я поместился тут же напротив их: ты знаешь, любезный Маликульмульк, что духу немного надобно места.

«Надобно тебя предуведомить о здешних жителях, – говорила французенка своему брату, – и сказать тебе, до какой степени можем мы их обманывать и пользоваться их легковерием. Американцы, в первые времена прибытия к ним европейцев, не столько их уважали, сколько здесь уважают французов: те победили американцев оружием, а мы побеждаем здешних жителей хитростию; те выманивали у них множество золота за колокольчики, погремушки и бисер, а мы не менее здесь достаем золота за такие вещи, которые нимало не важнее и не дороже погремушек и медных колокольчиков, с тою еще выгодою, что колокольчики можно употреблять несколько десятков лет, а наша и самая прочная безделка не станет на три месяца. Однако ж со всем тем здешние жители почитают должностию разоряться, чтоб только иметь честь отдавать нам свои деньги. Правда, что оттого здесь час от часу становятся дороже деньги и все необходимые для содержания вещи; одна наша лавка может

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами
разорить в год до ста тысяч крестьян, но эти сто тысяч хлебопашцев здесь меньше уважаются, нежели один француз, торгующий шляпами, помадоем и стальными пуговицами; почему наши одноземцы, узнав такое счастливое к ним уважение не замедлили толпами приезжать сюда (хотя многим из них так же, как и тебе, любезный брат, выехать было нечем), чтобы здесь наградить свою бедность и жить пышно на счет здешних добродушных жителей.

Считается три рода главных упражнений, которыми мы здесь разоряем и приготавливаем к разорению ежегодно по несколько тысяч человек, а именно: торговля модными товарами, рукоделья и учительство.

Что касается до торговли, то ты мог уже понять из моих повествований, сколь она для нас выгодна. Наши лавки могут назваться храмами вкуса и любви, ибо в них покупают у нас модные товары и делают тайные свидания волокит и молодых девушек, из коих иные очень строго содержатся дома, и для того под видом закупок уборов приезжают они к нам, и мы часто вводим их к себе в комнаты, где они находят своих любовников, кои им более всех уборов нравятся: с обеих сторон платят нам щедро и, сверх того, покупают у нас дорогою ценою товары, потому что почитают за стыд торговаться в тех лавках, в которых они своими резвостями не одно канале изломали.

Из всех рукоделиев важнейшим почитается искусство честных волосочёсов; с сим званием нередко бывает соединена должность Меркурия и ростовщика. Они, отправляя таким образом все сии звания вдруг, получают множество дохода, не тратя ни копейки своих денег. Нередко волосочёсы, нажившись от гребенки, от волокит и от мотов, становятся богатыми купцами, потом вступают в гражданские звания и достают себе чины, и тот, кто у нас был в опасности умножить галерную беседу и повелевать одним деревянным веслом, управляет здесь несколькими числом людей, которых одна только бедность удерживает в уничижительном состоянии.

Теперь надобно растолковать тебе об учительском звании, которое для тебя всех важнее, потому что ты скоро будешь его на себе носить.

Еще не прошло одного века, как жители здешние сами воспитывали своих детей и толковали им только о том, чтоб были они честными людьми, храбрыми на войне и твердыми в переменах счастья; к таким наставлениям нередко способствовали примеры самих отцов, которые всегда старались содержать при себе детей своих. Тогда жители здешние хотя не были красноречивы, но говорили такие истины, которые не было нужно поддерживать красноречием. Ныне же, по прошествии варварских времен, вздумали, что тот не может быть хорошим гражданином, кто не умеет танцевать, прыгать, вертеться, говорить по-французски и болтать целый день, не затворяя рта в беседах. К такому воспитанию необходимо понадобились французы. Ныне не жалеют ничего, чтобы сделать детей своих приятными в большом свете, и для того учат их хорошо кланяться, держать себя в лучшем положении и не говорить здешним языком, но иностранным. Им не говорят ни слова о том, что есть добродетель и полезна ли она. Отцы советуют всегда иметь в наличности деньги, которые могут заменить достоинства и поправлять недостатки; а учителя научают променивать сии деньги на кафтаны и на щегольство, которое здесь заменяет иногда богатство.

Итак, братец! когда вступишь ты в учителя, то берегись перед детьми раскрывать умных книг, ибо они за то станут тебя ненавидеть и наговаривать своим родителям, которые назовут тебя педантом и сгонят со двора. Тверди своим ученикам только то, как должно жить в большом свете, и поставь их на такой ноге, чтобы они могли быть из числа усерднейших французских данников; а когда они вырастут, старайся потакать их порокам: они тебя тем более полюбят и удвоят твое жалованье. Не забывай им твердить, что одни только французы могут назваться совершенными, людьми и что они до тех пор будут невежами, пока не сделаются совершенными им подражателями. Читай перед ними чаще философию французских Эпикуров и Спинозов: ученики твои начнут сперва помаленьку бранить веру и добродетель будут называть предрассудением, а батюшки и матушки станут тем забавляться и рассказывать всем, что дети их превеликие забавники, и чем больше дети будут насмехаться над тем, что в старину называлось свято, чем более будут они делать шалостей над старыми людьми, тем более ты в доме будешь правиться, и тем больше тебя станут выхвалять во многих домах, и ты будешь, наконец, отпущен с награждением и с деньгами, которые помогут тебе завести лавку, куда после будет ездить по знакомству твои ученики и платить тебе вдвое дороже против других.

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духа

В коротких словах вот вся твоя должность: маленьких приучай к разным шалостям, а когда вырастут, помогай им мотать и делать разные денежные переводы; набери с них векселей чрез третьи руки; и если только будет можно, разори их. Поверь, что француз никакими поступками не потеряет здесь уважения, и самое то, чем у нас мог бы ты заслужить галеры, здесь доставит только тебе имя остряка. Старайся более всего, для сокращения проворных твоих выдумок, всегда ссорить детей с родителями, чтобы они никогда не могли им быть откровенны; сделай их неприятелями друг другу и будь обеих сторон поверенным; разорь одну сторону другою, и с обеих собирай деньги: вот правило, по которому поступают многие честные наши одноземцы, которые, оставя твое ремесло, выезжают сюда, чтоб быть здесь учителями.

Правда, от такого воспитания родители своими детьми веселятся только в их младенчестве и стыдятся их, когда они войдут в совершенные лета; правда также и то, что от сего нового воспитания мало-помалу искореняются здесь честные люди старого века, которых называют ныне невежами, а на место их вступают люди большого света, которые делаются столь же худыми воинами, сколь дурными гражданами, и которых все совершенство состоит только в том, что на них кафтаны хорошего покроя. Со всем тем родители об этом очень мало заботятся и продолжают воспитывать детей по новому образу, который нашим землякам доставляет много пользы, ибо они молодых людей здешней земли наперед приготавливают к роскошам и к мотовству, а потом сами пользуются их пороками и наживаются от их слабостей. Итак, можно утвердительно сказать, что они сих детей воспитывают не для отечества, но собственно для себя. Вот, любезный брат, все правила, которые нужно было тебе узнать: умеи ими пользоваться; опыты окажут тебе достальное».

При сих словах карета остановилась, они вышли у ворот довольно богатого дома, и я также последовал за ними. Француз был принят очень ласково и с довольным уважением: ему поручены были на воспитание двое молодых людей, не испорченных еще новым воспитанием, но должно надеяться, что со временем успеет он сделать их подражателями и данниками французов.

Письмо XLIII

От сильфа Световида к волшебнику Маликульмульку
О виденных им в саду двух философах, ра которыми он последовал в трактир и какие там слышал их разговоры

Недавно прохаживался я в публичном саду, желая посмотреть на множество машинов, летающих на парусах, которых приносит туда хорошая погода и которые главною своею должностию поставляют шесть часов в сутки бегать по всем аллеям, чтобы показать свое модное платье; кланяться многим, кто им навстречу попадетсся, и осмеивать всех, кто мимо их проходит.

«Вот, – думал я сам в себе, – важное упражнение тварей, которых называют умными! Несчастлив тот город, который содержит в себе много таких тунеядцев». В ту самую минуту взглянув на сторону, увидел я двух человек, скромно прохаживающихся в отдаленной аллее. «Вот люди, – подумал я, – которые, как кажется, пришли сюда только для того, чтоб пользоваться хорошим временем и употребить его для рассуждения. Конечно, это философы: поспешу узнать мысли сих счастливых людей, которые умеют пользоваться хорошей погодою, не тратя времени в пустых беганиях по аллеям, но употребляют его для умного рассуждения». В минуту сделался я невидимым и подошел к ним.

И подлинно, это были такие люди, которых многие почитали философами. Они прохаживались, не говоря ни одного слова, с важным видом, и только что пожимали плечами и возводили глаза кверху... «Ты размышляешь?» – сказал один из сих философов. – «Да, – отвечивал другой: – увы! я размышляю о всех бедствиях, удручающих несчастных человеков, и действительно вижу, что человеческая участь великого сожаления достойна!.. Где ты сегодня обедаешь?» – «Это правда, – говорил первый, – что люди со стороны несчастной своей судьбы очень жалки!.. Где ты будешь обедать?» – «Я никуда не давал слова; не хочешь ли со мною вместе итти обедать в трактир?» – «С охотою». В ту же минуту они пошли из саду, и я последовал за ними.

Вошед в трактир, оба они непрестанно твердили: «Ах! боже мой! сколь мало важна человеческая жизнь!.. Что у тебя есть к обеду?» – спрашивали они у трактирщика. «Часть самой жирной телятины, – отвечивал он им, – спаржа, котлеты, сосиски, соус с голубями, сладкий пирог и еще если что будет угодно». – «Очень хорошо, –

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами говорили два философа: – приготовь еще нам хорошей рыбы и дай побольше устриц... – Ах! боже мой! – повторяли они: – как жалки люди! вся жизнь их преисполнена величайшими бедствиями. Пойдем, сядем за стол. – Хозяин! дай нам две бутылки хорошего шампанского и бургонского вина... Подлинно, маловажна человеческая жизнь!»

После сего сели они оба за стол и начали есть с добрым аппетитом, продолжая непрестанно оплакивать человеческую судьбину и почасту спрашивая друг друга: «Не хочешь ли выпить вина, любезный товарищ?» – «С великою охотою, любезный друг!» – «Ваше здоровье». – «Ваше здоровье». – «Знаешь ли ты, что я вчерась умер было от желудка». – «А я третьего дня в кофейном доме пил очень много ликеру и оттого во всю ночь был в превеликом жару...» – «Ах! как маловажна человеческая жизнь!» – «Какое это прекрасное блюдо! покушай, любезный друг!» – «А! да и пирог чрезвычайно хорош: право, я ем один против четверых». – «А я против шестерых». – «Читал ли ты недавно вышедшее сочинение Г...?» – «Читал, ах, как оно жалко! Этот сочинитель не похож на философа». – «Выпьем еще по рюмке». – «Все эти господа молодые сочинители никуда не годятся; надобно признаться, что здешняя ученость пришла бы в совершенный упадок, ежели бы не было нас с тобою и еще некоторых подобных нам, которых сочинения заслуживают уважение...» – «Гей! человек! принеси нам кофее и самых хороших сливок». – «Не жалко ли, что здесь важные места в государстве занимаются такими людьми, которые очень мало того достойны; здесь не умеют различать людей: одно только знатное рождение и богатство предпочитается; мы с тобою, любезный друг, все часы жизни нашей проводим в науках и знаем цену добродетели, а не имеем способов быть полезными нашему отечеству. А! кстати сказывал ли я тебе, что завтра станут слушать мое дело с тем негодяем... Я уже решился разорить его до основания и не уступить ему ни одной копейки... Ах! боже мой! сколь маловажна человеческая жизнь! Куда ж мы отсюда пойдем?» – «Не хочешь ли в театр, ты увидишь там новую актрису, с которою я третьего дня познакомился: она прекрасна! Но у меня с ума нейдет каким великим бедствиям подвержена человеческая жизнь. Ах, боже мой! Ах, боже мой! Ах, боже мой!» – «Хорошо, пойдем, а оттуда можем зайти к одной моей знакомой, у которой муж превеликий глупец... а она женщина прелюбезная... Но я всегда ужасаюсь, когда приходит мне на мысль несчастное повреждение человеческих нравов! Ах! как маловажна наша жизнь!..» После сего вышли они из трактира, но я уже за ними не пошел, видя, сколь много обманулся в моем мнении, почтя философами таких, которые нимало не заслуживали сего почтенного названия.

Письмо XLIV

От гнома Зора к волшебнику Маликульмульку

О слышанной им похвале некоторому государству. Описание сего государства стихами. Виденная им новая театральная пьеса. Подробное описание сей пьесы. Разговор его с одним из зрителей и рассуждение о театральных правилах
На сих днях, любезный Маликульмульк, услышал я от пролетевшего мимо меня сильфа, что в одном обширном государстве, привлечем на себя, в нынешнем веке, внимание всего света, будет представлена новая драма. Любопытство мое в ту же минуту принудило меня туда перелететь и радоваться, что и в сих холодных местах науки начинают обогреть своими лучами замерзлые сердца жителей.

Вот, скажешь ты, смешное желание, прыгая из государства в государство и из театра в театр, только для того, чтобы видеть новое театральное зрелище, которое, может быть, не стоит того, чтобы заняться им два часа, и переноситься несколько тысяч верст за тем, чтобы после бранить автора, дерзнувшему навести ужасную зевоту вдруг тысячам двум народу за наличные их деньги! Все это может стать, а особливо в такие времена, когда театр сделался не училищем нравов, по их развращением; однако выслушай мое оправдание: оно не в ином чем состоит, как в дошедшем до меня описании сего государства. Прочти его и после рассуждай, основательно ли было мое любопытство.

Что в древни времена был Рим,
Чем славились Египет, греки:
То возрожденным в наши веки
Мы в сей одной державе зрим.
Граждан уставы не жестоки,
У них лишь связаны пороки,
Неволи нет, хотя есть трон:
У них есть царь, но есть закон.
Минерва, правя в сих местах,

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духа

Рабов не ищет малодушных;
Но хочет лишь детей послушных,
Вперя к себе любовь, не страх.
Во гневе гром ее ужасен,
Но он врагам одним опасен.
Им мышцы льва ослаблены
И ломаются рога луны.
Она не гонит и наук,
Не дремлет, видя их, от скуки:
И можно ль гнать тому науки,
Кто девушкам парнасским друг?
Кто с резвой Талиею стрелы
В привычки мечет закрубелы,
Чтобы из нравов то извлечь,
Что слаб один закон пресечь.
В счастливой этой стороне
Суды воют с преступленьем,
Но со страстями и заблужденье
Одни писатели в войне.
Невинности для обороны,
И, злобе в страх, цветут законы;
Расправа есть и шалунам,
Театры глупых учат там.

В такой цветя счастливой доле,
В лучах Фемисы и наук
Не знают там, что быть в неволе,
Есть способы отбыть от сук:
И лъзя ль страдать в том обитанье,
Где есть порокам наказанье,
Где осмеянья ждет глупец,
А лавра воин и мудрец.

В сем-то государстве, как сказали мне, представлена будет новая драма. Можно ли мне было заключить о ней что-нибудь, кроме хорошего? И сделав сие заключение не лететь в ту ж минуту, чтоб насладиться новым произведением просвещенного вкуса и ума. Я туда летел с обыкновенного нам скоростию и видел с удовольствием под собою великолепные города, пространные поля, способные для хлебопашества, зеленеющиеся и обещающие богатую пажить луга; видел также леса, моря и озера, которые все являли изобилие сей пространной части земного шара. Пролетев все это, влетел я, наконец, в самый театр, где, принявши вид человека посредственного состояния, успел еще занять выгодное для себя место. Я бы мог и не платя денег, в моем собственном виде, напиток самое лучшее место; но мне хотелось послушать рассуждения знатоков о сем новом зрелище и узнать лучше вкус зрителей и успех автора.

Все места были в минуту заняты, и в амфитеатре сделалась такая теснота, от которой модные чёски и пуговицы, я думаю, очень много пострадали.

«Конечно, – спросил я у одного сидевшего подле меня, – господин автор очень любим здешним обществом, что такое множество собралось зрителей смотреть его сочинения?» – «Нет, – отвечал мне мой сосед, – мы еще совсем не знаем автора, но публика здешняя очень жалуется новости, и часто в зрелище, которое дают в первые раз, бывает столь много зрителей, что если б после заставили его играть круглый год сряду, то не собрали бы столько денег, сколько соберется во время первого представления. Многие зрелища бывают здесь такие, которые могут похвалиться только первым сбором, а для сей-то причины авторы всегда скрывают свое имя для первого раза, чтобы обрадовать оным публику тогда, когда они увидят, что их сочинения торжествуют и в последующие представления, что, однако ж, не всегда случается, и они часто принуждены бывают скромничать навсегда своими именами».

Лишь только успел он сие договорить, как вдруг началась музыка, потом вскоре подняли занавес, и мы увидели то, чего не ожидали.

Человек с сорок пели в саду. Потом два садовника поссорились и чуть не подрались за какую-то причину, которую, видно, автор почел важною, но она не стоит того, чтоб об ней упомянуть. Между прочим возвестили они, что их барин чрезвычайный охотник до музыки и что ждет к себе в гости какого-то музыканта, за которого

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами. Хочет выдать свою дочь. Немного погодя выходит одна из дочерей сего славного охотника музыки (он имел двух дочерей), и лишь только она показывается, то мужики, которые подчищали в саду деревья, просят ее, чтобы она потешила их и спела бы им песенку. Барышня, желая перед ними пощеголять своим голосом, поет на иностранном языке. Мужики восхищаются ее пением; а она, радуясь, что нашла людей, которым потрафила на вкус, зачинает перед своими холопами еще другую песню, и опять на другом иностранном языке. Мужики, которые, как кажется, и в своем языке не очень сильны, продолжают восхищаться ее песнями и просят ее еще перед ними попеть, а она, не жалея для таких важных слушателей своего горла, затягивает песню на своем природном языке, будучи вне себя от радости, что ее все огородники хвалят, и потом уходит зачем-то к своему батюшке.

Между обожателями ее голоса находится тут молодой дворянин, который в нее влюбился; и хотя он благородный человек и равен в богатстве с своею любовницею, но, не зная, как за нее посвататься и как войти в дом к ее отцу, ничего не вздумал лучше, как в своем господском платье и в щегольской прическе пристать к толпе деревенских растрепанных мужиков и басить, чтобы охрипнуть, подтягивая им песни, которыми их господин изволит забавляться; а в награду за это хотел увидеть хотя свою любовницу, которая, не зная его состояния, сама в него влюбилась, лишь только он перед нее показался. Вот довольно пылкая любовь и скорая решимость для молодой деревенской девушки, которая (как после будет видно) выходит за сего любовника прежде, нежели успеет узнать, как его зовут, не говоря уже о нраве. И таким образом, всякое лицо, поговоря на свою долю несколько глупостей и попев ни кстати, ни к ладу, оканчивают первое действие.

Во втором действии показывается сам сей славный любитель музыки, и как он ни смешон, ни жалок, говорит о музыке, не зная ее. Автор, как кажется, хотел, чтоб зрители смеялись над музыкой, но они ошибкою хохотали над автором. Будем, однако ж, продолжать наши примечания. Несколько спустя приезжает к нему из Италии певец, который до такой степени глуп, что позабыл свой природный язык и коверкает в нем слова, как немецкий сапожник; такое редкое в нем дарование очень нравится старику, и он спрашивает у сего полуитальянца по разговорам и получеловека по уму: не хочет ли он жениться на которой-нибудь из его дочерей? Тот получает время, чтобы подумать о сем выборе, и встречается с тем дворянином, который из любви к своей Дульцинее подпевал крестьянским бабам. Они делят между собою двух сестер, хотя последний не знает, понравится ли он своему нареченному тестю. Наконец в третьем действии заключается свадьба полуитальянца с старшею дочерью любителя музыки, как вдруг сказывают старику, чтоб он выдал и другую дочь за подпевалу у крестьянских баб, а дочка сама одобряет перед батюшкою своего жениха, которого она столько знает, что если бы он через три дни ей попался, то бы она совсем его не узнала. Жених хвалит перед старичком себя и свое знание в музыке, а тот, не простирая далее своих вопросов, обещает завтра их обвенчать. Сия пара столь была тому обрадована, что целомудренная невеста кричит во все горло, что когда она наживет себе с своим мужем пару детей (подлинно девушкино желание!), то приготовит им гудок и балалайку или что-то такое, во что уже я не вслушался. Сие желание так понравилось старику и другой его дочери с полуитальянцем, что и они тоже закричали, а напоследок сколько ни было тут крестьян и крестьянок, всякий из них захотел по паре детей и по гудку с балалайкою, и тем окончили оперу, оставивши все при таком прекрасном желании, которого никакая честная и скромная девушка не может, не краснеясь, произнести ниже перед своим любовником, а не только перед шестьюдесятью человеками народу. После сего закрыли занавес, и это было самое лучшее место изо всей оперы.

Вот, любезный Маликульмульк, содержание сей оперы. Я рассказал тебе его, не прибавя от себя ни одного слова; скажи, пожалуй, каково оно или, лучше, есть ли какое содержание в сей опере?

Я уже не говорю, какой имел предмет автор, не знающий театральных правил, вывести человек шестьдесят на театр, чтобы задушить болтанием их и криком честных зрителей, и что такое он хотел осмеять; ибо пороки у него торжествуют; старик остается при своей слабости и, может быть, будет крестьян своих отрывать от работ для песен до тех пор, пока сам с ними и с любезными своими дочками и зятьями не околеет с голоду; чтобы еще таки лучше было видеть на театре, хотя для отвращения, чтобы этого не сделалось и в самом деле; но, сверх сей погрешности, тут нет ни характеров, ни завязки, ни развязки, ни правильных действий, ни умного, ни смешного; а это все, кажется, не лишнее в шутовой опере. Но я и позабыл тебе писать продолжение моей повести.

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами. Лишь только закрыли занавес, как я, оборотись к моему соседу, спрашивал у него: неужели позволено обременять публику всем, что какой-нибудь парнасский невежа навредит изволил? «Театр, – говорил я ему, – есть училище нравов, зеркало страстей, суд заблуждений и игра разума, но здесь ничего этого не видно. Всякий из зрителей ничего не узнает нового, кроме того, что он заплатил деньги за то, чтобы зевать до слез три часа и против воли слушать бредни какого-то несчастного подлипалы муз. Это зеркало не страстей, но дарования авторского, который на Парнасе, кажется, не из самых пылких, ибо он не приметил и того, что к его сочинению не приделано ни конца, ни начала. Что ж касается до игры ума, то не в противность здешней учености, право, автору, кажется, нечем было поиграть; а если на театре здесь представляются одни только разговоры и поют одни песни, то лучше бы для слушателей было выслушать одним присестом все разговоры Лукьяновы и Аристинна с своим сыном и два или три тома песен вашего автора, который некогда по справедливости мог ими пощеголять».

«Ах! сударь, – сказал мне мой сосед: – все ваши слова справедливы; добрый вкус у всех просвещенных народов один, а глупое никакому рассудительному человеку не поправится; но театр здешний столь беден, что он должен представлять или переводные, или подобные сему сочинения. Правда, мы могли бы видеть более новых; но здесь выбор в сочинениях очень строг. Я знаю двух моих знакомых, которых сочинения года с три уже в театре; по нет надежды, чтобы они и еще три года спустя были представлены, хотя можно побожиться, что они лучше этой». – «Верю, – сказал я, – ибо это сочинение ни с каким уже нейдет в сравнение, и мне кажется, что человек, который выучился писать только склады и прочел сочинения два театральные, не написал бы такой вздорной драмы. Но для чего же здесь доступ так труден на театре?» – «Для того, – отвечал он, – что почитают благодеянием сыграть чье сочинение; впрочем, это расчет театра, и расчет такой, которого польза, может быть, приметна ему только одному».

«Чудный расчет, – говорил я, – когда наблюдают такую редкую осторожность в выборе; а дают глупости, которые и на святочных игрищах едва, ли могут быть терпимы». – «Но скажите мне, – спросил у меня мой сосед, – какую причину имеете вы нападать на здешний театр? Не из числа ли вы тех авторов, которые добиваются видеть сыгранными свои сочинения, и отдав их, питаются несколько лет одною надеждою, что их когда-нибудь прочтут?» – «Нет, – отвечал я, – но я еще хочу сочинять, и желал бы знать, какие здесь нужны к тому правила». – «Самые простые, – сказал он: – во-первых, смысла и остроты не надобно; правила театральные совсем не нужны; берегитесь пуще всего нападать на пороки, для того что комедия, написанная на какой-нибудь порок, почитается здесь личностию; берегитесь также вмещать острых шуток в ваше сочинение; ибо здесь говорить умно на театре почитается противным благопристойности, а надобно, чтоб ваши действующие лица говорили так просто и не остро, как говорят пьяные или сумасшедшие: словом, возьмите в пример нынешнюю оперу и напишите ей подражание, тогда можете надеяться, что ее когда-нибудь представят и вас театр включит в число своих авторов, а публика в число мучителей, наводящих ей зевоту». После сего он от меня отошел и оставил меня удивляться таким чудным правилам театра и желанию некоторых беспокойных голов, которые, ненавидя жить в спокойной неизвестности, собирают тысячи две народу, чтобы заставить их смеяться над своим дурачеством.

Письмо XLV

От сальфа Выспрепара к волшебнику Маликульмульку
О бытии его в столице Великого Могола, где, вошедши во дворец невидимкою, видел юного владетеля, который в тот день после смерти отца своего вступил на престол, и придворные, окружающие его, говорили ему льстивые приветствия. Наставления некоторого той земли мудреца, деланные сему государю
Недавно, почтенный Маликульмульк, пролетал я посверх столицы великого Могола. Сей город обширностию своею и великолепием обратил на себя мое внимание, которое тем более умножилось, когда приметил я подле одного огромного здания великое собрание народа. В ту ж минуту, спустившись в город, сделался я невидимым и пошел прямо в тот дом. Я узнал, что то был дворец, и, прошед до внутренних чертогов, увидел там молодого государя, окруженного своими вельможами, который по смерти своего отца в тот самый день взшел на престол. Я с великим любопытством желал видеть, что будет происходить при сем достопамятном случае и для того, подошед, стал подле самого юного владетеля. Не без удивления взирал я на льстивые приветствия, деланные сему государю от всех представших пред него для поздравления, или, лучше сказать, для глумного ласкательства. Я хочу уведомить тебя, почтенный Маликульмульк, о всем, что там в глазах моих

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами происходило.

Стихотворцы той земли подносили сему государю сделанные в похвалу его свои сочинения, в которых выводили род его от богов. Вельможи, повергаясь к ногам его, говорили: «Хотя мы любили покойного твоего родителя, но тебя любим и почитаем гораздо больше. К нему привержены мы были по нашей только должности; но к тебе прилепляемся всеми нашими сердцами. Он осыпал нас благодеяниями, но как ты одарен превосходнейшим пред ним разумом, то мы ожидаем от тебя более щедрости и за сию цену готовы пролить за тебя кровь нашу до последней капли, в каком бы то случае ни было: для побеждения ли врагов твоих, или для приведения в повиновение тех из твоих подданных, которые вздумали бы осуждать оказанные тобою нам милости».

«Высокомощный государь! – возопил один из них: – доставь мне честь держать стремя у ноги твоего блистательного величества, со ста тысячами рупиев, присоединенными к сему достоинству, и препоручи, из милости, в мое управление небольшую область, которая не более пятисот миль заключает в своей окружности». – «С охотою сие исполню, – сказал ему государь, – но когда ты будешь жить в той области, которая расстоянием отсюда четыреста миль, то кто тогда будет держать мое стремя?» – «Ваше пресветлое величество, – отвечивал придворный, – вот здесь предстоит пред тобою молодой мандарин второй степени, который почтет превеликою честью исполнять сию должность в мое отсутствие и быть при лице твоего августейшего величества, ежели только определишь ты ему ежегодно по две тысячи рупиев и дашь в его управление двенадцать кораблей, которые препоручит он своему помощнику, дабы самому всегда быть в готовности держать твое стремя».

«Ваше благоуханное величество! – вскричал другой: – понеже каждая из твоих потовых скважин подобна самочистейшей амбре, которая при сгорении своем испускает от себя приятнейшее благовоние, и понеже каждая исходящая из тебя капля твоего пота имеет ароматный запах, то для того всенижайше тебя прошу удостоить возложением на меня почтенной и увеселительной должности чистить твое белье и отирать грязь с твоего тела. Буде же соблаговолишь ты присоединить к сей приятнейшей должности чин главного начальника над всем твоим конным войском, то тем исполнишь желания твоего усерднейшего раба, который не питает в груди своей нималого корыстолюбия и который желает получить из твоего сокровища четыре или пять тысяч рупиев, единственно для того, чтоб быть в состоянии иметь самые тонкие и всегда чистые платки, которыми благоуханно тебе будет приказать мне стирать с твоего благоуханного тела пот и грязь, коих запах весьма приятен для всех окружающих твою величественную особу».

По сем третий, подступая, говорил: «О, божество, обитающее на земле! Ты вкушаешь по четыре раза в день единственно для того, дабы сим примером учинить для нас наши нужды сносными; удостой меня быть твоим хлебником, а вместе с оным повели, чтоб я имел честь представлять славу твоего победоносного величества у двора китайского императора». – «Но ты...» – сказал монарх. – «Правда, – перехватил мандарин, – что я не знаю языка китайского, а еще менее того мне; известно, какие дела твои могут быть с государем китайским; но ты будешь во мне иметь в Пекине человека надежного, который со всем усердием будет там представлять собою образ твоей священнейшей особы и будет точный твой язык. Когда ты скажешь да, тогда и я скажу да, когда ты скажешь нет! нет! и я скажу то же. Если же нужно бы было что-нибудь подписать, то я бы оное подписал, дабы имя твоего полномочного министра не было обесчещено. Тебе потребно только будет дать мне шестьсот рупиев, как такому человеку, который делать будет все, но ничего не будет значить. А как я имею хороший достаток, то и буду доволен одною только честью представлять твое лицо с четырьмя тысячами рупиев, присоединенными к сему достоинству, и с тремя тысячами для содержания моей важной особы; что составит, с небольшими издержками на проезд, на бумагу, на кисти и на чернила, около девяти тысяч рупиев».

«Я не то хотел сказать, – говорил император, – ты хочешь быть моим хлебником, а я никогда не думал, чтобы ты умел печь хлебы». – «Это правда, ваше сладкоедущее величество, что я печь хлебы не умею, да и никогда ни один главный хлебник из всех бывших при твоих небесных предках не знал даже, как за них и приняться; но я пред всеми ими имею то преимущество, что один из моих секретарей имеет сестру, у которой горничная девка племянница внучатного брата одного из наилучших хлебников в твоём государстве». На сие государь им отвечивал: «Не лучше ли бы было, чтоб конюх поддерживал стремя у моего седла, чтоб комнатный мой служитель имел смотрение за моим бельем и чтоб тот человек, который умеет печь столь

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами хорошие хлебы, был непосредственно моим хлебником?»

Все предстоящие вельможи единогласно возопили: «О, государь, в пять раз наипремудрейший! отврати твои пронизательные взоры от сих нелепых подробностей, которые умалят твою великую душу: неотменно нужно, чтоб в государстве твоём были чины посредственные и чтоб не тот сам держал твоё стремя, которому должно его держать, и чтоб твой хлеб проходил или, по крайней мере, почитался проходящим между рук семидесяти пяти чиновных, прежде нежели достигнет до божественных уст твоих; не помышляй более ни о чем, как владычествовать над нами, и оставь нам попечение о учреждении всех вещей в надлежащий порядок, без всякого корыстолюбия, чрез посредство восьмидесяти тысяч рупиев, которые ты будешь раздавать каждому из нас ежегодно, и...»

В самое сие время, когда вельможи разглагольствовали таким образом с государем и когда весь народ питался безумною утехой (ибо им возвещено было о возвращении златого века, которого никогда не бывало, и уверяли их, что самые жирные колибри, совсем уже изжаренные, будут к ним ниспадать с небес и что им не нужно будет ни о чем иметь никакого попечения), некто продирался сквозь толпу своего народа, близ царских чертогов предстоящего и кричал: «Злодеи! они развратят нашего юного государя!..» Народ почел его безумцем, вельможи кричали, что этот человек весьма опасен; а телохранители государевы усматривали ясно в сем дерзком поступке величайшее преступление, и вследствие сих трех основательнейших умозаключений дерзновенный был от всех угрожаем именем императора, который о том совсем ничего не знал. Насилие, делаемое многими против одного человека, произвело некоторое смятение и шум, который, наконец, достиг до чертогов государевых. «Что там такое? – говорил он: – кто там?» – «Это злодей... – ответствовали ему: – это возмутитель...» – «Кто б он таков ни был, – сказал государь, – велите его представить пред меня».

По нечаянности случился там один чиновный, который был несколько уважаем потому, что имел право выгонять из комнат собак и заставлять молчать придворных, находящихся в царской прихожей. Сей самый чиновный, также по особливому случаю, был покровителем тому дерзновенному человеку; он тотчас узнал его по голосу и, видя, какому бедствию тот себя подвергал, забыл всю должную скромность и не мог воздержаться, чтобы по чувствительности своей не оказать о нем своего сожаления... «Ах, несчастный!» – сказал он. – «Как! ты его знаешь?» – спросили у него. «Да, немного». – «Кто же он таков?» – При сем вопросе придверник, побледнев и затрепетав от страха, говорил сквозь зубы: «Он... это бедняк... это один... из тех... которые... пишут». – «Как его зовут?.. так это писатель?» – «Да... он... пишет книги».

Старший из эмиров, предстоящих пред государем, ему сказал: «Ваше непостижимое величество, жизнь всех людей в твоих руках: повели сего дерзновенного предать казни, это не первое уже его преступление. Он обманщик; он бродяга; он скитался по всей земле под предлогом искания истины: не унижай себя до того, чтоб войти с ним в разговоры; ты тем только себя обесчестишь, но его ничем не уличишь; он всегда тебя будет уверять, что говорит истину: он из всех людей, коим ты позволяешь наслаждаться жизнью, самый опаснейший; о нем сказывали, что он геогра... Нет! Геометр. При каждой подати, которую мы налагаем на народ твоим именем, он делает вычисление, соображая справедливость сего налога с возможностью оный платить. Еще не прошло трех лун от того времени, когда дерзал он предлагать, чтоб сделать уравнение в цене жизненных припасов с ценами разных безделок, служащих к нашему украшению, так, как бы должна была быть соразмерность между оными вещами».

«Я тебя понимаю, – сказал юный Могол: – однако ж хочу выслушать и сего человека. Подойди сюда, друг мой! Стражи! пропустите его... Какое твое преступление?» – «Истина, государь! – отвечивал смельчак: – все мудрецы, жившие в прежние веки, говорили, что чрезмерная похвала, а притом и без всяких еще заслуг, повреждает доброту природных склонностей: самый же опыт доказал мне справедливость сих изречений; ибо в самом деле те государи, кои наиболее в жизни их превозносимы были похвалами, не были от того лучшими». – «Изъясни мне сие», – сказал монарх. «С охотою, – отвечивал ему друг истины: – внемли, почтенный юноша!..» – «Ах! какое богохулие!» – возопил эмир и выхватил из ножен широкий меч; но император одним взором своим усмирив эмира и, повелев ему вложить меч в ножны, приказал оратору продолжать свою речь. Тогда он девять раз повергался к ногам его и три раза лобызал ногу второго пальца у левой ноги императорской в знак всеуниженнейшей благодарности, следуя обычаю той земли, потом, положив руку на свою чалму и не снимая ее, также следуя обычаю, говорил:

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духа

Ты был предназначен вышним провидением владычествовать над великим народом; но гнусная политика или, лучше сказать, подлое ласкательство сокрыло от тебя должности, присоединенные к сему достоинству. Между тем непредвидимый удар поспешил минутою твоего владычества; ты восходишь теперь на родительский престол, и тщеславное властолюбие, из коего ты доселе не делал никакого употребления, еще тебя не ослепило; ты учинился монархом, но не престал еще быть человеком; ты должен теперь принимать поздравления от всего рода человеческого.

Уверяют, что ты ищешь истину. Итак, видно, ты не хочешь умножать число тех высокомерных государей, которые во время царствования своего были только знаменитыми злодеями, а предпочтнее пред оным желаешь быть постановлен между малым числом государей добродетельных. Да возблагодарим за сие троекратно бога!

Внемли... Если государи не любят истины, то и сама истина, с своей стороны, не более к ним благосклонна она их не ненавидит, но страшится и не иначе сносит их присутствие, как целомудренная девица приемлет объятия своего похитителя.

Есть, однако ж, такие примеры, что она и коронованных глав имела своими любимцами; и буде слава могла бы быть наследственною, то я мог бы назвать тебе некоторых из твоих предков, к которым она оказывала немалое уважение и являлась пред их лицо во всей наготе своей; но заслуги предков никому не придают знаменитости, и ты не можешь требовать ее благосклонности, не учинившись делами своими того достойным.

Помни, что для монархов не всегда довольно бывает одного только того, чтоб любить истину и оною обладать; ибо троякая личина корыстолюбия, страха и ласкательства прикрывает все лица, повергающиеся у подножия престола, и величество твоего достоинства есть главнейшая препона, которую ты паче всего преодолевать должен в желаемом тобою искании истины.

Ты не обрящешь ее в устах тех льстецов, которые, без сомнения, находятся между окружающими тебя вельможами. Есть, конечно, между ими некоторые и такие, которые желали бы наставить тебя на путь истины, если бы только могли иметь дерзновение или не находили бы почти таковых же препятствий, какие предстоят тебе для ее познания. Глас, народа также не может быть надежнейшим способом для ее открытия. Итак, к кому же ты должен прибегнуть и сем случае?.. к мудрецам твоего государства!

Но ты должен знать, что мудрец не есть из числа тех угрюмых смертных, имеющих нечувствительное сердце и отвратительный вид, которые никогда ничего не хвалят, которые на все непрестанно произносят хулу и суровостию своею оскорбляют наши слабости, не делая нас лучшими.

Он не являет в себе также излишнего восторга и неумеренной привязанности к человеколюбию; ибо таковое неблагоразумное сострадание приводит оное в большое ослабление, и потому не сострадает равно как о преступнике, заслуживающем достойную казнь, так и о невинном, сильными притесняемом: таковой может назваться человеконенавистником, который думает, что вся чувствительность заключается в одном только его сердце, и он скоро бы учинился жертвою других людей, если бы успел поселить в них те чувства, которые сам к ним оказывает.

Еще менее уподобляется он тому строгому отшельнику, коего великое смирение питается желчию умерщвления страстей, коего разум, будучи возмущаем более страхом, нежели слабою надеждою, с свирепостию пожирает сие гнусное противоборствие; который не иначе, как с проклинанием исполняет должности, налагаемые на него его своенравием. Будучи надмен, а еще более того несчастен тем, что лишился всей чувствительности, осуждает он в другом употреблении тех чувств, которые сам в себе умертвил долговременным усилием. Он тем более превозносится своею строгою жизнью, чем мучительнее было для него преодолевать бунтующие в нем страсти; а потому всякого того почитает своим врагом, кто опорочивает сии его поступки. «Таковой может почестся гнусным обманщиком, ибо он единственно для того превозносит похвалами носимые им тягостные оковы, дабы обременить оными тех, коих блаженство причиняет ему несноснейшее мучение».

Мы все карлы: один только бог велик. Для сего-то самого он поместил добродетель не на бесплодной вершине неприступной горы; но на жертвеннике, соплетенном из роз, находящемся посреди прекраснейшей рощи, которая в тысячу раз прелестнее

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами, где мы полагаем быть жилищу Вистнову. При входе в оную лежит сто дорог! Премудрый строитель мира столь искусно расположил сие место, что путешественник, при первом туда вступлении, с утешением бывает влеком к концу своих желаний.

Неподалеку оттуда находится излучистая пещера, в которой обитает тень Совершенства. Путь, туда ведущий, познается по колючим терниям и по великому множеству Затруднений, непрестанно между собою сражающихся, желая получить жезлы и мечи, приготовляемые Самолюбием для увенчания Тщеславия.

Итак, ты должен различать истинного мудреца от хитрого обманщика, который, нося на себе обманчивую личину, старается притворною наружностью таковым казаться.

Истинный мудрец имеет вид веселый, взор неробкий и усмешку непринужденную. Его черты никогда не помрачаются неумеренною радостью, ни чрезвычайною печалию: его непритворная веселость означает спокойствие души его. Он не всегда бывает счастлив; однако ж никогда не терпит несчастья, для того что его не терзает никакое угрызение совести. Посреди самого бедствия сохраняет он совершенное равновесие, которого никакое благоденствие и никакие дары счастья поколебать в нем не могут.

Хотя мудрец, так же как и другие люди, бывает подвержен страстям, но он из них умеет делать лучшее употребление.

Ежели ты найдешь такого мудреца между многочисленными обитателями обширного твоего владения, прилепись к нему и привлечи его к себе своими милостями; удостои его твоей доверенности и позволь ему с собою беседовать; чти его, как отца, и люби, как друга! Когда же ты делами своими достигнешь до того, что и он тебя будет почитать своим другом, и когда, следуя мудрым его наставлениям, будешь ты уметь различать истинную похвалу от ласкательства: тогда можешь принимать от всех похвалы, без всякой опасности ими развратиться, ибо тогда ты будешь человеком, достойным властвовать над всеми земными обитателями.

Вот что я хотел тебе сказать. Я тебя не хвалил, но изъяснил, как должен ты поступать, дабы сделаться похвалы достойным».

Тогда государь, обратись к придворным, сказал: «Этот человек кажется мне не столь безумен и злобен, как вы о нем мне говорили; я беру его под мое покровительство и приказываю, чтоб никто не дерзал делать ему ни малейшего оскорбления и чтоб дали ему из моей казнохранительницы богатое платье и тысячу рупиев». Придворные, услыша сие, ворчали что-то тихонько сквозь зубы, а придверник, который устранился оттого, что защищал сего мудреца, опять принял на себя веселый вид.

После сего юный император сделался задумчив. Придворные, заключали из того, что в нем не было разума, а один из них, будучи смелее прочих, дерзнул спросить государя: что такое могло возмутить спокойствие его величества в день, посвященный всем веселостям, и когда он со всех сторон осыпал бесчисленными похвалами? – «Оттого-то я и смущаюсь, – отвечивал юный владетель, – что я еще не заслужил сих похвал; может быть, со временем я буду их достоин и тогда наслаждаться буду ими с большим удовольствием потому, что я люблю истину».

Старый эмир, который хотел отрубить голову мудрецу, чтоб заставить его молчать, вскричал: «Государь! я о заклад бьюсь, что этот негодный умствователь, который теперь говорил пред тобою дерзкую свою речь, смутил веселый дух твоего проницающего величества. Сии опасные люди приносят с собою унылость, и я думаю, что он поверг бы в задумчивость и самого Вистну, находящегося посреди семисот тридцати девяти прекрасных девиц, которые непрестанно щиплют ему бороду, в восемнадцатом небе. Да будет троекратно проклят этот возмутитель со всею своею истинною! Для разогнания мрачных паров, которые дерзнул он разлить на нерушимое твое спокойствие, в то время, когда ты не должен ничего знать, кроме забав и веселостей, всенижайший раб последнейшего из слонов твоих советует тебе удостоить своим присутствием одно забавнейшее зрелище, которое я приготовил в приемной твоей зале». – «Посмотрим, что это такое, – сказал император: – весело ли оно?» – «Очень забавно и чувствительно!» – отвечивал эмир.

Придворные все единогласно хвалили выдумку эмира и спрашивали, кто учреждал сие торжество. Им отвечивали, что учредитель оного был Како-Музи-Драма-Лармой-Ризу. При сем имени все вскричали: «А, а! мы его знаем,

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами. «Он человек преискусный!» – «И некорыстолюбивый». – «Он разорил с двадцать мандаринов, не обогатив себя». – «Это правда». – «Да как он мог в такое короткое время приготовить столь великолепное зрелище?» – «Которое притом и очень мало стоит». – «А сколько?» – «Двести тысяч рупиев». – «Как! только двести тысяч! это невероятно». – «Совсем невероятно!..» Говоря таким образом, пошли они все в залу смотреть зрелища; а я полетел в свой путь, проклиная подлость льстецов, которые, кажется, полагают в том свою славу, чтоб сердца монархов отвращать от добродетели и заграждают истине путь к престолу. Пожелай со мною, любезный Маликульмульк, чтоб сей молодой венценосец не подпал участи многих государей, которые слушают ласкательства для своего удовольствия, а наставления мудрецов для того, чтоб по вечерам засыпать от их нравоучения.

Письмо XLVI

От гнома Зора к волшебнику Маликульмульку

Разговор его с приятелем о некоторой вновь вышедшей книге. Ссора Припрыжкина с Ветродумом в комнатах у актрисы

Чем более живу я между людьми, тем более истребляется в моих мыслях то понятие, которое я имел о них, видя тебя, любезный Маликульмульк, и некоторых подобных тебе мудрецов, и тем больше кажется мне, будто я окружен бесчисленным множеством кукол, которых самая малая причина заставляет прыгать, кричать, плакать и смеяться. Знатная барыня заплачет, и в ту ж минуту все лица вокруг ее сморщатся; большой барин улыбнется, и вдруг собранные вокруг его машинки на красных каблучках зачинают хохотать во все горло. Никто не делает ничего по своей воле, но все как будто на пружинах, коими движут такие же машины, называемые – светская благопристойность, щекотливая честь, обряды и моды. Тебя, может быть, удивляет слово честь, против которой я вооружаюсь; но знай, что это не та честь, которую разумела древние, и я не знаю, почему сию пружину называют ныне мезью. Древняя поцеловала быть обходительну, а нынешняя подымает у всех своих машин вверх носы. Первая заставляла прощать обиды, а вторая за нечаянно выговоренное слово повелевает у своего мнимого неприятеля обрезать уши или убить его до смерти. Ты увидишь сам, справедливо ли мое на нее вооружение, когда я расскажу тебе поступок, к коему принудила сия пружина некоторых кукол, которые не делают ни одного движения без посторонних действующих ими причин, но со всем тем называют себя свободными.

Недавно зашел я к одному из моих знакомых, с коим можно проводить многие часы, не теряя времени. Я застал его зевающего над нововышедшею в свет книгою, и потому он не досадовал, что я прервал скучное для него чтение. «Конечно, эта книга достойна хулы, любезный друг! – сказал я ему, – когда ты над нею зеваешь». – «Нет, – отвечал он, – это одна из таких книг, которые и ценить стыдно: десять модных повес расхвалили мне ее как творение отличнейшего автора, и я, зная цену их похвал, взял себе эти трагедии только для того, чтобы их читать от бессонницы и теперь, желая поскорее заснуть, за них принял». – «Да почему ж эта книга столько нравится, – говорил я, – тем повесам, которые тебе ее расхвалили?»

«Потому, – отвечал мне мой знакомец, – что в ней есть новости, небывалые на нашем театре: например, в ней отпевают государя при его глазах тогда, когда он прогуливается спокойно между своими отпелывальщиками, и потом чего также нигде не видано, он, желая скрыться от своих неприятелей, не выбрал в городе ни одного дома, в котором мог бы жить тайно, и поселился на кладбище, где всегда множество бывает набожных прихожих, посещающих гробницы своих сродников: это так же умно сделано, как, если бы кто, желая спрятать поскритнее деньги, не выбрал ничего безопаснее, как положить их на большой улице. Тут есть и еще новость, что пронырливый и хитрый злодей, который во всех своих делах старается себя скрывать и казаться справедливым, схватывается браниться с восьмилетним ребенком, который вместо того, чтоб оробеть от его крика, делает перед ним скоропостижные нравоучительные вирши, а злодей отвечает ему также скоропостижными эпиграммами, выбранными из лучших французских писателей».

«Да скажи мне, – спрашивал я его, – разве нет у вас правил, которым следуя, можно бы было избавиться всех таких погрешностей?» – «У нас, – отвечал мне неугомонный критик, – авторы следуют общему правилу, и тот, кто желает сделать какое творение, должен только дать ему имя; достальное же все, как несносное рабство, выкинуто из употребления». – «Я ничего не пойму из этого».

«О! я вам растолкую яснее: например, автор, который имел терпение набрать из разных мест большую тетрадь стихов, думает, что он уже исполнил все правила,

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами, если поставил над сим собранием стихов в красной строке: Трагедия, и потом разделил на пять разных доль, которые назвал действиями. Таким образом нередко поступает и сей автор, не заботясь о том, к стати ли он назвал кучу стихов, разговоров и определений трагедиею и подлинно ли она кончится там, где он конец выставить изволил. Оттого-то и другие наши авторы наудачу разрезают свои стихи между действиями и нередко ошибкою ставят конец страницами тридцатью позже, нежели ему быть надобно. Случается иногда и то, что там, где должно поставить конец, ставят начало, и таким образом часто публика имеет удовольствие видеть, что драмы выставляют перед нею задом наперед; но я вам все это растолкую в моих примечаниях на здешний театр, где между прочим поместил я и то, что перерезать себе глотку за товарищество, без всякой нужды, не есть трагическое действие и что никто не станет плакать о том, если муж, запрятавшись в гробницу, станет страшать свою жену, как маленьких ребят страшат букою, и она, испугавшись многого мертвеца, упадет в обморок, между тем как наперсница ее, слыша тот же голос, с драгунскою твердостью перенесет нечаянную вылазку покойника из гробницы; и где также мне хочется доказать, что переводчик и сочинитель не есть одно; и что очень дурно переведенное сочинение назвать своим, в таком случае на всяком европейском языке могли бы быть сочинители Илиады, Энеиды и Телемака, ко вреду истинных их авторов». Рассерженный мой замечатель продолжал бы долее свои рассуждения, если б нечаянный шум, сделавшийся в ближней комнате, не привлек к себе нашего внимания.

Едва поразил он наш слух, как вбежала к нам в комнату молодая растрепанная женщина. «Государи мои! – кричала сия красавица, – сжальтесь над коим состоянием и воспрепятствуйте, чтоб не произошло в комнатах моих кровопролитии: двое бешеных господ дошли до такой крайности, что в состоянии перерезать друг другу горло; выведите их хотя на улицу, чтобы избавить только меня из такой негодной истории. Боже мой! – продолжала она, – слышите ли вы этот шум! Конечно, они уже дерутся; дай небо, чтобы они хотя волосной схваткой были довольны и чтобы расчет их на одних только зубах кончился». При сих словах мы немедленно туда бросились, а миролюбивая красавица, бегучи за нами, упрашивала нас, чтобы мы вывели их только из ее комнаты и оставили бы на волю их бешенству. Кого бы, ты думал, увидел я в ее комнате? г. Припрыжкина и старинного моего знакомца по кофейному дому Ветродума, который, ежели ты вспомнишь, обещал меня сводить к своей любезной тетушке для познания различных парижских модных дурачеств, которых ее туалет может назваться истинным барометром.

«Знаешь ли ты, – кричал Припрыжкин, не примечая нас, так же как и его товарищ, – знаешь ли ты, мой мелкий господчик, – что она принадлежит одному мне по всем денежным правам волокитного рыцарства? Знаешь ли ты, что я имею честь разоряться для этой богини и что целый город разумеет ее моею фавориткою, а ты смел войти в ее комнаты, в которых всякая доска, всякий стул и всякое зеркало стоят мне наличных денег или хороших векселей и в которые каждый мой приход опустошает в моих деревнях по крайней мере два или три крестьянских дома?»

«Тьфу, к чорту! – вскричал Ветродум, – ты насказал мне такие права, которые и всякого юрисконсульта приведут втупик; однако ж знай, мой господин! что у нас, военных людей, совсем другие законы: у нас позволительно с соперниками воевать и брать крепости приступом, деньгами и хитростию: и тот только остается правым, кто в силах чем завладеть; а как у меня теперь денег нет, для того что я еще под опекою, приступом же брать мне не хотелось тебя беспокоить, а притом боялся я, чтоб нашим сражением не наделать вреда здешней крепости, которая, я не хочу, чтоб что-нибудь претерпела, то для того и решился я засесть в ней закрытым образом и пользоваться ею до тех пор, пока мне вздумается, ожидая спокойно твоего отступления, или когда я получу деньги, тогда открыть свою батарею, которая, не думаю, чтоб уступила твоей в изобилии зарядов. Вот, приятель мой! какое мое право; я опять напоминаю тебе, что в войне право хитрого и право сильного равно уважаются, но когда уже дьявольским, видно, к тебе благоволением сделалась открыта засадная моя батарея, то знай, что я до последнего своего или твоего зуба не уступлю места сражения».

«Перестаньте, государи мои! – вскричал мой хозяин, – вы заводите здесь такой шум и крик, что перетревожили всех честных людей в доме». – «Это точная правда, – сказал я, – постыдитесь сделать из себя историю: воля ваша, мы не дадим вам шуметь, и если вы не перестанете из уважения к вашей красавице, то перестаньте хотя из уважения к полиции, которая, конечно, не преминет вмешаться в ваше дело и наделает вам много стыда, хлопот и убытков».

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духа
«Браво! – вскричал Припрыжкин, – bravo, приятель! ты уже ныне проповедуешь! Тыфу, к чорту! только надобно тебе быть архи-Цицероном, чтоб утишить мой гнев на этого повесу». – «Как! я повеса? – вскричал Ветродум: – Ах! ты закулисный бродяга! можешь ли ты сказать это благородному человеку, который за оскорбление своей чести может с тобою очень исправно разделаться шпагою, палкою и кулаками?»»

«О! мой любезный, – сказал Припрыжкин, – когда дело дойдет до драки, то я докажу тебе, что и я никакому негодяю спины не подставлю; увидим, кто из нас трус! Жаль только, что я теперь во фраке; а то, в сию же минуту, отмстил бы тебе за обещание моей особы и моего достоинства твоим к моей Кларине посещением; но завтра! завтра в шесть часов поутру, если ты честный человек, то приезжай в улицу Мотожилову и спроси собственный дом Припрыжкина, где найдешь меня и мою шпагу к твоим услугам; а поле сражения можешь ты выбрать, где тебе угодно. Увидим, голый мой господчик! как хорошо расплываешься ты за постоялое, без ведома хозяина... Ба! чорт меня возьми, – вскричал он, схватя его за руку, – вот мой перстень, который подарил я этой негодяйке; да вот и пряжки, которые выпросила она у меня своему брату! Прекрасно, господин голяк! прекрасно! продолжай жить на счет честных людей, если тебе удастся, а ты, моя красавица!.. Ба! вот хорошо! эта плутовка, для соблюдения доброго порядка, изволит лежать в обмороке. Ей! ей! не худо выдуманно! обманщица театральная! она знает мою слабость: вот то самое положение, которым в первый раз она меня пленила! Она была моим божеством! да и теперь посмотрите, посмотрите, как она прекрасна! право, надобно ей помочь. Ну, господни подлипала! прощай, завтра мы с тобою увидимся!»»

«Прощай, – сказал Ветродум, – завтра расквитаясь с тобою за перстень и за все, если мне удастся: после этого ты, может быть, будешь учтивее с людьми, которые, не нарушая правил благопристойности, живут на твой счет. На твои же деньги, – продолжал он с насмешкою, – запасусь я сегодня добрым булатом и завтра буду иметь честь попотчевать тебя твоим собственным добром... Но что я вижу! – вскричал он, проходя мимо меня: – старинный мой приятель! каким образом ты здесь? Не вкладчиком ли ты в здешнюю обитель?» – «Нет, – отвечал я, – я пришел вас разнять и укротить, ежели можно, вашу ссору». – «Браво! вот прямо духовное намерение! очень хорошо! прекрасно! Завтра мы с ним пощекочем немного друг друга шпагами; а послезавтра можешь ты быть у нас посредником в нашем перемирии». После сего он, как стрела, вылетел из комнаты и оставил меня удивляться введенному между людьми дурачеству не иначе заглаживать свое оскорбление, как резать другого или дать себя зарезать. Но возвратимся к нашей повести.

«Господа мирители! – сказал Припрыжкин: – я прошу вас со мною здесь отужинать: это последний стол, который даю я в этих комнатах моим приятелям: с нынешнего дня не будет здесь нога моя... Но посмотрите, как прелестна эта плутовка в обмороке! Однако ж я ее более не люблю: желал бы я только знать, сыщется ли хотя один смертный, который бы усерднее меня захотел для нее разорваться... Негодяйка! за все это она не щадит моего доброго имени в городе и хочет, чтоб меня называли содержателем, может быть, целой толпы ее обожателей, из коих я ни одного с роду в глаза не видывал. Посмотрим, как она без меня будет жить! Но мне хочется сделать ей последнюю нечаянность». После сего снял он с руки своей бриллиантовый перстень и надел на ее руку, а часы свои, вынув, заткнул ей за пояс. «Я добродушен, – сказал он, – и в самой размовке хочу с ней расстаться, как щедрый человек». Потом постарались мы подать ей помощь, и она не имела трудности ожить, не быв ни минуту мертвою.

«Ах! любезный Припрыжкин! – сказала она томным голосом, открывая глаза: – так я никогда уже более с тобою не увижусь! Ты ушел, о небо! нас могли с тобою поссорить, когда я перед тобою так невинна, как трехлетний младенец!» – и, выговори сие, закрыла платком свои глаза. «Вот, – подумал я сам в себе, – искусная актриса!»»

«Как! ты невинна, – сказал Припрыжкин, – или думаешь ты, моя голубка, что доказательства твоей измены несправедливы?» – «Верю, что ты мог ими ослепиться; но со всем тем совесть моя меня не укоряет: сердце мое укоряет меня только в том, что я не умела сохранить твоей к себе доверенности». – «Посмотрим, посмотрим, плутовка! – сказал он, взяв ее за руку, – чем ты можешь оправдаться! Ну, например, этот повеса Ветродум к какой стати запрягался за занавес твоей постели? какая невинная причина заставила тебя отдать ему мой перстень и пряжки? и которая из семи добродетелей побудила тебя держать его у себя тайно три дни, о чем я недавно проведал?»»

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами

«Неблагодарный! – сказала театральная Лукреция, – самое то, что ты считаешь знаком моей неверности, есть опыт жаркой моей к тебе любви: знай, что этот Ветродум хотел с тобою драться за то, что ты отбиваешь от него всех женщин, за коими он машет; я, приметя, что он в меня влюблен, захотела польстить ему надеждою, пока не пройдет в нем охота драться, и для того старалась продержать его у себя три дни, после коих он так много потерял своей бодрости, что и куренка бы не тронул; но я уверяю тебя, что он был здесь в таком же воздержании, как и монастыре; что же до пряжек и перстня касается, то, имея нужду в деньгах и не желая тебя беспокоить (ибо клянусь тебе, что люблю тебя не на корысти), продала я ему эти мелочи. Наконец недолго мне оправдаться и в последнем поступке: он зашел ко мне сегодня, желая убедить мою суровость, и лишь только сел, как ты пришел: признаюсь, что, зная твой ревнивый нрав, я не хотела, чтобы вы встретились, и для того спрятала его за занавес. Вот все мои преступления, будь теперь сам моим судьбою».

«Божусь, – вскричал Припрыжкин, – что эта плутовка в самом деле невинна: помиримся же, моя милая! Признаюсь, что я сам перед тобою виноват, как собака. То правда, что я ревнив; но это оттого, что люблю тебя очень много; однако ж уверяю тебя, что если ты меня простишь, то с сего времени моя ревность не нанесет тебе никакого беспокойства». После сего они помирились, и мы расстались с великим веселием, Припрыжкин просил меня на другой день к себе, чтоб я был посредником в их поединке; я дал ему слово, надеясь, что, может быть, удержу его от этого дурачества, и распрощался с ним, удивляясь потачливости его к своей театральной Лаисе, которая, как кажется, наблюдает твердо правила театра и ко всякому бывает равно чувствительна, кто с нею играет любовные роли.

Письмо XLVII

От ондина Бореида к волшебнику Маликульмульку
О езде на охоту Нептуновой жены Фетиды. О разбившемся корабле, с которого потонул один корыстолюбец с привязанным на поясу ларчиком, наполненным золотом; разговор его с Нептуном. Нептун показывает ему в зеркале жену его и детей
Ничего не может быть для меня страннее, любезный Маликульмульк, как жадность людей к собиранию бесчисленных богатств. Алчный к богатству человек столь много его желает, как будто бы никогда не должен он был умирать; и, глядя на сундуки свои, наполненные золотом, он столь боязлив и беспокоен, что всякую минуту опасается умереть и кажется приговоренным к смерти.

Не смешон ли покажется тебе человек, который для одной своей особы хочет заготовить семьсот тысяч кулей хлеба, зная, что он и тремястами может очень изобильно весь свой век пропитаться? Искатели богатств, зная хорошо арифметику, только сей одной задачи не умеют выложить; а эта ошибка часто заставляет их трудиться и вдаваться в опасности для тех лет, до которых они, конечно, не доживут. Очень забавно видеть, как такой человек ломает себе голову, чем ему чрез десять тысяч лет жить будет, и опасается, чтоб не умереть тогда с голоду; а такая странная и смешная забота столько его сокрушает, что он не доживает и восьмидесяти лет, полного человеческого века. Недавно видел я сам пример такой попечительности и думаю, что ты не наслукаешь его выслушать.

На сих днях Нептун остановился с своим двором у подошвы прекраснейшей морской мели и расположился прожить на ней несколько дней. Можно сказать, что мы жили очень весело! Не проходило ни одного дня без новой забавы: ловля китов и собирание кораллов и лучших раковин были украшением Нептунова двора. Фетида также вздумала с своими женщинами вмешаться в ловлю рыб, и хотя Нептун уговаривал их, что это может быть для них очень опасно, со всем тем они, не слушая его, захотели непременно начать с сими животными открытую войну и сделаться новыми амазонками, но чтоб не вдаваться в излишнюю опасность, то просили они Нептуна, чтобы он для утомления больших китов возмутил моря и произвел бурю; после чего удобнее надеялись овладеть своими неприятелями. Итак, Нептун, в угождение своей жене, всколебал все моря и подверг опасности несколько, может быть, миллионов бедных плователей, только для того, чтобы его жена приобрела имя искусного ловчего рыб, которых пленять ни ей, ни ему никакой не было надобности. Таким образом, любезный Маликульмульк, часто забава одной особы стоит жизни многим несчастным, и таким-то образом один из ваших героев прошел множество земель, разорил тысячу селений и истребил несколько миллионов как своих сограждан, так и мнимых неприятелей только для того, чтобы, проложив такую кровавую дорогу за несколько тысяч верст от своего отечества, поставить

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами
надпись: пришел, видел и победил.

Между тем как взволновавшееся море, ворочая со дна песок и тину, тревожило немых своих обитателей и они, бегая по разным странам, чтобы сыскать спокойствие, лишались сил и зрения от песку, который, смешавшись с нашей стихией, попадал им в глаза, фетида с женщинами, в покрытой со всех сторон раковине, выехала прогуливаться на охоту и сидела и вей так же спокойно, как будто бы была самая глубокая тишина во всем море, хотя бедные тритоны, правившие лошадьми, насилу могли держать возжи в руках и проклинали потихоньку охоту, бурю и богинины причуды, подвергающие опасности их зрение и здоровье. Множество придворных окружали богинину раковину, и очень весело было смотреть, как они улыбались, желая показаться веселыми, и шурились от песку, повсеминутно в глаза им попадающего; а богиня между тем подшучивала над их нежностью и уверяла, что ей очень спокойно сидеть и что она до тех пор не возвратится домой, пока не поймает хотя шести китов; но думаю, что придворные не слишком радовались такой ее храбрости.

Нептун и я не чувствовали сей жестокой непогоды потому, что его морскому величеству угодно было остаться дома и приказать мне быть с собою. С ужасом ожидал я следствий богининой забавы; ибо, признаться, хотя я и морской житель, но люблю людей, несмотря на их дурачества, и мне очень было жаль, если два или три кита, побежденные фетидою, будут стоить жизни, может быть, нескольких тысяч добродетельных человек, по необходимости вдавшихся морским водам, которые, конечно, того не ожидали, чтоб пустое желание Нептуновой супруги ввергло их в такие опасности. И подлинно, я не без причины боялся.

Едва прошло четверть часа, как на вершину горы, под которою мы были, налетел один корабль и разбился на части. Бедные плователи в полминуты разнесены были волнами. Один из них поспешнее всех потонул и упал к самой подошве горы. Я удивился, что он так тяжел; но удивление мое миновалось, как я увидел маленький сундучок, наполненный золотом, привязанный у этого корыстолюбца на поясу.

«Конечно, – сказал Нептун, – этот человек ожидал, что золото поддержит его на поверхности воды, и для того привязал он к себе этот ларчик, вместо пробочной рубашки; однако надобно подать ему помощь: он еще жив; поможем ему: я желаю, чтоб он, возвратясь в отечество, уговорил своих земляков не менять свою жизнь на блестящий этот металл и не надеяться на уважение мое к их богатству, которым могут они иногда откупаться от бед на сухом пути; но в море богачу может оно служить вместо камня, привязанного на шее, и скорее дотянуть его на морское дно». После сих слов не умедлил он, нашим старанием, возвратить жизнь и продолжить ее на несколько времени сему полезному члену света, который, как потом мы узнали, ездил по всем его концам для того, чтоб обманывать своих собратий.

«О! небо, – вскричал он, протирая свои глаза, – где я? где мои любезные денежки? (заметь, что мы отвязали от него ларчик) где душа моя?.. Ах! все погибло!.. Конечно, наказал меня господь за несметные грехи мои и лишил меня того, что после его, моего создателя, почитал я вторым божеством и для чего всякий день многогрешная душа моя преступала десятословие!» – «Мне кажется, что ты очень честного нрава, – сказал ему Нептун, – и без обиняков сказать, ты по справедливости претерпел кораблекрушение».

«В священном писании написано, – отвечал наш законник, – что без воли божией не погибнет и влас со главы человеческой, а как золото дороже наших окаянных волосов, то, конечно, ему угодно было лишить меня семисот тысяч наличными золотыми деньгами. Признаюсь, что я грешен перед ним; но такое наказание превосходит меру и самых тягчайших грехов». – «Не печалься о твоём сокровище, – сказал Нептун, – я могу тебе его возвратить; но скажи мне, неужели оно тебе и всем подобным тебе дороже жизни, что вы ею жертвуете для нескольких ящичков этого металла, который, может быть, по одному только предрассуждению предпочтен железу?»

«Ах, милостивый государь, – вскричал обрадованный сребролюбец, – надобно только заглянуть в большой свет, чтоб увидеть, сколь много обожаемо в нем золото: ум, дарование и доброе сердце – все оно собою заменяет; человек, одаренный сим металлом, от всех уважается в свете: его боятся бедные и ему поклоняются знатные... Но, милостивый государь! не морите меня долее, возвратите мне мое сокровище и скажите, в которую сторону должен я отправиться к моему отечеству...»

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духа
Ах! сколь обрадую я мою бедную жену и детей, которые, конечно, умрут с печали, когда узнают, что я претерпел кораблекрушение... Сколь обрадуюсь и я сам, когда, возвратись домой, облобызаю мои любезные! мои милые сундуки! в которых осталась замкнута и запечатана лучшая часть души моей: тогда-то прямо почувствую я райское удовольствие! и обещаюсь, на радостях, отслужить молебен всем святым, накормить человек пять нищих и угостить великолепным столом человек десять знатных»,

«Но неужели, – спрашивал у него Нептун, – считаешь ты более в том добродетели, чтоб изобильнее накормить знатных, нежели нищих?» – «Хотя это усердие, – отвечал он, – и не совсем спасительно для вечности, но для временного блаженства ничего нет сего полезнее: нищих молитвы ходатайствуют у царя небесного за грешных, подпадающих муке печной; а молитвы знатных ходатайствуют у царев земных за грешных, подпадающих своими грехами истязаниям временным. Итак, милостивый государь! обоим равно полезно, ибо и богатство есть дар божий, писано бо есть, что в деснице его спасение небесное, в шуйце же его богатство и честь: так осмелится ли кто из бранных человеков пренебрегать и шуйцею создателевой, изливающею щедроты свои на грешных человеков чрез вельмож, кои некоторым образом могут назваться шуйцею его, ибо они на земле управляют богатством и честью; поэтому, угощая их, отдаю я почтение шуйце, о которой, как я грешный, так и многие мои собратия более пекутся, нежели о деснице, и которой нередко мы, в лице вельмож, десятиною наших грешных приобретений воздаем жертву». – «Прекрасно! господин жертвоприноситец, – сказал ему Нептун, – ты думаешь, что, принеся такую жертву, ты уже совсем очистился в своей совести? Но видно, что судьба справедливее ваших вельмож: она наказала тебя за твои несправедливые приобретения и загладила потворство к тебе твоих покровителей: видишь ли ты, что она не уважает богатых плутов!»

«Ах, милостивый государь! – вскричал он: – я твердо помню, что богатый не внидет в царство небесное; но всякий человек есть червь перед господом, и никто кроме его не может назваться богатым; так я ли, имеющий не более двух миллионов рублей, могу себя таковым почесть? Хотя и неправдою приобрел я свое имение, каюсь в том перед богом, но неужели сравниюсь я в грехах с теми, которые неправдами и грабежами приобретали по тридцати миллионов! Увы! я еще сущий перед ними младенец: согрешил, может быть, и я, окаянный, разорил на свою долю душ с шестьсот; но может ли это итти в сравнение с тем, что иногда один искатель земных сокровищ разоряет многие тысячи людей для приобретения новых доходов, кои – о, нестерпимый грех! – он же еще и расточает и предается тем бескорыстному греху, который, по изустным сказаниям наших предков, есть самый тяжкий грех на свете; я же могу похвалиться, что сему греху непричастен и могу найти в том себе много товарищей как за счетами, так и за красным сукном, которые ни грехов, ни добродетелей без корысти не делают».

«Но какую корысть, – спросил у него Нептун, – получаешь ты от своих грехов, когда, по твоим же словам, ты не пользуешься своим золотом, держа его в заключении и быв при всем своем богатстве так же беден, как последний нищий?» – «Ах, милостивый государь! – вскричал скупяга, – хотя для себя, для моей жены и для детей не трачу я излишних денег, но это делаю я не из скупости, а для их же пользы, желая, чтоб имение мое хотя несколько утешило их после моей смерти: они, бедняжки, так много! так много меня любят, как я золото, которое почитаю, как второго самого себя, и хочу его вместо себя им оставить после смерти. Я уверен, что бедная моя жена и дети, конечно, мне будут благодарны, когда я умру, за все труды, понесенные мною не для себя, но для них, ибо я сам (сказал он, заплакав), конечно, должен буду со временем расстаться с моими денежками и оставить родных своих по себе наследниками». – «Посмотрим, – сказал Нептун, – так ли они благодарны, как ты думаешь». После сего ударил он своей острогою в стену и превратил ее в зеркало. «Смотри, – говорил он скупцу, – и утешайся, видя, для кого собрал ты свое сокровище и для кого подвергал столько раз жизнь свою опасности».

Едва скупец взглянул на зеркало, как увидел свою любезную супругу, сидящую очень дружески с молодым офицером, которому отдавала она мешок с золотыми деньгами. «О боже мой! – вскричал купец, – что я вижу? Так! это злодейка моя жена! не бояся ни бога, ни меня, отдает она потом и грехами нажитые мои деньги какому-то проклятому подлипале за то, что он осквернил мою честь... Неблагодарная! беззаконница! ты не щадишь своей непорочности, и, что всего законопреступнее, не щадишь и моих денег!.. Посмотрим, когда я приеду, посмотрим, чем-то ты можешь оправдаться? Ах! если б я слышал теперь твои проклятые разговоры!» Нептун ударил

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами, и в ту минуту услышали мы речи действующих лиц.

«Возьми, любезный Ветродум, – говорила благочестивая половина нашего гостя, – возьми сие в знак моей к тебе любви и будь уверен, что я все способы употреблю содержать тебя в лучшем состоянии, доколе не выдешь ты из-под опеки». – «Ах, сударыня!» – вскричал подлипала, – вся моя горячность мала в заплату за такую щедрость... Обожания достойная женщина! сколь я сожалею, что не могу вечно обладать тобою; но твой муж!.. увы!.. меня страшит предчувствие, что он скоро возвратится». – «Не опасайся, мой любезный! – говорила она, – муж мой такой жадный к богатству человек, что, конечно, доколе будет гоняться за ним по морям, доколе не потонет, и я уже надеюсь, что небо, давно услыша мои теплые молитвы, сослало его на дно морское за то мучение, которое терпела я от его ревности и скупости... Ты не поверишь, душа моя! какой это скряга! Он всякую полушку ценит дороже своей жены: сколько ни притворялась я, что его люблю, но за все мои ласки получала от него одно только увещание, что роскошь противна богу... Чтob лукавый его взял и с его нравоучением! Но, благодаря бога, вот уже три года, как он, наскуча обманывать в торговле одних своих земляков, вздумал обманывать весь свет и поехал на корабле, в намерении плутовством своим перещеголять самых безбожных купцов в свете. Он оставил здесь два миллиона наличных денег, и хотя они запечатаны, но желание женщины трудно удержать печатью, и я смело сорвала ее на другой же день его отъезда».

«Прекрасно! – вскричал Ветродум, – я радуюсь, что и в вашем состоянии начинает искореняться природный страх к мужьям и что женщины всего света, наконец, утверждают приговор, чтob жена была главою мужу, а не муж жене». – «Ах! – сказала добросовестная хозяйка, – дорого нам достается за это желание; что до моего чудака, то он твердо придерживается писания и ни на волос не хочет уступить мне власти; а особливо над сундуками; и если он узнает, что я без его ведома вздумала вступить в управление расходов, то, конечно, самым подлым образом со мною разделается; однако ж благодаря моей хитрости я уже давно выдумала способ его обмануть, который состоит в том, чтob взвести на воров свои поступки... Так, душа моя! и я немного перед ним солгу: ты этот вор! ты похититель моего сердца!.. но я не могу иначе тебя наказать, как моими пламенными поцелуями!»

«О безбожница! – вскричал скупец, смотря в бешенстве на их ласки, которые зеркало показывало без всякой утайки и которыми можно бы было раздражить и самого холоднокровнейшего мужа... О варварка! вот какая благодарность за все мое попечение, чтобы оставить тебя по себе богатою вдовою!.. Веселись, веселись умножением моих наследников! Скоро приберусь я к тебе, и всякий сучок моих рогов на тебе вымещу... Почтенный ворожея! – сказал он, оборотись к Нептуну: – пожалуй, покажи мне поскорее мою кладовую: я хочу видеть, сколько эта беззаконница грешна передо мною; пусть за прикованные мне рога отвечает она перед богом; но за мое любезное золото я сам с нею управлюсь». В ту ж минуту, по его желанию, зеркало представило его кладовую, наполненную сундуками и мешками. Он оцепенел, взглянув на нее, а мы увидели новое зрелище.

Два молодые повесы с растрепанными волосами разламывали сундуки и кидали в окно, к третьему дню. «О небо! вскричал старик: – это мои исчадия! это мои дети! – вот как они мучат родителя своего! вот для кого собирал я свое богатство!» В минуту услышали мы их разговоры. «Поспешим, дорогой Разврат! опорожнить этот сундук, – говорил меньшой большему, – пока наша матушка занимается своим гостем; иначе очень будет худо, если нас здесь застанут: она не преминет и свои, и наши похищения – все батюшке взвести на нас». – «Тьфу, к чорту! – вскричал другой брат, – неужели ты думаешь, что батюшка наш проживет Аредовы веки; я так, право, думаю, что уже он давно отправился на тот свет, и матушка только для того нам говорит, что он еще жив, чтобы пользоваться его деньгами, которые она начинает делить пополам с нами, и если рассудить, то мы все правы, не выключая и нашей любезной матушки. Скажи, пожалуй, можно ли кому-нибудь поступать суровее с своими домашними, как поступает наш батюшка? Видал ли кто, чтob жене своей не давать ни полушки? не стало ли это подвергать честь ее опасности? Но что и еще страннее, видал ли кто, чтоб, детей записав в службу, не давать им денег на порядочное содержание и для приобретения покровителей и друзей? Не дивно, что до его отъезда не получали мы ни малого повышения в чипах; а без него вся наша служба приняла иной вид: ваши столы и подарки поставили нас в список ревностных сынов отечества, и я ручаюсь, что если он еще помедлит несколько лет своим возвращением, то застанет нас в таких чинах, которые принесут честь всему нашему поколению, и он сам будет иметь удовольствие найти в своих сынках покровителей всем своим тяжбам, откупам и подрядам, которых у него всегда великое множество;

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами, а между тем, может быть, он и подлинно, волею или неволею, расстался с здешним светом; итак, поспешим выпередить матушку в очищении сундуков, чтоб после при разделе не остаться нам в накладе».

«О! я не думаю этого, – отвечал старший брат, – чтоб кто-нибудь из нас был в накладе, выключая только нашу сестру, которая одна не вмешивается в наши издержки и живет скромнее всех в нашей семье; а все это оттого, что воспитана вместе с старухами в невежестве. Бедная девушка! она страшится вечных мук за всякое излишне выговоренное слово и живет в своей комнате, как монахиня. Пусть ее скромничает! она когда-нибудь раскается в своем воздержании». – «О! окайнные, – вскричал чадолюбивый отец, – они же еще и смеются над моею бедною дочерью, которая, как видно, одна только достойна назваться моим отродьем.. Покажите, господин ворожея! покажите мне ее, чтоб я мог хотя на минуту ею полюбоваться и потом, в награждение за ее невинность, возвратясь домой, вырвать из рук беззаконников божий дар и ее одну сделать владельницею всего моего имени».

В ту самую минуту увидели мы комнату, в которой сидела его дочь. «Так! – вскричал старик, – вот истинное отродье ее бабки, а моей покойницы матери!.. Я познаю ее добродетель по сей лампаде, горящей в углу пред образами!» – И подлинно, дочь его с скромным видом сидела за толстою книгою, которую почитав несколько, выслала она всех женщин из комнаты, под видом, что хочет спать, и лишь только женщины от нее вышли и она заперлась, как влез к ней в окошко тот же самый Ветродум, который недавно был у ее матери. «Что это! – вскричал скупец, – зачем этот повеса пришел к моему любезному дитяти? Не ограбить ли он ее хочет?»

Но Ветродум скоро доказал, что он из числа тех воров, которые грабят девушек с их позволения. «Ах! любезный Ветродум! – сказала скромная девушка, – к чему ты меня принуждаешь? Я не в силах покуситься на твои соблазнительные убеждения: бабушка моя всякий день мне говаривала, указывая на эти образа, что они увидят, если я хотя мало что сделаю дурное, а ты хочешь так меня остыдить». – «Ах, жестокая, – вскричал Ветродум: – так я вижу, что ты не веришь никаким уверениям о моей любви!.. Постой же! я в минуту тебе докажу, сколь я тобою страстен!» Сказав сие, выхватил он ножик и хотел зарезаться. «Ах! – вскричала невинница: – ах, Ветродум! ты хочешь меня и себя погубить.. Постой!.. Дай хотя мне загасить лампаду, чтоб не сбылись бабушкины слова». После сего она встала и, подошед со скромным видом, загасила лампаду, и в комнате вдруг так стало темно, что мы ни зги рассмотреть не могли.

«Ну, мой друг! – сказал Нептун – еще ли ты думаешь, что твое богатство приносит тебе хорошие плоды?» – «Ах! милостивый государь! – вскричал скупец: – пустите, пустите меня вырвать его из недостойных их рук.. Поставьте меня поскорее туда; я в минуту отберу от них все мои денежки и убегу с ними в пустыню; там выкопаю две ямы и в одной закопаю мое сокровище, а в другой подле закопаюсь сам».

Письмо XLVIII

Эмпедоклу от волшебника Маликульмулька

Рассуждения о многих пороках людей нынешнего развращенного света, и как нужно предостерегать молодых неиспытанных людей, чтобы не попались они в расставляемые им ухищренные сети

Из всех доказательств, предлагаемых древними мудрецами, ни одного нет яснее и правдоподобнее того, которое предложил один ученый муж, что большая часть людей злобны и развращенны.

Развратность нынешнего века людей, любезный Эмпедокл, столь приметна, что она разве только быть может неизвестна в пустынях или в самых отдаленнейших скитах; но человек, живущий в свете, против воли своей познает их пороки. И самые те, которые, будучи удалены от их сообщества, не могут видеть их злобы, не престают ощущать ее действия, которые часто достигают и до самых уединеннейших кабинетов. Нравоучение, предлагаемое людям, не что иное есть, как поощрение к исполнению их должностей: какая была бы в нем нужда, ежели бы люди не были подвержены ежеминутному искушению нарушать правила чести и благопристойности? Вся история дел человеческих, от самого начала света, наполнена злодеяниями, изменами, похищениями, войнами и смертоубийствами.

Но нравоучительные правила должны состоять не в пышных и высокопарных выражениях, а чтоб в коротких словах изъяснена была самая истина. Люди часто впадают в пороки и заблуждения не оттого, чтоб не знали главнейших правил, по

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами, которым должны они располагать свои поступки, но оттого, что они их позабывают; а для сего-то и надлежало бы поставлять в число благодетельцев рода человеческого того, кто главнейшие правила добродетельных поступков предлагает в коротких выражениях, дабы оные глубже впечатлевались в памяти.

Находящиеся в середине течения своей жизни, сколь ни кажутся удивленными, что в такое позднее время предостерегают их от пороков; но, по претерпении многих несчастий и по изнурении своего здоровья, сами они, наконец, признаются, что сия предосторожность была для них весьма нужна и что они могли бы избавиться от всех бедствий, ежели бы заранее следовали благоразумным советам, им предлагаемым. В нынешнем веке, любезный Эмпедокл, много есть таких людей, которые впадают в превеликие несчастия или приходят в совершенное разорение, не зная или пренебрегая тем правилом, которое предложено мною в начале сего письма.

Не проходит почти ни одного дня, чтоб не встретился в нынешнем свете какой-нибудь молодой человек, гордящийся полученным им богатым наследством, который, будучи не испытан в светском обращении, гоняется за утехами и за чинами. Он вступает в свет, не быв никому подвластен и не познав еще ни обмана, ни злобы людей, с которыми имеет обхождение; он всех искренно любит, будучи уверен, что и ему тем же отвечают: каждое сделанное ему приветствие доставляет ему новое знакомство, в котором думает он найти совершенную дружбу.

Также от времени до времени являются многие красоты, которые, привыкши непрестанно слышать себе похвалы, думают, что сердце человеческое не может чувствовать никакой другой страсти, кроме любви. Они тотчас бывают окружены бесчисленным множеством обожателей, которым во всем верят, потому что они им говорят только то, что им приятно слушать. Если же кто посмотрит на них влюбленными глазами и произнесет несколько вздохов, тот уже покажется им пришедшим в совершенное отчаяние.

Итак, по справедливости, тот должен быть почтен полезнейшим наставником, кто сим новым Венерам, не имеющим нималого испытания в свете, часто будет твердить, что большая часть людей злобны и развращенны, и кто всегда им будет припоминать, что богатство и красота есть такая добыча, за которую ныне весь свет гоняется, и что между всеми теми, которые им льстят, может быть, нет ни одного, который бы не старался, их обманув и оболгав, у одних похитить честь, а у других все имение, которым обогатя себя, разделить его с другими подобными себе обманщиками.

Добродетель, представляемая здравому рассудку и основательному воображению, толикие имеет прелести, столь достойна уважения и подкрепляется столь сильными доводами, что каждый неиспытанный человек должен удивляться, как могут быть в свете бесчестные люди, и потому все те, коим неизвестно еще могущество страстей и корыстолюбия и кои никогда еще не испытали ни коварного обольщения, ни гнусных примеров поврежденных нравов, ни того, с какою легкостью люди обращаются от одного злодеяния к другому, ниже того, сколь много способствуют к их развращению соблазнительные разговоры, обыкновенно думают находить искренность во всех сердцах и откровенность на всех языках.

Совсем невозможно, чтоб люди, состарившиеся в свете не жаловались на несправедливость, вероломство и обманы, которые они от других претерпели; но молодые люди обыкновенно таковые их жалобы почитают пустыми роптаниями, старым людям свойственными; и для того, невзирая на все делаемые им наставления, смело впадают, с ослепленною доверенностию, в обманчивые сети нынешнего развращенного света, не предвидя опасностей, в которые сами себя ввергают.

Легковерие есть обыкновенная погрешность неиспытанных молодых людей; а потому и нужно бы было почаству им твердить, что вступать в свет без всякой осторожности, в надежде найти в нем справедливость и чистосердечие, есть равно как бы пускаться в море без карты и без компаса, в надежде иметь всегда благоприятный ветер и найти у всякого берега, куда ни пристанешь, спокойную пристань.

Если захотеть исчислять все различные причины, побуждающие людей к несправедливости и злодеяниям, то должно прежде рассмотреть все желания, которые ими обладают и кои всегда одерживают верх над добродетелью. Есть множество людей, у коих золото управляет всеми поступками и кои ничего не делают иначе, как в надежде приобрести более, каким бы то способом ни было. Таковых сребролюбцев должно почесть из всех порочных людей гнуснейшими; ибо они, невзирая на то, что ими все гнушаются, не престают обогащать себя разорением

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами других, похищая у них последнее имущество без всякого сожаления.

Другие, еще сих злобнее, проводят всю жизнь свою, делая вред другому; ибо они не могут спокойно взирать ни на чье благополучие и питают ненависть ко всем тем, кто их богаче и честнее.

Многие есть и такие, которые хотя не столько погружены в пороки, однако ж совсем неспособны иметь дружбу или какую-нибудь искренность с кем бы то ни было.

Итак, вот сколь великие простоят опасности, любезный Эмпедокл, от сообщения с людьми нынешнего века, от коих не иначе можно избавиться, как соблюдая величайшую осторожность; и тот, кто всегда будет помнить сказанное мною в начале сего письма спасительное правило, без сомнения, научится заранее не верить ни каким блистательным наружностям, которые мечтательным своим блеском ослепляют глаза молодым неиспытанным людям; и не допустит себя до того, чтоб, наконец, собственным своим опытом познать все бедствия, каковые случаются с теми, кои, не зная сего правила, без всякой осторожности впадают в сети, расставляемые пред ними человеческою хитростию и коварством.

Конец второй части

Примечания

Произведение Крылова печатается по современной орфографии с сохранением основных особенностей его языка.

Сохраняются написания тех слов, которые отличны от современного нам литературного языка, вроде: аглинский, банкрот, ужась, вить, сумневаться, обещавать, простолюдины и т. д. Однако для приближения текста Крылова к современному читателю редакция отказалась от воспроизведения архаических особенностей орфографии и графики XVIII века (слова: «мужина», «щасье», «есть ли» и т. п. пишутся по современной орфографии: «мужчина», «счастье», «если»).

Точно так же не сохраняются прописные буквы в начале таких слов, как вельможа, господин, государь и т. д. Передавая основной характер пунктуации прижизненных крыловских изданий, редакция в ряде случаев приближает ее к общепринятым современным нормам.

В тех случаях, когда орфография слов колеблется в пределах одного и того же текста или издания, написание их унифицируется, причем принимается то, которое соответствует более поздним и общепринятым нормам. Так, вместо случайного и непоследовательного чередования в тексте «Почты духов»: «парукмахер» и «парикмахер», «маскерад» и «маскарад», «карахтер» и «характер» – всюду принято написанные: «парикмахер», «маскарад», «характер», как подтверждающееся более поздними публикациями крыловских текстов.

«Почта духов»

«Почта духов» – журнал, издававшийся Крыловым в 1789 году под названием: «Почта духов, ежемесячное издание, или ученая, нравственная и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами». Об издании журнала в «Московских ведомостях» было помещено объявление, во многом совпадающее с предисловием, предпосланным первому выпуску журнала и извещавшее, что «принимается подписка на выходящее вновь с генваря месяца сего 1789 года ежемесячное издание под заглавием «Почта духов». В предисловии к журналу, «извещении о сем издании», указывалось, что «имена подписавшихся будут припечатываемы при каждой части, которые состоять будут из четырех месяцев». Однако фактически вышли только две части – причем первая заключала выпуски с января по апрель месяцы, а вторая – с мая по август.

«Почта духов» выходила как ежемесячное издание, – «ежемесячно издаваемое секретарем арабского волшебника Маликульмулька, – то есть самим Крыловым, – собрание писем духов». В течение восьми месяцев издания журнала вышло восемь выпусков с указанием на титульном листе каждого выпуска названия месяца («Почта духов» ежемесячное издание. Месяц генварь»). В январский выпуск входили письма с I по V, в февральский – с VI по XII, в мартовский – с XIII по XVIII, в апрельский – с XIX по XXIV, в майский – с XXV по XXXII, в июньский – с XXXIII по XXXVIII, в июльский – с XXXIX по XLIII, в августовский – с XLIV по XLVIII.

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами

В первом издании каждая часть включала четыре месяца, иди общей пагинации всей части. Во втором издании деление на месяцы, утратившее свое значение, отпало, и письма разделены на четыре части, в двух книгах.

Издание «Почты духов» осталось незавершенным. Третья часть, которая должна была заключать четыре последних месяца, так и не вышла. Прекращение «Почты духов» едва ли было связано с недостаточным количеством подписчиков (всего их, судя по спискам «подписавшихся особ», было 79 человек). Рахманинов, как человек состоятельный, не был заинтересован в коммерческой стороне дела. Вероятнее всего прекращение «Почты духов» связано было с усилением правительственных репрессий, последовавших в связи с событиями французской революции. После прекращения журнала Крылов передал право на переиздание «Почты духов» Рахманинову, как владельцу типографии, на средства которого выходил журнал. В 1802 г. «Почта духов» была переиздана почти без изменений.

П. Плетнев, редактировавший первое собрание сочинений И. А. Крылова (1847), включил в него лишь восемнадцать писем и вступление (письма гномов Зора, Буристана и Вестодава); XII письмо гнома Зора Плетнев не напечатал, повидимому, из цензурных соображений (в нем обличаются сановные казнокрады). Ограничившись лишь бытовой сатирой, Плетнев ни одним словом не оговорил, почему именно эти письма он приписывал Крылову. По указанию В. Каллаша, Плетнев «при выборе материала для своего издания из журналов... не руководился указаниями самого Крылова, иначе он не приписал бы Крылову стихотворений Карабанова... не отверг бы произведений, безусловно ему принадлежащих...» (Полн. собр. соч. И. А. Крылова, т. II, стр. 307). Необоснованность отбора писем у Плетнева становится особенно очевидной, если учесть, что письма, принадлежащие гному Бореиду и ничем не отличающиеся от писем Зора и Вестодава, также не включены им. Исключение всех остальных «философических писем» «Почты духов», сделанное Плетневым, впоследствии пытались истолковать как свидетельство того, что в «Почте духов» писал не один Крылов. Особенно распространено было мнение об участии в «Почте духов» Радищева и принадлежности ему ряда «философических писем» Дальновиды и Выспрепара. Источником этой точки зрения являлось упоминание в мемуарах Массона о Радищеве: «Il cultivoit les lettres et avoit déjà publié un ouvrage intitulé: «Potschta Doukow» (La Poste des esprits), la production périodique, la plus philosophique, et la plus piquante qu'on ait jamais osé publier en Russie» («Mémoires secrets sur la Russie», t. II, Paris (1800), p. 188). Это малодостоверное свидетельство Массона послужило основанием для мнения об участии в «Почте духов» Радищева и принадлежности ему «философических писем». Так, исходя из него, А. Н. Пыпин высказал предположение о принадлежности Радищеву «философических писем» «Почты духов», которые «больше заняты общими соображениями о недостатках общественной жизни, ее устройства и обычаев и рассуждениями о предметах нравственности». Указывая на то, что в этих письмах видна начитанность, которую «трудно предположить у тогдашнего двадцатилетнего Крылова», Пыпин приписывал их Радищеву (А. Пыпин, Крылов и Радищев, «Вестник Европы», 1868, май, стр. 420–436). Мнение Пыпина было поддержано А. И. Лященко и др. «Некоторые задушевные мысли Радищева, – писал А. И. Лященко, – несомненно, можно прочесть и в журнале Крылова» (А. Лященко, Биография И. А. Крылова, «Исторический вестник», 1894, ноябрь, стр. 499). Л. Н. Майков склонен приписать Радищеву письма Дальновиды и Выспрепара, «особливо 20-е, 22-е, 27-е, которые как по мысли, так и по своему тяжелому слогу напоминают «Путешествие из Петербурга в Москву» (Л. Майков, Историко-литературные очерки, СПб., 1895, стр. 36).

Однако эта точка зрения вызвала тогда же возражения такого серьезного исследователя Крылова (и друга Плетнева), как Я. К. Грот, указавшего на целый ряд данных, позволяющих считать несомненным принадлежность Крылову всей «Почты духов»: «Читая «Почту духов», нельзя не признать, что... все ее письма составляют одну картину, в которой трудно отличить участие разных авторов: везде одни и те же приемы, один язык, один взгляд на мир и общество, частое повторение тех же образов и мыслей, – словом, общая связь и внутреннее единство содержания. Трудно представить себе, чтоб такие сатирические письма могли быть писаны несколькими лицами, но если и предположить это, то, спрашивается, где же явные признаки, по которым можно было отделить письма Крылова от остальных? Если б он сам, при жизни, указал на свою долю труда, то, вероятно, издатели не упустили бы опереться на такое важное свидетельство. Но так как нет ни таких признаков, ни такого свидетельства, между тем известно, что Крылов признавал «Почту духов» за свой труд и во всяком случае был главным ее редактором, то приходится включить всю ее в состав его сочинений. К внутренним доказательствам единства ее

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами происхождения присоединяются еще следующие внешние, чрезвычайно важные... указания. В извещении об издании «Почты духов» Крылов называет себя секретарем ученого Маликульмулька, решившимся выдавать переписку этого волшебника с разными духами, и прибавляет, что, так как он сам не имеет достаточных средств для напечатания сих писем (ибо-де место секретаря у ученого человека очень неприбыльно), то и просит публику подписываться на этот сборник. Извиняясь потом в несвоевременном выходе первой книжки, мнимый секретарь Маликульмулька заявляет себя «издателем сих листов», издание же их называет «своим предприятием» и ссылается на свою «непривычность», или, другими словами, неопытность. В таком же точно смысле написано общее «Вступление» к письмам, в котором опять идет речь об одном секретаре, то есть одном авторе или, по крайней мере, редакторе писем «Почты духов» (Я. К. Грот, Труды, т. III, СПб., 1901, стр. 270). Кроме того, Грот указал на то, что Массон мог легко спутать фамилии Радищева и Рахманинова.

К точке зрения Я. К. Грота присоединился и редактор Полного собрания сочинений И. А. Крылова В. Каллаш, полностью включивший «Почту духов» в свое издание. «Эти соображения, – замечает В. Каллаш, приводя цитированные выше высказывания Грота, – и заставили нас перепечатать не отдельные письма, а весь журнал» (Полн. собр. соч. И. А. Крылова, т. II, стр. 313).

Наконец П. В. Щеголев, в дополнение к доводам Я. К. Грота, в статье «Из истории журнальной деятельности Радищева» указывал, что, «перечитывая теперь «Почту духов» – ряд писем, которыми обмениваются духи и которые рисуют картину общественных пороков, – трудно допустить, что они писаны разными авторами; если же допустить это, то все-таки надо представить себе дело так, что все авторы действовали по указке одного, выработавшего форму изложения и наблюдавшего за применением правил распределением тем. Но главным лицом в журнале был двадцатилетний Крылов. С трудом верится, что по его указанию действовал сорокалетний Радищев...» И. Е. Щеголев справедливо указал на то, что у Радищева своеобразный стиль (по словарю, эпитетам и синтаксису), легко отличимый, а «стиль «Почты духов» совсем не похож на радищевский» (П. Е. Щеголев, Исторические этюды, СПб., 1913, стр. 31). Это бесспорное указание П. Е. Щеголева пытался оспаривать З. Чучмарев, приводя несколько общих для Радищева и «философических писем» «Почты духов» образов и идиом (З. Чучмарев, Наукові записки науково-дослідчої катедри історії європейської культури, т. II, Укрґиз, 1927, стр. 95. – 123). Однако доводы Чучмарева не выдерживают серьезной критики, так как приводимые, им «общие» образы, исторические имела и идиомы общи, в сущности, всей литературе конца XVIII века.

В отличие от сатирических журналов XVIII века, включавших разнородный жанровый материал, «Почта духов» является единым целым. В ней нет разнообразия жанров и самостоятельных произведений (в, этом отношении она близка к «Адской почте» Ф. Эмина и к не осуществившемуся журналу Д. Фонвизина «Стародум, или друг честных людей»). В «Почте духов» переплетаются письма бытового, сатирического порядка и письма философско-нравоучительные, трактующие вопросы морали и социальные проблемы. Два плана – сатирически-бытовой и морально-философский – не распадаются, а взаимно дополняют друг друга. Единство подчеркивается как тем, что ряд сюжетных мотивов проходит через всю «Почту духов» (история петиметра Припрыжкина и его женитьбы, события в подземном царстве Плутона и т. д.), так и общностью идейной направленности. Общие положения философических и моральных писем как бы иллюстрируются сатирическими, бытовыми эпизодами а сценами.

Принадлежность Крылову «философических писем» «Почты духов» доказывается и близостью их к аналогичным высказываниям его в других сатирических произведениях. Так, все высказывания в письмах Дальновида о дворянстве, его непросвещенности и тунеядстве в дальнейшей повторены Крыловым в «Ночах», «Каибе», «Похвальном слове моему дедушке», «Мыслях философа по моде» и т. д. Например, основная мысль XX письма Дальновида, которое неоднократно приписывали Радищеву, выражена и в «Каибе» и в «Ночах». В разговоре Каиба с тенью «любочестивого» завоевателя высказано то же осуждение войн, насильственных завоеваний и «любочестия» государей, что и в письме Дальновида. В «Ночах» Крылов также говорит о кратковременности «мнимых героев», о значении мудрецов-философов и добродетели.

Тщательный анализ содержания и стиля «философических писем» «Почты духов» приводит к выводу о несомненном единоличном авторстве Крылова во всем издании. К этому выводу пришел комментатор и исследователь Радищева Г. А. Гуковский,

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами решительно отвергнувший предположение об участии Радищева в «Почте духов». В комментариях ко второму тому Полного собрания сочинений Радищева Г. А. Гукковский указывает: «Никаких данных, – кроме сомнительного и во всяком случае неточного указания Массона, – об участии Радищева в этом журнале нет; все данные анализа языка и стиля «философических писем» «Почты духов» противоречат гипотезе об участии Радищева в этом журнале; в письмах Дальновида заключены мысли, невозможные для Радищева; следовательно, Радищев в «Почте духов» как сотрудник не участвовал. Есть все основания полагать, что автором всех писем «Почты духов» был сам Крылов» (Собр. соч. А. Н. Радищева, т. II, изд. Академии наук СССР, 1941, стр. 428). Однако отказ от предположения о сотрудничестве Радищева в «Почте духов» не лишает значения и интереса сближения Крылова-сатирика с этим замечательным писателем-революционером. Оно свидетельствует об идейной их близости и восприятию творчества молодого Крылова в плане радищевских традиций и влияний.

Следует так же указать и на роль, в издании журнала И. Рахманинова. «Почта духов» издавалась в типографии Рахманинова (на обороте титула была проставлена его монограмма) и, несомненно, на его средства. Это последнее обстоятельство подтверждается сохранением за ним оригиналов и прав на переиздание. Но участие Рахманинова не ограничивалось лишь технической и материальной помощью. По свидетельству И. Быстрова, И. Крылов впоследствии сам ему рассказывал, что «в 1789 году издавал он еженедельный журнал под названием «Почта духов». «Товарищем ему был Рахманов (то есть И. Рахманинов. – Н. С.), которого Иван Андреевич любил за остроту его ума, за откровенность и веселый нрав. «Помнится, мой милый, что раз поссорились мы с Рахмановым за то, какое название дать журналу... Ну, Рахманов хорошо был учен: знал языки, историю, философию... Он давал нам материалы...» («Северная пчела», 1845, № 203). В «Записках» Жихарева приводится характеристика Рахманинова, данная Крыловым: «Он был очень начитан, очень много переводил и, мог называться по тому времени очень хорошим литератором... Вольтер и современные ему философы были его божествами» (Жихарев, Записки, М, 1871, стр. 296–297). И. Г. Рахманинов, переводчик Вольтера, Мерсье и ряда французских и английских философов и писателей, был человеком широко образованным. Можно найти ряд перекличек между морально-этическими положениями писем Дальновида, Световида, Эмпедокла и др. в «Почте духов» и «Утренними часами» Рахманинова, в которых, главным образом, обсуждались отвлеченно-этические и моральные вопросы. Однако, судя по характеру литературной деятельности Рахманинова, он сам не выходил за пределы переводов и компиляций французских, преимущественно, оригиналов (переводы его точно установлены для «Утренних часов» в упоминавшейся уже работе Ф. Витберга). Поэтому нет оснований предполагать, чтобы Рахманинов, выступавший исключительно как переводчик, сотрудничал в «Почте духов» в качестве соавтора; кроме того, до марта 1789 года он занят был изданием своего журнала «Утренние часы» Вполне возможно, что Рахманинов, как широко и философски образованный человек, «давал материалы», то есть указывал источники и принимал участие в обсуждении крыловских писем.

Итак, следует признать бесспорным единоличное авторство Крылова в «Почте духов». Помимо доводов, выдвинутых в свое время Я. К. Гротом, П. Е. Щеголевым, В. В. Каллашом и др., нужно учесть следующее: «Почта духов» является единым целым, выражающим идейный и художественный замысел одного автора.

Крылов сам признавал «Почту духов» своим произведением. Несомненно, лишь с его ведома и согласия могло появиться объявление на изданиях, выпускаемых Свешниковым (например, при «Стихотворениях» Карабанова, М., 1812), о том, что «Почта духов», соч. критическое Ив. Крылова». Авторство Крылова косвенно подтверждается и в «Опыте российской библиографии» В. Сопикова (СПб., 1813), где указывается «Почта духов» на 1789 год как издание И. Крылова.

В 1802 году «Почта духов» была переиздана книгопродавцем Свешниковым в Петербурге в четырех книгах, в основном воспроизводя издание 1789 года.

Дошедшие до нас документы рисуют истерию переиздании «Почты духов» следующим образом. В 1791 году Рахманинов вышел в отставку уехал из Петербурга в свое тамбовское поместье Казанку и перевез типографию, которая продолжала там работать до ее закрытия правительством в 1793 году. В ноябре 1801 года Рахманинов заключил контракт с московскими книгоиздателями Ахоковым и Козыревым «о продаже книжных изданий». По этому контракту Рахманинов передал Ахокову и Козыреву «принадлежащие ему оригиналы» и право на их переиздание. В условии с Ахоковым в число оригиналом, передаваемых книгоиздателям, наряду с «Утренними

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами часами» и прочими книгами, изданными Рахманиновым, значились и «ежемесячные издания» «Почты духов» в двух книгах» (см. «Известия Тамбовск. ученой архивной комиссии», вып. XVIII Тамбов, 1888, стр. 87–88). Однако переиздание «Почты духов» было осуществлено не Ахоковым и Козыревым, а петербургским книгоиздателем Свешниковым, которому, повидимому, Ахоков переуступил или перепродал право на переиздание. Рахманинов к переизданию «Почты духов» не имел никакого отношения, так паи он даже не знал о том, что это переиздание осуществлено не Ахоковым.

Хотя «Почта духов» вышла в издании Свешникова, можно полагать, что печаталась она именно, с тех «оригиналов», которые предоставлены были Рахманиновым. Поэтому и правка текста для второго издания могла быть сделана Рахманиновым.

подавляющую часть разночтений второго издания «Почты духов», несомненно, следует отнести к механическим искажениям и изменениям текста при наборе, что нередко для изданий, лишенных наблюдения самого автора. Так перестановки отдельных слов, как, например, «был полезен» – на «полезен был», «я взираю» – на «взираю я», «читал я» – на «я читал» и т. п., объясняются перепечаткой текста. Вполне возможно, что и такие изменения, которые сводились к подновлению языка, также сделаны издателями или типографией: «прелюбезный дитя» заменяется на «прелюбезное дитя», «обещаваю» – на «обещаю», «докуда» – на «пока», «пропадный» – на «пропащий» «найти» – на «найди», «продрался» – на «добрался», «ежели» – на «если» и др. Характерна и замена грубоватого просторечия «бреханье» на «лаянье», в отдельных случаях заменяются и архаичные «оное» на «это», «златой» на «золотой» и т. п.

Хотя количество разночтений относительно незначительно, но сохранение языковых особенностей первого издания дает представление о эволюции языка Крылова. Во втором издании подверглось изменению и предисловие от издателя, которое было сокращено в части, касавшейся периодичности издания (начиная со слов: «Повторять здесь известие...» и кончая словами: «нужною для сведения перемену»). Далее отброшен весь конец первоначального текста, начиная со слов: «чтобы желающий читать и получать ежемесячно издаваемое им собрание сих писем...») и заменен следующим указанием: «чтобы желающие иметь и читать оные благоволили присылать деньги за все четыре части 5 руб. в папке в книжную лавку Свешникова, под № 3 у Католической церкви».

Помимо изменения предисловия и отказа от разделения на ежемесячные выпуски, во втором издании подверглось сокращению оглавление. Сокращения в нем были сделаны весьма небрежно, видимо, ради экономии места.

Многочисленные искажения и дефекты текста второго издания, пропуски слов и даже самый характер подновления языка заставляют предполагать с наибольшей вероятностью, что правка текста сделана без участия Крылова издателем или типографией. Вместе с тем имеется одно место, изменение которого не может быть отнесено к этой категории типографской правки. В XX письме силфа Дальновиды, содержащем «рассуждение о некоторых государях и министрах, кои поступками своими причиняли великий вред людям», заменен целый абзац (вариант второго изданий приводится здесь в сноске к тексту),

Вполне вероятно предположение, что это место имелось уже в «оригиналах», предоставленных Рахманиновым, и было заменено еще в период издания «Почты духов» в 1789 году. Следует отметить также и замену имен Бесстыды и Всемрады (первого издания) на простые бытовые – Параша и Даша в XIX письме.

В. В. Каллаш в своем предисловии к публикуемым им текстам «Почты духов» писал, что второе издание печаталось «без перемен», высказывая при этом предположение об участии в нем Крылова: «Можно думать, что в нем принимал участие сам Крылов» (Полн. собр. соч. И. А. Крылова, т. II, стр. 310).

Однако участие Крылова в переиздании «Почты духов» не подтверждается никакими точными и документальными данными. Хотя Крылов и был, повидимому, в Петербурге в ноябре 1801 года, получив там назначение в Ригу секретарем генерал-губернатора С. Ф. Голицына, но следующий 1802 г. он проводит на службе в Риге. Характер изменений, внесенных в текст второго издания, также не дает достаточных данных для установления причастности Крылова к его осуществлению.

В настоящем Собрании сочинений «Почта духов» печатается по тексту первого издания 1789 года, осуществленного бесспорно при непосредственном участии самого

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами Крылова и потому наиболее достоверному.

Письмо XLIV

Письмо направлено против П. А. Соимонова, заведывавшего тогда театрами. Крылов осмеивает выбираемые им к постановке пьесы. Конфликт с Соимоновым, вызванный отказом последнего от постановки «Проказников» и других пьес Крылова, нашел свое отражение в письме, которое было по этому поводу написано Крыловым и, так же как письмо к Княжнину, пущено, повидимому, по рукам.

Письмо XLV

Это письмо о явлении писателя к юному властителю во многом напоминает мысли, высказанные Радищевым в его «Сне» в главе «Спасская полость» из «Путешествия из Петербурга в Москву». У Радищева говорится: «Если из среды народной возникнет муж, проникающий дела свои, ведай, что это и есть твой друг искренний. Чуждый надежды мзды, чуждый рабского трепета, он твердым гласом возвестит тебе. Блюдись и не дерзай его казнить, яко общего возмутителя, призови и угости его, яко странника». Однако это сходство, может быть, объясняется общностью источника – «философическими снами» Мерсье, в которых мудрец обращается к князю со следующими словами! «Князь! – отвечал я ему: – сидящему тебе на престоле не будет уже времени слушать и познавать сию истину, которой ты ныне взыскиваешь; она скроется под одеждою красноречия.. Что значит мой слабый глас?.. Увы, когда доходит до тебя вопль народа, с прилежанием рассматривающего на лице твоём некие предзнаменования будущие его судьбины, то примечай тогда жадные взоры, отовсюду на тебя обращенные; они тебе говорят громогласно, красноречиво и вопиют к тебе сим образом: о ты! в руках которого сохраняться будет наше благополучие, ах, потщись познать твои должности к совершенному исполнению оных...»

Возможно, что под писателем, пришедшим возвестить истину царю, Крылов имел в виду самого Радищева, к этому времени закончившего свое «Путешествие» (напечатанное в мае 1790 г.), а под покровительствующим писателю вельможей-«придверником» можно предположить гр. Р. Воронцова, покровительствовавшего Радищеву.

Извещение об издании «Почты духов»

Помещено было в «Московских ведомостях» за 1789 год, стр. 233. Принадлежность этого объявления Крылову доказывается близким совпадением этого «извещения» с предисловием от издателя при первом издании «Почты духов», в котором указывалось: «Повторять здесь известие, выданное о сем издании, было бы излишним, если бы... подобные листки большею частию бывают утрачиваемы...»

Примечания

2

Текст оглавления «Почты духов» дается здесь по первому изданию 1789 года. (Ред.)

3

Мизантроп – нелюдим, или человеконенавидец.

4

Эфунопалы – на сем острове живущие под самым экватором народы; они так же черны, как арапы, с тою разностию, что у них от обжорства гнилые зубы и толстые брюха.

5

Деньги той земли привел я в здешние российские, чтобы их названием не открыть такой странной земли; а я за долг почитаю умалчивать о народе, которого гном Зор в письме своем описывает, да и не верю, чтобы мог где быть такой безрассудный, который бы за сталь платил в 60 раз дороже золота. Впрочем, уверяю читателя, что в сравнении денег ни одною полушкою не ошибся. Примечание издателя.

6

Этот абзац, начиная со слов «Для меня весьма кажется...» и кончая словами «...от несчастья», во втором издании читается так:

«Область, опустошенная тщеславным победителем, не должна ли почитать его чудовищем, рожденным для гибели рода человеческого? Кто дал право человеку убивать миллион подобных себе людей для удовлетворения своих пристрастий? В каком установлении и естественного закона можно найти, что множество людей должны принесены быть в жертву тщеславию или, лучше бешенству одного человека? Все сии мнимые герои, которым ослепленные смертные придают пышное названные Великих и Победителей, в глазах истинного философа суть не что иное, как Нероны и Калигулы; разность между ими только та, что сии римские императоры истребляли людей в своих владениях, а те погубляют как своих, так и подданных соседственных государей. (Ред.)

7

Из всех животных, что на воздухе летают,
Что плавают в водах и землю населяют,
Хоть Запад, Юг, Восток и Север обойдем,
Но человека мы глупее не найдем.

Комментарии

Парасоли – зонтики (с франц.),

Харибда – олицетворение водоворота в Сицилийском проливе.

Один из... философов... вступил в мою службу управителем дома под Этною – Эмпедокл, греческий философ, живший в V веке до н. э., обладал обширными познаниями в философии, медицине и физике. По преданию, бросился в кратер Этны, желая скрыть причину своей смерти, с тем чтобы его признали богом. Однако одна из его медных сандалий была выброшена во время извержения вулкана и выдала его тайну. Этот анекдот о смерти Эмпедокла и упоминается в дальнейшем.

Перипатетизм – философское учение Аристотеля и его последователей. Здесь употреблено в смысле скептических философских учений вообще.

Все богатство Креза не могло уверить Солона, что Крез был богат. – Солон сказал Крезу, что, несмотря на все его богатство, не может считать его счастливым, так как завистливые к человеческому счастью боги могут его погубить.

Юлианский ли, или древнеримский календарь. Юлианский календарь установлен был Юлием Цезарем, в отличие от древнеримского, делившего год на 10 месяцев.

Прозерпина – богиня подземного царства и жена Плутона (миф.).

Аглинские прогулки – танец.

Цицерон (106 – 43 до н. э.) – римский общественный деятель и оратор, выступавший в своих «филиппических речах» против триумвира Антония. После захвата последним власти был, по его приказанию, изгнан, а затем и умерщвлен.

Тарквиний (534–510 до н. э.) – вероятно, последний царь древнего Рима. Против него было поднято Луцием Брутом народное восстание.

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духа

Опера буффо – жанр комической оперы, распространенный в конце XVIII века.

Тупей – прическа, «накладка на голове из волос.

Алакроше – боковой локон, накладная букля.

Радамант, Эак и Минос – трое судей подземного царства (миф.).

Фуру – модное дамское платье.

Сенека, быть может, один, а Эпиктетов найдется две тысячи. Сенека и Эпиктет – философы-стоики, проповедывавшие отречение от жизненных наслаждений. Сенека, автор ряда трагедий и философских трактатов, был знатен и богат, Эпиктет же был беден.

Семь греческих мудрецов – под этим названием известны семь мудрецов древней Греции VII–VI веков до н. э., отличавшихся житейской мудростью, высокими нравственными принципами (Биас, Хейлом, Клеобул, Периандр, Питтак, Солон и Фальс).

Семирамида – легендарная царица Ниневии, которой приписывались многочисленные любовные похождения.

Стыдливая Лукреция – добродетельная римлянка. Оскорбленная сыном Тарквиния Гордого, покончила с собой.

Виргиния – дочь Луция Виргиния, заколотая отцом с целью избавления ее от насилия развратного децемвира Аппия Клавдия.

За нею машет – то есть ухаживает, на жаргоне светских щеголих.

Тантал и Иксион – осужденные на вечную муку в аду. Тантал находился по горло в воде, но не мог утолить жажды. Иксион привязан был к огненному колесу, вращавшемуся вместе с ним (миф.).

Гераклид и Демокрит – древнегреческие философы, славшие – Гераклит «плачущим философом», за пессимистический тон его отдельных высказываний, а Демокрит – «смеющимся философом», противоположностью Гераклиту.

Титы и Лудовики XIV – здесь в смысле государей, покровительствовавших искусству.

Диоген – основатель цинической школы в древнегреческой философии, провозгласивший отказ от жизненных благ и удовольствий.

Глупая голова петиметра. Петиметр – щеголь – обычный объект обличений и насмешек сатириков XVIII века.

Мизантроп Молиеров более сделал добра франции, нежели проповеди Бурдаловы. Мизантроп Молиеров – комедия Мольера «Мизантроп». Проповеди Бурдаловы – проповеди французского проповедника Бурдалу (1632–1704).

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духа

Бешеный афинянин – Тимон Афинский (V век до н. э.), известный афинский мизантроп. Он резко нападал на соотечественников за упадок нравственности и избегал всяких сношений с людьми, живя в уединении.

Алцибиад (451–404 до н. э.) – Алкивиад, афинский государственный деятель и полководец. Слова Тимона Афинского о его приверженности к Алкивиаду взяты из жизнеописания Алкивиада у Плутарха. Тимон, встретив Алкивиада, сказал ему: «Ты хорошо делаешь, что преуспеваешь, сын мой, ибо в тебе растет большое зло для всех этих людей».

Великий Агриппа – Агриппа Ноттесгеймский (1466–1535), средневековый врач и астролог, занимавшийся магией.

Оды, сонеты, мадригалы и баллады, которые сочинил я в похвалу многих знатных особ. Крылов осмеял подношение од и других произведений меценатам и вельможам в комедии «Сочинитель в прихожей» (1786).

Скалигер – вероятно, Ж. Ж. Скалигер (1540–1609), французский ученый, филолог и критик XVI в.

Приятности и красота в нынешнее время... при некоторых случаях, как сказывают, производят великие чудеса – несомненный намек на фаворитов Екатерины II, занимавших наиболее ответственные места в государстве.

Беспримерная женщина – ироническое использование слов из жаргона щеголих XVIII века.

Вержет – коротко стриженные (щеткой) волосы (франц.)

Эйлер – знаменитый математик XVIII века, член Академии Наук в Петербурге.

Moïb1eu! – чорт возьми! (франц.).

J'enrage! – я взбешен! (франц.).

Импертинансы – дерзости (с франц.).

Мои картины... всеми были здесь одобряемы – возможно, что имеется в виду художник и гравер Г. И. Скородумов, живший в Англии с 1773 по 1782 год. умер в 1792 году.

Фемиса – богиня правосудия.

Рассерженный человек, державший в руках свою бумагу, – сатирическая выходка, направленная против писателя Я. Княжнина. Все упоминания о Рифмокраде в «Почте духов» являются продолжением той резкой полемики, которую вел Крылов с Княжнинным, начиная с комедии «Проказники», написанной за год или за два до «Почты духов». В «Проказниках» Княжнин изображен под именем Рифмокрада, а его жена (дочь писателя А. Сумарокова) – под именем Тараторы. Рифмокрад – драматург-компилятор, самовлюбленный дурак, которого обманывает его жена, делая его роконосцем. Комедия «Проказники» в силу непомерной резкости и оскорбительности своей вызвала громкий скандал, рассоривший Крылова с княжнинным и театральным начальством во главе с Соимоновым. В результате этой ссоры Крылов

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами должен был порвать с театром, и комедии его не были поставлены на сцене.

В комедии «Проказники» и в журнальных сатирах дан, однако, не только памфлет на Княжнина, но и выражено принципиально враждебное отношение Крылова как к подражательности в русской литературы, так и к самому типу писателя-аристократа.

«Судей собрание почтенно» – Л. Майков объясняет эту сатиру следующим образом: «Намек на Княжнина тут совершенно ясен. Крылов перелагает в стихи свое столкновение с ним из-за «Проказников». И эти стихи подтверждают... предположение, что Княжнин, проведая о комедии, сочиненной на него Крыловым, принимал меры к тому, чтобы она не была играна на сцене, и, вероятно, настроил в этом смысле Соимонова» (Л. Майков, Историко-литературные очерки, СПб., 1895, стр. 40).

Басни Бокасовы – то есть Боккаччио, автора «Декамерона».

Гимен – бог брака (миф.).

Я знаю человека и в моем промысле – вероятно, намек на И. А. Дмитревского, одного из первых русских актеров, пользовавшегося широкой известностью. С И. А. Дмитревским Крылов находился в дружеских отношениях.

Трагедия была сочинена по вкусу островитян в 8 действиях 12-стопными стихами – подразумевается трагедия Я. Княжнина «Росслав». Далее идет пародийное изложение содержания «Росслава». Насмешливое сравнение героя трагедии Росслава с Дон-Кихотом очень точно и верно. Рослав у Княжнина – идеальный характер, человек, живущий возвышенными идеями и чувствами. На протяжении всей пьесы Рослав неоднократно произносит длинные монологи и предается грустным раздумьям. В частности, в четвертом действии, Рослав, находясь в тюрьме, произносит смелые речи. Царская дочь – влюбленная в Росслава Зафира. Третье лицо... злодея – полководец Кедар.

Парирую тебе – отвечаю, бьюсь об заклад.

Акциденция – взятка.

Много было таких государей, коим хотя потомство приписывает великие похвалы, однако ж они не менее других вреда людям причинили. – Это место, как и все ХХ письмо, восходит к рассуждению «о царствовании и варварстве» С. Мерсье в его «Философических снах» (русский перевод 1781 г.). Мерсье, говоря о Геркулесе, писал: «Сей полубог древних, заступник рода человеческого, проходил земной шар не для того, чтобы в оном истребить совершенно свирепых зверей, ибо свирепство лютых тигров и самых хищных зверей ничего не значит перед мерзостным злоупотреблением данного уполномочия и власти, но он путешествовал для истребления тиранов, на престоле сидящих, для убиения сих коронованных извергов, кои... заставляют сетовать тысячи людей...» («Философические сны», М., 1781 ч. I, стр. 186).

Близость к Мерсье сказалась и в целом ряде других положений и высказываний Крылова, неоднократно восходящих к «Философическим снам». Так, например, говоря об Александре Македонском, Мерсье писал: «Ты полонил грады и мои поपालял законы, ты принудил трепетно смертных водрузить тебе престол... Твои победы польстили множество государей, кои, последуя тебе, и сами учинились неправосудными» (там же, ч. II, стр. 31).

Мудрый и человеколюбивый государь – здесь Петр I.

Марс, думая подслужиться дядюшке своей любовницы. – Марс – бог войны; его «любовница» – Венера, богиня любви, а ее «дядюшка» – Плутон, бог подземного

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами царства (миф.).

Гален, Эскулапий, Иппократ – знаменитые медики древности.

Эвмениды – богини мщения (миф.).

Сантансы – мнения (с франц.).

Меркурий – в качестве вестника богов сообщал им новости.

Стикс, Ахерон, Коцит – название рек в подземном царстве Плутона (миф.).

Корнелий – Корнель (1606–1684), знаменитый французский драматург.

Деспро – Депрео-Буало (1636–1711), поэт и теоретик французского классицизма.

Арахна (Арахнея) – возгордившаяся тонкостью своего тканья Арахна была превращена Афиною в паука (миф.).

Риваль – соперник (с франц.).

Вапёры – недомогания, (с франц.).

Продепансировал – израсходовал (с франц.). Здесь Крылов высмеивает модный французский жаргон щеголей и щеголих XVIII века.

Горбура – имя влюбчивой старухи-бабушки в комедии Крылова «Бешеная семья».

Честный человек. – По содержанию это письмо близко к статье «Честь» в «Утренних часах» Рахманинова. В ней иронически указывалось, что в государственных делах «честным» может быть «подлейший придворный», «ласкатель и одобритель» губительных предприятий государя, а также судья, знающий «все законы своего отечества» и в то же время оправдывающий виновных» («Утренние часы», 1789, ч. IV, стр. 59).

Каббалистика иудейская – древнееврейское мистическое учение.

Платоновы сочинения о должностях – имеются в виду сочинения Платона: «Законы», «Политика» и «Государство». В русском переводе в конце XVIII века были изданы «Творения велемудрого Платона» в четырех книгах, СПб., 1780–1785.

Юстиевы рассуждения – имеются в виду юридические труды ученого XVIII века, Юстия, видного знатока государственного права и политической экономии.

Примечания Ришелье. – Вероятно, речь идет о «Политическом завещании» кардинала Ришелье французскому королю Людовику XIII.

«Бабушкины выдумки» – вероятно, «Сказки бабушки» С. Друковцова (М., 1778, 2-е изд., 1781).

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами. Бредящий мещанин – ироническое название журнала «Беседующий гражданин», выходившего в Петербурге в 1789 году, осмеиваемого Крыловым. «Беседующий гражданин» – журнал масонского направления, выходивший под редакцией Антоновского. В. П. Семенников в своей статье «Литературно-общественный круг Радищева» следующим образом характеризует полемику «Почты духов» с журналом Антоновского: «Несмотря на то, что оба журнала могли бы сожительствовать мирно, «Почта духов» проявила явно враждебное отношение к «Беседующему гражданину», а последний, кажется, еще до выпадов против него крыловского журнала, в отдельных статьях высказал резко отрицательное отношение к сатире вообще, повидимому, имея при этом в виду «Почту духов». Это высказано было еще в первой части журнала, в статьях: «Бредни праздного педанта», «Рассуждение о том, сколько здоровое рассуждение (критика) споспешествует природным дарованиям и сколько осмеивание (сатира) вредит оным», «Отрывок повести школьного педанта о себе самом».

Но помимо этого враждебного отношения к сатире вообще у руководящей группы «Беседующего гражданина» была и другая причина для неприязни к «Почте духов». «Почта духов» по самому своему названию и по характеру журнала представляла собою нечто чуждое, нечто неприемлемое для религиозно настроенных руководителей «Беседующего гражданина» (сб. «Радищев. Материалы и исследования», Л., 1936, стр. 264–265).

Сочинения Рифмокрада. – «Изданные в четверку сочинения Рифмокрада, – указывает Л. Майков, – это собрание сочинений Якова Княжнина, роскошно напечатанное в 1787 г. По всей вероятности, должно считать не вымышленным обстоятельством и то, что сообщалось в вышеприведенной сцене об искусственном подготавливании успеха пьес Рифмокрада. У Княжнина было два сына, и один из них, Александр, писал для сцены...» («Историко-литературные очерки», стр. 41).

Эту трагедию больше делал Расин – речь идет, вероятно, о трагедии Я. Княжнина «Владимир и Ярополк» (трагедия в пяти действиях в стихах, первое издание в 1772 году), во многом близкой к трагедии Расина «Андромаха».

Ерострат – Герострат. Для того, чтобы обратить на себя внимание и прославиться, сжег знаменитый храм Дианы Эфесской.

Алектон – одна из трех адских фурий (миф).

Животная книга – то есть книга живота, книга жизни, в которую записываются людские грехи и добродетели.

Великий Могол – титул турецких султанов Индии.

Царь Пегуский. – Пегу – небольшое малайское государство.

Питерская богиня – Венера, богиня любви.

Орден на плече – клеймо преступника.

Отвели в смирительный дом – во Франции за распутное поведение заключали в исправительную тюрьму.

Картезий – французский философ Декарт (1596–1650), основоположник философского рационализма.

Лукиан справедливо насмеялся столь ложному Аристотелю умозаключению – имеется в виду диалог между Диогеном и Александром (Македонским) в «Разговорах в царстве

и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами мертвых» Лукиана. В нем на замечание Диогена об уроках Аристотеля, бывшего воспитателем Александра, Александр замечает, что «Аристотель доказывал, что богатство – тоже благо, чтоб ему, таким образом, не было стыдно принимать подарки».

Он... не упускал случая... оскорблять самого Платона... по распространенной в древности легенде, Аристотель якобы выступал против Платона, учеником которого он являлся первоначально. Вообще здесь и далее передаются недостоверные анекдоты и вымыслы о безнравственности Аристотеля, связанные с отношением к нему как к родоначальнику скептицизма в философии.

Паскаль (1623–1662) – знаменитый французский ученый и философ-моралист, стремившийся примирить рационалистические начала с христианским учением.

Св. Августин (354–439) – богослов, писавший на религиозно-нравственные темы.

Св. Бернард (1091–1153) – Бернард Клервоский, один из популярнейших святых и богословов католической церкви.

Фетида – морская богиня (миф.).

Плавающий город, который перестреливается с другим. – Повидимому, имеется в виду вторая русско-турецкая война (1787–1791).

Певец Брелляр – горлан (с франц.).

Стрелец Фанфарон – хвостун (с франц.).

Танцмейстер Бук – козел (с франц.).

Что в древни времена был Рим... – это стихотворение относится к деятельности Екатерины II. В нем говорится об успехах и процветании государства, достигнутых при ее правлении. Возможно, что появление этого панегирического стихотворения на страницах «Почты духов» было вызвано желанием успокоить правительственные круги, несомненно неодобрительно относившиеся к радикальной сатире крыловского журнала. Под Минервой подразумевалась Екатерина II.

Мышцы льва ослаблены – речь идет об успехах русских войск в войне со Швецией (1788–1790).

Ломятся рога луны – имеются в виду победы русских войск в русско-турецкой войне (1787–1791).

Кто с резвой Талиею стрелы... – имеются в виду комедии самой Екатерины II.

Новое зрелище – имеется, повидимому, в виду комическая опера «Две невесты», которая ставилась в Петербурге в 1789–1790 годах (см. указания В. Каллаша в Полн. собр. соч. И. А. Крылова, т. III, стр. 151). Далее пародийно передается содержание этой оперы. Опера не была напечатана и автор текста неизвестен (см. также «Архив дирекции имп. театров», вып. I, отд. VI, стр. 155).

Разговоры Лукияновы. – В конце XVIII века широко распространены были переводы морально-сатирических «Разговоров» Лукиана (см. «Разговоры между мертвыми,

я и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами (выбраны из Лукияна Самосатского», перевод с латинского, М., 1773, 2-е изд., 1788).

Я знаю двух моих знакомых, которых сочинения года с три уже в театре – Крылов имеет здесь в виду свои непоставленные на сцене комедии «Бешеная семья», «Сочинитель в прихожей», «Проказники».

Комедия, написанная на какой-нибудь порок, почитается здесь личностью – Крылов имеет в виду свою комедию «Проказники».

Вистну – то есть Вишну, главное божество индусов.

Нововышедшая в свет книга – видимо, трагедия Я. Княжнина «Владисан», вышедшая вторым изданием в 1789 году.

Один из ваших героев – Юлий Цезарь.

Десятословие – десять заповедей Моисея.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://krylovi.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!